

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

А. Писемский

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1959

Издание выходит
под наблюдением
А. П. Могилянского.

Подготовка текста
А П. и Е. Б. Могилянских.

Примечания
А. П. Могилянского и В. В. Данилова.

ЛЮДИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

Роман в пяти частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА

В начале 1830-х годов, в июле месяце, на балконе господского дома в усадьбе в Воздвиженском сидело несколько лиц. Вся картина, которая рождается при этом в воображении автора, носит на себе чисто уж исторический характер: от деревянного, во вкусе итальянских вилл, дома остались теперь одни только развалины; вместо сада, в котором некогда были и подстриженные деревья, и гладко убитые дорожки, вам представляются группы бестолково растущих деревьев; в левой стороне сада, самой поэтической, где прежде устроен был «Парнас», в последнее время один аферист построил винный завод; но и аферист уж этот лопнул, и завод его стоял без окон и без дверей — словом, все, что было делом рук человеческих, в настоящее время или полуразрушилось, или совершенно было уничтожено, и один только созданный богом вид на подгородное озеро, на самый городок, на идущие по другую сторону озера луга,— на которых, говорят, охотился Шемяка,— оставался по-прежнему прелестен.

Наши северные мужики конечно уж принадлежат к существам самым равнодушным к красотам природы; но и те, проезжая мимо Воздвиженского, ахали иногда, явно показывая тем, что они тут видят то, чего в других местах не видывали!

Мысли и чувствования, которые высказывало сидевшее на балконе общество, тоже были совершенно несовременного свойства. Сама хозяйка, женщина уже лет за пятьдесят, вдова александровского генерал-адъютанта, Але-

ксандра Григорьевна Абреева,— совершенная блондинка, с лицом холодным и малоподвижным,— по тогдашней моде в буклях, в щеголеватом капоте-распашонке, в вышитой юбке, сидела и вязала бисерный шнурок. По нравственным своим свойствам дама эта была то, что у нас называют *чехвалка*. Будучи от природы весьма обыкновенных умственных и всяких других душевных качеств, она всю жизнь свою стремилась раскрашивать себя и представлять, что она была женщина и умная, и добрая, и с твердым характером; для этой цели она всегда говорила только о серьезных предметах, выражалась плавно и красноречиво, довольно искусно вставляя в свою речь витиеватые фразы и возвышенные мысли, которые ей удавалось прочесть или подслушать; не жалея ни денег, ни своего самолюбия, она входила в знакомство и переписку с разными умными людьми и, наконец, самым публичным образом творила добрые дела. Все эти старания ее, нельзя сказать, чтобы не венчались почти полным успехом: по крайней мере, бо́льшая часть ее знакомых считали ее безусловно женщиной умной; другие именовали ее женщиною долга и святых обязанностей; только один петербургский доктор, тоже друг ее, назвал ее *лимфой*.

У Александры Григорьевны был всего один сын, Сережа, мальчик лет четырнадцати, паж. В отношении его она старалась представиться в одно и то же время матерью *строгою* и *страстною*. В самом же деле он был только игрушкой ее самолюбия. Она воображала его будущим генерал-адъютантом, потом каким-нибудь господарем молдаванским; а там, пожалуй, и королем греческим: воображение ее в этом случае ни перед чем не останавливалось! В вечер, взятый мною для описания, Сережа был у матери в Воздвиженском, на вакации, и сидел невдалеке от нее, закинув голову на задок стула. Он был красив собой, и шитый золотом пажеский мундирчик очень к нему шел. Многие, вероятно, замечали, что богатые дворянские мальчики и богатые купеческие мальчики как-то схожи между собой наружностью: первые, разумеется, несколько поизящней и постройней, а другие поплотнее и посырее; но как у тех, так и у других, в выражении лиц есть нечто телячье, ротозееватое: в раззолоченных палатах и на мягких пуховиках плохо, видно, восходит и растет мысль человеческая!

Несколько в сторону от хозяйки, и как бы в тени, помещался небольшого роста, пожилой, коренастый мужчина в чиновничьем фраке. Несмотря на раболепный склад всего его тела, выражение лица его было умное, солидное и несколько насмешливое. Господин этот был местный исправник Ардальон Васильевич Захаревский, фактотум Александры Григорьевны по всем ее делам: она его, по преимуществу, уважала за знание русских законов!

Напротив Александры Григорьевны, и особенно как-то прямо, сидел еще старик,—в отставном военном сюртуке, в петличке которого болтался Георгий, и в военных с красными лампасами брюках,— это был сосед ее по деревне, Михаил Поликарпович Вихров, старый кавказец, курчавый, загорелый на южном солнце, некогда ординарец князя Цицианова, свидетель его коварного убийства, человек поля, боя и нужды! Первое время, как Вихров вышел в отставку и женился, он чаю даже не умел пить!.. Не мог ездить в рессорном экипаже — тошнило!.. Не мог спать в натопленной комнате — кровь носом шла!.. Теперь уж он был уже вдов и имел мальчика, сынка лет тринадцати.

По переезде Александры Григорьевны из Петербурга в деревню, Вихров, вместе с другим дворянством, познакомился с ней и на первом же визите объяснил ей: «Я приехал представиться супруге генерал-адъютанта моего государя!»

Фраза эта очень понравилась Александре Григорьевне. Впоследствии она к одной дружественной ей особе духовной писала так: «Владыко! Вы знаете, вся жизнь моя была усыпана терниeм, и самым колючим из них для меня была лживость и лесть окружавших меня людей (в сущности, Александра Григорьевна только и дышала одной лестью!..); но на склоне дней моих,— продолжала она писать,— я встретила человека, который не только сам не в состоянии раскрыть уст своих для лжи, но гневом и ужасом исполняется, когда слышит ее и в словах других. Феномен этот — мой сосед по деревне, отставной полковник Вихров, добрый и в то же время бешеный, исполненный высокой житейской мудрости и вместе с тем необразованный, как простой солдат!» Александра Григорьевна, по самолюбию своему, не только сама себя всегда расхваливала, но даже всех других людей, которые приходили с ней в какое-либо соприкосновение. Все, чему она хотя малей-

шее движение головой делала, должно было быть превосходным!

Вихров всегда ездил к Александре Григорьевне с сынишкой своим: он его страстно любил, и пока еще ни на шаг на отпускал от себя. Мальчик стоял у отца за стулом. Одет он был в суконный, домашнего шитья, сюртучок и в новые, но нанковые брючки; он был довольно уже высоконек и чрезвычайно, должно быть, нервен, потому что скука и нетерпение, против воли его, высказывались во всей его фигуре, и чтобы скрыть это хоть сколько-нибудь, он постоянно держал свои умненькие глазенки опущенными в землю. Красивый пажик по временам взглядывал на него с какой-то полуулыбкой. Мальчик не отвечал ему на это никаким взглядом.

— Сережа!..— обратилась Александра Григорьевна к сыну.—Отчего ты Пашу не занимаешь?.. Поди, покажи ему на пруду, как рыбки по звонку выходят... Soyez donc aimable![1] — прибавила она по-французски.

Сережа нехотя встал, повытянулся немного и с прежней полуулыбкой подошел к Паше.

— Пойдемте!—сказал он. В голосе его слышалась как бы снисходительность.

— Ступай, погуляй! — прибавил Паше и отец его.

Ребенок с укором взглянул в лицо старика и пошел за Сережей.

Оба они, сойдя с балкона, пошли по аллее. Видимо, что им решительно было не о чем между собой разговаривать.

— У вас есть гувернер? — спросил Сережа, вспомня, вероятно, приказание матери.

— Нет,— отвечал Паша угрюмо,— у меня учитель был, но он уехал; меня завтра везут в гимназию.

Сережа вопросительно взглянул на Пашу.

— А что такое это гимназия? — спросил он.

— Где учатся,— отвечал Паша прежним серьезным тоном.

— А! — произнес Сережа.

В это время они подошли к пруду. Сережа позвонил в колокольчик.

— Вот и рыбки! — сказал он, когда рыбки в самом деле вышли на поверхность бассейна.

---

[1] Будьте же любезны! *(франц.)*

— Вижу! — отвечал Паша и стал глядеть на воду; но вряд ли это его занимало, а Сережа принялся высвистывать довольно сложный оперный мотив.

На балконе в это время происходил довольно одушевленный разговор.

— Стыдно вам, полковник, стыдно!..— говорила, горячась, Александра Григорьевна Вихрову.—Сами вы прослужили тридцать лет престолу и отечеству и не хотите сына вашего посвятить тому же!

— Он у меня, ваше превосходительство, один! — отвечал полковник.— Здоровья слабого... Там, пожалуй, как раз затрут... Знаю я эту военную службу, а в нынешних армейских полках и сопьется еще, пожалуй!

— Ваш сын должен служить в гвардии!.. Он должен там же учиться, где и мой!.. Если вы не генерал, то ваши десять ран, я думаю, сто́ят генеральства; об этом доложат государю, отвечаю вам за то!

— Ну что ж из того: и поучится в Пажеском корпусе и выйдет в гвардию?..

— Ну, да: и выйдет в гвардию...

— А что потом будет? Бедному офицеру, ваше превосходительство, служить промеж богатых тяжело, да и просто невозможно!

Серьезное лицо Александры Григорьевны приняло еще более серьезное выражение. Она стороной слышала, что у полковника были деньжонки, но что он, как человек, добывавший каждую копейку кровавым трудом, был страшно на них скуп. Она вознамерилась, на этот предмет, дать ему маленький урок и блеснуть перед ним собственным великодушием.

— Не смею входить в ваши расчеты,— начала она с расстановкою и ударением,— но, с своей стороны, могу сказать только одно, что дружба, по-моему, не должна выражаться на одних словах, а доказываться и на деле: если вы действительно не в состоянии будете поддерживать вашего сына в гвардии, то я буду его содержать,— не роскошно, конечно, но прилично!.. Умру я, сыну моему будет поставлено это в первом пункте моего завещания.

Александра Григорьевна замолчала, молчали и два ее собеседника. Захаревский только с удивлением взглянул на нее, а полковник нахмурился.

— Нет, ваше превосходительство, тяжело мне при-

нять, чтобы сыну моему кто-нибудь вспомоществовал, кроме меня!.. Вы, покуда живы, конечно, не потяготитесь этим; но за сынка вашего не ручайтесь!..

— Сын мой к этому будет обязан не чувством, но законом.

— А мой сын,— возразил полковник резко,— никогда не станет по закону себе требовать того, что ему не принадлежит, или я его и за сына считать не буду!

Лицо Александры Григорьевны приняло какое-то торжественное выражение.

— Я сделала все,— начала она, разводя руками,— что предписывала мне дружба; а вы поступайте, как хотите и как знаете.

Полковник начал уж с досадою постукивать ногою.

— Кому, сударыня, как назначено жить, пусть тот так и живет!

— Не для себя, полковник, не для себя, а это нужно для счастья вашего сына!..— воскликнула Александра Григорьевна.— Я для себя шагу в жизни моей не сделала, который бы трогал мое самолюбие; но для сына моего,— продолжала она с смирением в голосе,— если нужно будет поклониться, поклонюсь и я!.. И поклонюсь низенько!

При этих ее словах на лице Захаревского промелькнула легкая и едва заметная усмешка: он лучше других, по собственному опыту, знал, до какой степени Александра Григорьевна унижалась для малейшей выгоды своей.

— Да что же, и я, пожалуй, поклонюсь! — возразил Вихров насмешливо.

Ему уж очень стало надоедать слушание этих наставлений.

В это время дети опять возвратились на балкон. Паша кинул почти умоляющий взгляд на отца.

— Вижу, вижу, домой хочешь! Поедем! — проговорил старик и встал.

Александра Григорьевна тоже встала.

—Ну, полковник, так вы завтра, значит, выезжаете и везете вашего птенца на новое гнездышко?

— Да, завтра!.. Позвольте вашу ручку поцеловать! — И он поцеловал руку Александры Григорьевны.

Та отвечала ему почти страстным поцелуем в щеку.

— Прощай, мой ангел! — обратилась она потом к Паше.— Дай я тебя перекрещу, как перекрестила бы тебя

родная мать; не меньше ее желаю тебе счастья. Вот, Сергей, завещаю тебе отныне и навсегда, что ежели когда-нибудь этот мальчик, который со временем будет большой, обратится к тебе (по службе ли, с денежной ли нуждой), не смей ни минуты ему отказывать и сделай все, что будет в твоей возможности,— это приказывает тебе твоя мать.

— Благодарю, Александра Григорьевна,— произнес Вихров и поцеловал у нее еще раз руку; а она еще раз поцеловала его в щеку.

— Ну, проститесь и вы, будущие друзья! — обратилась она к детям.

Те пожали друг у друга руки и больше механически поцеловались. Сережа, впрочем, как более приученный к светскому обращению, проводил гостей до экипажа и, когда они тронулись, вежливо с ними раскланялся.

Когда Вихровы выехали из ворот Воздвиженского, сам старик Вихров как будто бы свободнее вздохнул.

— Да,— произнес он протяжным голосом,— в гостях хорошо, а дома лучше!

— Зачем же, папаша, мы ездим в Воздвиженское? Там очень скучно!..— проговорил почти строгим голосом Павел.

— Ну да так, братец, нельзя же — соседи!.. И Александра Григорьевна все вон говорит, что очень любит меня, и поди-ка какой почет воздает мне супротив всех!

Павел задумался.

— А что, она добрая или нет? — спросил он.

— Добрая, говорунья только, краснобайка!.. Все советует мне теперь, чтобы я отдал тебя в военную службу.

— Отчего же ты не хочешь отдать меня в военную?..

— Да так, братец, что!.. Невелико счастье быть военным. Она, впрочем, говорит, чтобы в гвардии тебе служить, а потом в флигель-адъютанты попасть.

— Флигель-адъютантом быть хорошо!..— произнес ребенок с нахмуренным лицом.

— Еще бы! — сказал старик.— Да ведь на это, братец, состояние надо иметь.

Павел внимательно посмотрел на отца.

— А мы разве бедны? — спросил он.

— Бедны, братец! — отвечал Михайло Поликарпыч и почему-то при этом сконфузился.

II

КОРОТЕНЬКОЕ ПРОШЕДШЕЕ МОЕГО МАЛЕНЬКОГО ГЕРОЯ

По приезде домой, полковник сейчас же стал на молитву: он каждый день, с восьми часов до десяти утра и с восьми часов до десяти часов вечера, молился, стоя, по обыкновению, в зале навытяжку перед образом. Пашу всегда очень интересовало, что как это отцу не было скучно, и он не уставал так долго стоять на ногах. На этот раз, проходя потихоньку по зале, Паша заглянул ему в лицо и увидел, что по сморщенным и черным щекам старика текли слезы. Тяжелые ощущения волновали в настоящую минуту полковника: он молился и плакал о будущем счастье сына, чтобы его не очень уж обижали в гимназии. При этом ему невольно припомнилось, как его самого,— мальчишку лет пятнадцати,— ни в чем не виновного, поставили в полку под ранцы с песком, и как он терпел, терпел эти мученья, наконец, упал, кровь хлынула у него из гортани; и как он потом сам, уже в чине капитана, нагрубившего ему солдата велел наказать; солдат продолжал грубить; он велел его наказывать больше, больше; наконец, того на шинели снесли без чувств в лазарет; как потом, проходя по лазарету, он видел этого солдата с впалыми глазами, с искаженным лицом, и затем солдат этот через несколько дней умер, явно им засеченный... Полковник теперь видел, точно въявь, перед собою его искаженное, с впалыми глазами, лицо, и его искривленную улыбку, которою он как бы говорил: «А!.. За меня бог не даст счастья твоему сыну!» Слезы текли, и холод пробегал по нервам старика. Более уже тридцати лет прошло после этого события, а между тем, какое бы горе или счастье ни посещало Вихрова, искаженное лицо солдата хоть на минуту да промелькнет перед его глазами.

Паша, выйдя из комнат, сел на рундучке крыльца тоже в невеселом расположении духа. Ему почему-то вдруг припомнился серый весенний день... К нему в горницу прибегает дворовый мальчишка Титка. «Барчик, у нас в борозде под садом заяц сидит! — говорит он взволнованным голосом.— Пойдемте его ловить!..» — «Пойдем!» — говорил Павел, и оба они побежали. «Куцка! Куцка!» — кричит Титка, и Куцка,—действительно куцая, дворовая собака,— соскакивает как бешеная с сеновала, где она спала, и бежит за ними... «Заяц, заяц!» — кричит, как бы толкуя ей,

Титка... Из борозды в самом деле выскакивает заяц... Куцка ударяется за ним, а за Куцкой Павел и Титка. Павел только видел, что заяц махнул в гумно; Куцка за ним; Павел и Титка, перескочив огород, тоже бегут в гумно. Заяц опять повернул в поле; Куцка немного позавязнул в огороде, проскакивая в него; заяц, между тем, далеко от него ушел; но ему наперерез, точно из-под земли, выросла другая дворовая собака — Белка — и начала его настигать... Заяц убежал в лес, Белка за ним, а за ними и Куцка... Павел и Титка долго еще стояли в поле и поджидали, не выбегут ли они из лесу; но они не выбегали. Павел, с загрязненными ногами, весь в поту и с недовольным лицом, пошел домой... Титка, тоже сконфуженный, бежал около него. «А дядя Кирьян прошлой весной так трех зайцев затравил!» — рассказывал он.— «Поди, какое счастье!» — говорил Павел.— «Что, батюшка, не поймал зайчика?» — сказала встретившаяся им дворовая баба и зачем-то поцеловала у Павла руку.— «Не поймал!» — отвечал он и ей с грустью... От этих мыслей Паша, взглянув на красный двор, перешел к другим: сколько раз он по нему бегал, сидя на палочке верхом, и крепко-крепко тянул веревочку, которою, как бы уздою, была взнуздана палочка, и воображал, что это лошадь под ним бесится и разбивает его... Теперь, впрочем, Павел давно уже ездит не на палочках, а на лошадях настоящих и довольно бойких, и до страсти любит это!.. Главное удовольствие при этом доставляли ему опасность и могущество власти над лошадью. Он один-одинехонек уезжал верст за семь через довольно большой лес; кругом тишина, ни души человеческой, и только что-то поскрипывает и потрескивает по сторонам. Лошадь идет, навострив уши, вздрагивая и как бы прислушиваясь к чему-то. Но вот огромная глинистая гора; Павел слегка только придерживает поводья. Лошадь осторожнейшим образом сходит с горы, немного приседая назад и скользя копытами по глине; Павел убежден, что это он ее так выездил. За горой надобно проехать через довольно крутой мост; на середине его большая дыра. Павел нарочно погоняет лошадь и направляет ее на эту дыру; но она ее перескакивает. Следующую речку Павел решился переехать вброд. Речонка тоже пенится и шумит; лошадь немножко заартачилась. Павел смело нукает ее; лошадь осторожно входит в воду. На середине реки ей захотелось напиться, и для этого она вдруг опу-

стила голову; но Павел дернул поводьями и даже выругался: «Ну, черт, запалишься!» В такого рода приключениях он доезжает до села, объезжает там кругом церковной ограды, кланяется с сидящею у окна матушкой-попадьею и, видимо гарцуя перед нею, проскакивает село и возвращается домой... Года с полтора тому назад, между горничною прислугою прошел слух, что к полковнику приедет погостить родная сестра его, небогатая помещица, и привезет с собою к Павлу братца Сашеньку. Паша сначала не обратил большого внимания на это известие; но тетенька действительно приехала, и привезенный ею сынок ее — братец Сашенька — оказался почти ровесником Павлу: такой же был черненький мальчик и с необыкновенно востренькими и плутоватыми глазками.

— Нет ли у вас ружья? Я с собою пороху и дроби привез,— начал он почти с первых же слов.

— У меня нет; но у папаши есть,— отвечал Павел с одушевлением и сейчас же пошел к ключнице и сказал ей:— Афимья, давай мне скорей папашино ружье из чулана.

— Да он разве велел? — спросила было та.

— Велел,— отвечал Павел с досадою. Он обыкновенно всеми вещами отца распоряжался совершенно полновластно. Полковник только прикидывался строгим отцом; но в сущности никогда ни в чем не мог отказать своему птенчику.

Когда ружье было подано, братец Сашенька тотчас же отвинтил у него замок, смазал маслом, ствол продул, прочистил и, приведя таким образом смертоносное орудие в порядок, сбегал к своей бричке и достал там порох и дробь.

— А где бы выстрелить в цель? — сказал он.

— У нас в гумне,— отвечал Павел.

Побежали в гумно. Братец Сашенька зарядил ружье. Павел нарисовал ему у овина цель углем. Братец Сашенька выстрелил, но не попал: взял выше! Потом выстрелил и Павел, впившись, кажется, всеми глазами в цель; но тоже не попал. Вслед затем они стали подстерегать воробьев. Те, разумеется, не заставили себя долго дожидаться и, прилетев целою стаей, уселись на огороде. Братец Сашенька выстрелил, убил двоих; Павлу очень было жаль их, однакож он не утерпел и, упросив Сашу зарядить ему ружье, выстрелил во вновь прилетевшую стаю; и у него то-

же один воробышек упал; радости Паши при этом пределов не было!

— Кто тут стреляет? — прислал из горниц спросить полковник.

— Мы!..— отвечал Павел.— И будем еще долго стрелять!..— прибавил он решительно.

На другой день, они отправились уже в лес на охоту за рябчиками, которых братец Сашенька умел подсвистывать; однако никого не подсвистал. Через неделю, наконец, тетенька и братец Сашенька уехали. Полковник был от души рад отъезду последнего, потому что мальчик этот, в самом деле, оказался ужасным шалуном: несмотря на то, что все-таки был не дома, а в гостях, он успел уже слазить на все крыши, отломил у коляски дверцы, избил маленького крестьянского мальчишку и, наконец, обжег себе в кузнице страшно руку. Но Павел об Саше грустил несколько дней и вместе с тем стал просить отца, чтобы тот отдал ему свое ружье. Полковник поморщился, поежился, но махнул рукой и отдал. Павел с тех пор почти каждый день начал, в сопровождении Титки и Куцки, ходить на охоту. Охотником искусным он не сделался, но зато привык рано вставать и смело ходить по лесам. Каких он не видал высоких деревьев, каких перед ним не открывалось разнообразных и красивых лощин! Утомившись, он очень любил лечь где-нибудь на траве вверх лицом и смотреть на небо. И вдруг ему начинало представляться, что оно у него как бы внизу,— самые деревья как будто бы растут вниз, и вершины их словно купаются в воздухе,— и он лежит на земле потому только, что к ней чем-то прикреплен; но уничтожься эта связь — и он упадет туда, вниз, в небо. Павлу делалось при этом и страшно, и весело...

В нынешнее лето одно событие еще более распалило в Паше охотничий жар... Однажды вечером он увидел, что скотница целый час стоит у ворот в поле и зычным голосом кричит: «Буренушка, Буренушка!..»

— Что ты кричишь? — спросил ее Павел.

— Буренушки, батюшка, нет; не пришла,— отвечала та.

Потом он видел, что она, вместе с скотником, ушла в лес. Поутру же он заметил, что полковник сидел у окна сердитым более обыкновенного.

— Что вы, папаша, такой? — спросил он его.

— Да, вон корова пропала, лучшая, шельмы этакие!— отвечал полковник.

Вскоре после того Павел услышал, что в комнатах завыла и заголосила скотница. Он вошел и увидел, что она стояла перед полковником, вся промокшая, с лицом истощенным, с ногами, окровавленными от хождения по лесу.

— Что, нашла корову? — спросил ее Павел.

— Нашла, батюшка, нашла; зверь ее, голубушку, убил,— отвечала скотница и залилась горькими слезами.

— Шельмы этакие! — повторил опять полковник, сердито взмахнув на скотницу глазами.

— Только что,— продолжала та, не обращая даже внимания на слова барина и как бы более всего предаваясь собственному горю,— у мосту-то к Раменью повернула за кустик, гляжу, а она и лежит тут. Весь бочок распорот, должно быть, гоны двои она тащила его на себе — земля-то взрыта!

— Медведь это ее убил? — спросил Павел с разгоревшимся взором.

— Он, батюшка!.. Кому же, окромя его — варвара!.. Я, батюшка, Михайло Поликарпыч, виновата уж,— обратилась она к полковнику,— больно злоба-то меня на него взяла: забежала в Петрушино к егерю Якову Сафонычу. «Не подсидишь ли, говорю, батюшка, на лабазе; не подстрелишь ли злодея-то нашего?» Обещался прийти.

— Нечего уж теперь стрелять-то; смотреть бы надо было хорошенько! — возразил ей мрачно полковник.

— Николи, батюшка, николи они в эту трущобу не захаживали! — убеждала его скотница и потом, снова обливаясь слезами и приговаривая: — «Матушка, голубушка моя!» — вышла из комнат.

Но вряд ли все эти стоны и рыдания ее не были устроены нарочно, только для одного барина; потому что, когда Павел нагнал ее и сказал ей: «Ты скажи же мне, как егерь-то придет!» — «Слушаю, батюшка, слушаю»,— отвечала она ему совершенно покойно.

Егеря, впрочем, когда тот пришел, Павел сейчас же сам узнал по патронташу, повешенному через плечо, и по ружью в руке.

— Ты на медведя пришел? — спросил он его с любопытствующим лицом.

— Да-с,— отвечал тот, глядя на него с улыбкою.

— Папаша, егерь! — закричал Павел.

Полковник тоже вышел на крыльцо.

— Здравствуй, Яков,— проговорил он.

— Что, батюшка, и у вас сосед-то наш любезный понадурил? — отвечал тот, вежливо снимая перед ним шапку.

— Да, а все народец наш проклятый: не взглянут день-деньской на скотину.

— Не усмотришь тоже за ним, окаянным,— произнес Сафоныч.

— А ты убивал когда-нибудь медведей-то? — приставал к нему Павел.

— Как же-с! Третьего года такого медведища уложил матерого, что и боже упаси!

— Я, папаша, пойду с ним сидеть на медведя,— сказал Павел почти повелительным голосом отцу.

— Ты? — повторил тот, покраснев слегка в лице.— Эй, Кирьян! — крикнул он проходившему мимо приказчику.

Кирьян подошел.

— Возьми ты Павла Михайлыча ружье, запри его к себе в клеть и принеси мне ключ. Вот как ты будешь сидеть на медведя! — прибавил он сыну.

Кирьян сейчас же пошел исполнять приказание барина. Павел надулся.

— Где, судырь, вам сидеть со мной; я ведь тоже полезу на лабаз, на дерево,— утешал его Сафоныч.

— А я разве не умею взлезть на дерево? — возразил ему Павел.

— Ну, а как он вас стрясет с дерева-то?

— А отчего ж тебя он не стрясывает?

— Да я потяжельше вас.

— И меня, брат, не стрясет, как я схвачусь, сделай милость! — сказал хвастливо Павел.

— Ну, об этом разговор уже кончен: довольно! — перебил его, с совершенно вспыхнувшим лицом, полковник.

Павел отвернулся от него.

Сафоныч, затем, получив рюмку водки, отправился садиться на лабаз. Все дворовые, мужчины и женщины, вышли на усадебную околицу и как бы замерли в ожидании чего-то. Точно как будто бы где-то невдалеке происходило сражение, и они еще не знали, кто победит: наши или неприятель. Между всеми ими рисовалась стоящая в какой-то трагической позе скотница. Она по-прежнему была в оборванном сарафанишке и с босыми расцарапанными ногами и по-прежнему хотела, кажется, по преимуществу по-

разить полковника. Павел беспрестанно подбегал к ней и спрашивал: «Что? Не слыхать? Не слыхать еще, чтобы выстрелил?»

— Нету, батюшка, нету,— отвечала она монотонно-плачевным голосом.

Наконец, вдруг раздался крик: «Выстрелил!..» Павел сейчас же бросился со всех ног в ту сторону, откуда раздался выстрел.

— Куда это он? — спросил полковник, не сообразив еще хорошенько в первую минуту; потом сейчас же торопливо прибавил:— Кирьян, лови его! Останови!

Кирьян тоже сначала не понял.

— Лови его, каналью этакую! — заревел полковник.

Кирьян бросился за Павлом и кричал:

— Постойте, сударь, погодите! Павел Михайлыч, папенька вас спрашивает!

Павел не слушался и продолжал улепетывать от него. Но вот раздался еще выстрел. Паша на минуту приостановился. Кирьян, воспользовавшись этим мгновением и почти навалясь на барчика, обхватил его в охапку. Павел стал брыкаться у него, колотил его ногами, кусал его руки...

В это время из лесу показался и Сафоныч. Кирьян позазевался на него. Павел юркнул у него из рук и — прямо к егерю.

— Что, убил? — проговорил он задыхающимся голосом.

— Убил! — отвечал тот.— Велите, чтобы телега ехала.

— Телегу! Телегу! — закричал Павел почти бешеным голосом и побежал назад к усадьбе. Ему встретился полковник, который тоже трусил с своим толстым брюхом, чтобы поймать сына.

— Телегу, папаша, телегу! — едва выговаривал тот и продолжал бежать.

— Телегу скорей! — закричал и полковник, тоже повернув и побежав за сыном.

Телега сейчас же была готова. Павел, сам правя, полетел на ней в поле, так что к нему едва успели вскочить Кирьян и Сафоныч. Подъехали к месту поражения. Около куста распростерта была растерзанная корова, а невдалеке от нее, в луже крови, лежал и медведь: он очень скромно повернул голову набок и как бы не околел, а заснул только.

— Мне бог привел с первого же раза в правую лопатку ему угодать; а тут он вертеться стал и голову мне подставил,— толковал Сафоныч Кирьяну.

Но Павел ничего этого не слушал: он зачем-то и куда-то ужасно торопился.

— Валите на телегу! — закричал он строгим, почти недетским, голосом и сам своими ручонками стал подсоблять, когда егерь и Кирьян потащили зверя на телегу. Потом сел рядом с медведем и поехал. Лошадь фыркала и рвалась бежать шибче. Павел сдерживал ее. Егерь и Кирьян сначала пошли было около него, но он вскоре удрал от них вперед, чтобы показать, что он не боится оставаться один с медведем. В усадьбе его встретили с улыбающимся лицом полковник и все почти остальное народонаселение. Бабы при этом ахали и дивились на зверя; мальчишки радостно припрыгивали и кричали; собаки лаймя лаяли. Вдруг из всей этой толпы выскочила,— с всклоченными волосами, с дикими глазами и с метлою в руке,— скотница и начала рукояткой метлы бить медведя по голове и по животу. «Вот тебе, вот тебе, дьявол, за нашу буренушку!» — приговаривала она.

— Перестань, дура; шкуру испортишь,— унял ее подошедший Сафоныч.

— Ну, на тебе еще на водку,— сказал полковник, давая ему полтинник.

Сафоныч поклонился.

— Уж позвольте и лошадки черта-то этого до дому своего довезти: шкуру тоже надо содрать с него и сальца поснять.

— Хорошо, возьми,— сказал полковник: — Кирьян, доезжай с ним!

Кирьян и Сафоныч поехали. За ними побежали опять с криком мальчишки, и залаяли снова собаки.

Все эти воспоминания в настоящую минуту довольно живо представлялись Павлу, и смутное детское чувство говорило в нем, что вся эта жизнь,— с полями, лесами, с охотою, лошадьми,— должна была навеки кончиться для него, и впереди предстояло только одно: учиться. По случаю безвыездной деревенской жизни отца, наставниками его пока были: приходский дьякон, который версты за три бегал каждый день поучить его часа два; потом был взят к нему расстрига — поп, но оказался уж очень сильным пьяницей; наконец, учил его старичок, переезжавший не-

сколько десятков лет от одного помещика к другому и переучивший, по крайней мере, поколения четыре. Как ни плохи были такого рода наставники, но все-таки учили его делу: читать, писать, арифметике, грамматике, латинскому языку. У него никогда не было никакой гувернантки, изобретающей приличные для его возраста causeries[1] с ним; ему никогда никто не читал детских книжек, а он прямо схватился за кой-какие романы и путешествия, которые нашел на полке у отца в кабинете; словом, ничто как бы не лелеяло и не поддерживало в нем детского возраста, а скорей игра и учение все задавали ему задачи больше его лет.

Когда Паша совсем уже хотел уйти с крыльца в комнаты, к нему подошла знакомая нам скотница.

— Не прикажете ли, батюшка, сливочек? Уедете в город, там и молочка хорошего нет,— проговорила она.

— Дай,— сказал ей Павел.

Та принесла ему густейших сливок; он хоть и не очень любил молоко, но выпил его целый стакан и пошел к себе спать. Ему все еще продолжало быть грустно.

III

ПРАКТИЧЕСКОЕ СЕМЕЙСТВО

На соборной колокольне городка заблаговестили к поздней обедне, когда увидели, что с горы из Воздвиженского стала спускаться запряженная шестериком коляска Александры Григорьевны. Эта обедня собственно ею и была заказана за упокой мужа; кроме того, Александра Григорьевна была строительницей храма и еще несколько дней тому назад выхлопотала отцу протопопу камилавку. Когда Абреева с сыном своим вошла в церковь, то между молящимися увидала там Захаревского и жену его Маремьяну Архиповну. Оба эти лица были в своих лучших парадных нарядах: Захаревский в новом, широком вицмундире и при всех своих крестах и медалях; госпожа Захаревская тоже в новом сером платье, в новом зеленом платке и новом чепце,— все наряды ее были довольно ценны, но не отличались хорошим вкусом и сидели на ней как-то вкривь и вкось: вообще дама эта имела то свойство, что, что̀ бы она ни надела, все к ней как-то не шло. По фигурам своим, супруг и супруга скорее походили на ог-

[1] легкий разговор, болтовня (*франц.*)

ромные тумбы, чем на живых людей; жизнь их обоих вначале шла сурово и трудно, и только решительное отсутствие внутри всего того, что иногда другим мешает жить и преуспевать в жизни, помогло им достигнуть настоящего, почти блаженного состояния. Захаревский сначала был писцом земского суда; старые приказные таскали его за волосы, посылали за водкой. Г-жа Захаревская, тогда еще просто Маремьяша, была мещанскою девицею; сама доила коров, таскала навоз в свой сад и потом, будучи чиста и невинна, как младенец, она совершенно спокойно и бестрепетно перешла в пьяные и развратные объятия толстого исправника. Захаревский около этого времени сделан был столоначальником и, как подчиненный, часто бывал у исправника в доме; тот наконец вздумал удалить от себя свою любовницу; Захаревский сейчас же явился на помощь к начальнику своему и тоже совершенно покойно и бестрепетно предложил Маремьяне Архиповне руку и сердце, и получил за это место станового. Здесь молодой человек (может быть, в первый раз) принес некоторую жертву человеческой природе: он начал страшно, мучительно ревновать жену к наезжавшему иногда к ним исправнику и выражал это тем, что бил ее не на живот, а на смерть. Маремьяна Архиповна знала, за что ее бьют,— знала, как она безвинно в этом случае терпит; но ни одним звуком, ни одной слезой никому не пожаловалась, чтобы только не повредить службе мужа. Ардальон Васильевич в другом отношении тоже не менее супруги своей смирял себя: будучи от природы злейшего и крутейшего характера, он до того унижался и кланялся перед дворянством, что те наконец выбрали его в исправники, надеясь на его доброту и услужливость; и он в самом деле был добр и услужлив. В настоящее время Ардальон Васильевич был изукрашен крестами и, по службе в разных богоугодных заведениях, состоял уже в чине статского советника. Маремьяна Архиповна между небогатыми дворянками, чиновницами и купчихами пользовалась огромным уважением. Детей у них была одна дочь, маленькая еще девочка, и два сына, которых они готовились отдать в первоклассные училища. Состояние Захаревских было более чем обеспеченное.

Увидав Захаревских в церкви, Александра Григорьевна слегка мотнула им головой; те, в свою очередь, тоже издали поклонились ей почтительно: они знали, что Александра Григорьевна не любила, чтобы в церкви, и особенно

во время службы, подходили к ней. После обедни Александра Григорьевна направилась в малый придел к конторке старосты церковного, чтобы сосчитать его. Захаревский и Захаревская все-таки издали продолжали следовать за ней. Александра Григорьевна, никого и ничего, по ее словам, не боявшаяся для бога, забыв всякое чувство брезгливости, своими руками пересчитала все церковные медные деньги, все пучки восковых свеч, поверила и подписала счеты. Во все это время Сережа до неистовства зевал, так что у него покраснели даже его красивые глаза. Александра Григорьевна обернулась наконец к Захаревским. Госпожа Захаревская стремительно бросилась навстречу; при этом чепец ее совершенно перевернулся на сторону.

— Ваше высокопревосходительство, прошу вас осчастливить нас своим посещением,— проговорила она торопливым и взволнованным голосом.

— О, непременно!..— отвечала Александра Григорьевна благосклонно.

— Именно уж осчастливить! — произнес и Захаревский, но таким глухим голосом, что как будто бы это сказал автомат, а не живой человек.

— Едемте! — сказала Александра Григорьевна, обращаясь ко всем, и все пошли за ней.

— Ах, какой ангел, душечка! — говорила Маремьяна Архиповна, глядя с чувством на Сережу.

Тот тоже на нее смотрел, но так, как обыкновенно смотрят на какое-нибудь никогда не виданное и несколько гадкое животное.

Сев в экипаж, Александра Григорьевна пригласила с собой ехать и Захаревских: они пришли в церковь пешком.

— Что вы изволите беспокоиться,— произнес Ардальон Васильевич, и вслед затем довольно покойно поместился на передней лавочке коляски; но смущению супруги его пределов не было: посаженная, как дама, с Александрой Григорьевной рядом, она краснела, обдергивалась, пыхтела. Маремьяна Архиповна от природы была довольно смелого характера и терялась только в присутствии значительных особ. Когда подъехали к их красивому домику, она, не дав еще хорошенько отворить дверцы экипажа, выскочила из него и успела свою почтенную гостью встретить в передней. В зале стояли оба мальчика Захаревских в новеньких чистеньких курточках, в чистом

белье и гладко причесанные; но, несмотря на то, они все-таки как бы больше походили на кантонистов, чем на дворянских детей.

— Пожалуйте сюда в гостиную,— говорила Захаревская почти задыхающимся голосом.

Александра Григорьевна вошла вслед за ней в гостиную.

— Сюда, на диванчик,—говорила Маремьяна Архиповна.

Александра Григорьевна села на диванчик. Прочие лица тоже вошли в гостиную. Захаревская бросилась в другие комнаты хлопотать об угощении.

— Это ваши молодцы?—обратилась Александра Григорьевна несколько расслабленным голосом к хозяину и показывая на двух его сыновей.

— Да-с,— отвечал тот с некоторою нежностью.

Разговор на несколько минут остановился: по случаю только что выслушанной заупокойной обедни по муже, Александра Григорьевна считала своею обязанностью быть несколько печальной.

— Мне часто приходило в голову,— начала она тем же расслабленным голосом,— зачем это мы остаемся жить, когда теряем столь близких и дорогих нам людей?..

— Воля божия на то, вероятно, есть,— отвечал Ардальон Васильевич, тоже придавая лицу своему печальное выражение.

— Да! — возразила Александра Григорьевна, мрачно нахмуривая брови.— Я, конечно, никогда не позволяла себе роптать на промысл божий, но все-таки в этом случае воля его казалась мне немилосердна... В первое время после смерти мужа, мне представлялось, что неужели эта маленькая планетка-земля удержит меня, и я не улечу за ним в вечность!..

На это Ардальон Васильевич не нашелся ничего ей ответить, а только потупился и слегка вздохнул.

— Меня тогда удерживало в жизни и теперь удерживает конечно вот кто!..— заключила Александра Григорьевна и указала на Сережу, который все время как-то неловко стоял посредине комнаты.

Старший сын хозяев, должно быть, очень неглупый мальчик, заметил это, и когда Александра Григорьевна перестала говорить, он сейчас же подошел к Сереже и вежливо сказал ему:

— Вы устали, я думаю, в церкви; не угодно ли вам сесть?

— Да, устал! — отвечал Сережа ротозеевато и сел.

Мальчик-хозяин поместился рядом с ним, и видимо с целью занимать его. Другой же братишка его, постояв немного у притолки, вышел на двор и стал рассматривать экипаж и лошадей Александры Григорьевны, спрашивая у кучера — настоящий ли серебряный набор на лошадях или посеребренный — и что все это стоит? Вообще, кажется, весь божий мир занимал его более со стороны ценности, чем какими-либо другими качествами; в детском своем умишке он задавал себе иногда такого рода вопрос: что, сколько бы дали за весь земной шар, если бы бог кому-нибудь продал его? Маремьяна Архиповна вошла наконец с кофеем, сухарями и сливками. Лицо ее еще более раскраснелось. Она сначала было расставила все это перед Александрой Григорьевной, потом вдруг бросилась с чашкой кофе и с массой сухарей и к Сереже. Умненький сынок ее сейчас же поспешил помочь матери и поставил перед гостем маленький столик.

Александра Григорьевна и Сережа почти с жадностью принялись пить кофе и есть печенье.

— Я нигде не пивала таких сливок, как у вас,— отнеслась Александра Григорьевна благосклонно к хозяйке.

Та при этом как бы слегка проржала от удовольствия.

— И трудно, ваше высокопревосходительство, другим такие иметь: надобно тоже, чтобы посуда была чистая, корова чистоплотно выдоена,— начала было она; но Ардальон Васильевич сурово взглянул на жену. Она поняла его и сейчас же замолчала: по своему необразованию и стремительному характеру, Маремьяна Архиповна нередко таким образом провиралась.

— Ну-с, теперь за дело! — сказала Александра Григорьевна, стряхивая с рук крошки сухарей.

— Убирай все скорее! — скомандовал Захаревский жене.

— Сейчас! — отвечала та торопливо, и действительно в одно мгновение все прибрала; затем сама возвратилась в гостиную и села: ее тоже, кажется, интересовало послушать, что будет говорить Александра Григорьевна.

— Пожалуйте сюда, Ардальон Васильевич,— отнеслась последняя к хозяину дома.

Тот встал, подошел к ней и, склонив голову, принял

почтительную позу. Александра Григорьевна вынула из кармана два письма и начала неторопливо.

— Прежде всего скажите вы мне, которому из ваших детей хотите вы вручить якорь и лопатку, и которому весы правосудия?

— Вот-с этому весы правосудия,— сказал с улыбкою Ардальон Васильевич, показывая на сидевшего с Сережей старшего сына своего.

— Прекрасно-с! И поэтому, по приезде в Петербург, вы возьмите этого молодого человека с собой и отправляйтесь по адресу этого письма к господину, которого я очень хорошо знаю; отдайте ему письмо, и что он вам скажет: к себе ли возьмет вашего сына для приготовления, велит ли отдать кому—советую слушаться беспрекословно и уже денег в этом случае не жалеть, потому что в Петербурге также пьют и едят, а не воздухом питаются!

— Слушаю-с,— отвечал Захаревский покорно, и искоса кидая взгляд на адрес письма.

— Касательно второго вашего ребенка,— продолжала Александра Григорьевна,— я хотела было писать прямо к графу. По дружественному нашему знакомству это было бы возможно; но сами согласитесь, что лиц, так высоко поставленных, беспокоить о каком-нибудь определении в училище ребенка — совестно и неделикатно; а потому вот вам письмо к лицу, гораздо низшему, но, пожалуй, не менее сильному... Он друг нашего дома, и вы ему прямо можете сказать, что Александра-де Григорьевна непременно велела вам это сделать!

На все это Ардальон Васильевич молчал: лицо его далеко не выражало доверия ко всему тому, что он слышал.

— Третье теперь-с! — говорила Александра Григорьевна, вынимая из кармана еще бумагу.— Это просьба моя в сенат,— я сама ее сочинила...

Лицо Захаревского уже явно исказилось. Александра Григорьевна несколько лет вела процесс, и не для выгоды какой-нибудь, а с целью только показать, что она юристка и может писать деловые бумаги. Ардальон Васильевич в этом случае был больше всех ее жертвой: она читала ему все сочиняемые ею бумаги, которые в смысле деловом представляли совершенную чушь; требовала совета у него на них, ожидала от него похвалы им и наконец давала ему тысячу вздорнейших поручений.

— Подайте это прошение, ну, и там подмажьте, где

нужно будет! — заключила она, вероятно воображая, что говорит самую обыкновенную вещь.

Но у Ардальона Васильевича пот даже выступил на лбу. Он, наконец, начал во всем этом видеть некоторое надругательство над собою. «Еще и деньги плати за нее!» — подумал он и, отойдя от гостьи, молча сел на отдаленное кресло. Маремьяна Архиповна тоже молчала; она видела, что муж ее чем-то недоволен, но чем именно—понять хорошенько не могла.

Александра Григорьевна между тем как бы что-то такое соображала.

— На свете так мало людей,— начала она, прищуривая глаза; — которые бы что-нибудь для кого сделали, что право, если самой кому хоть чем-нибудь приведется услужить, так так этому радуешься, что и сказать того нельзя...

— Вам уж это свыше от природы дано! — проговорил как бы нехотя Ардальон Васильевич.

— А по-моему так это от бога, по его внушениям! — подхватила, с гораздо большим одушевлением, Маремьяна Архиповна.

— Вот это так, вернее,— согласилась с нею Александра Григорьевна.— «Ничто бо от вас есть, а все от меня!» — сочинила она сама текст.

Разговаривать далее, видимо, было не об чем ни гостье, ни хозяевам. Маремьяна Архиповна, впрочем, отнеслась было снова к Александре Григорьевне с предложением, что не прикажет ли она чего-нибудь закусить?

— Ах, нет, подите! Бог с вами! — почти с ужасом воскликнула та.— Я сыта по горло, да нам пора и ехать. Вставай, Сережа! — обратилась она к сыну.

Тот встал. Александра Григорьевна любезно расцеловалась с хозяйкой; дала поцеловать свою руку Ардальону Васильичу и старшему его сыну и — пошла. Захаревские, с почтительно наклоненными головами, проводили ее до экипажа, и когда возвратились в комнаты, то весь их наружный вид совершенно изменился: у Маремьяны Архиповны пропала вся ее суетливость и она тяжело опустилась на тот диван, на котором сидела Александра Григорьевна, а Ардальон Васильевич просто сделался гневен до ярости.

— Какова бестия,— а? Какова каналья? — обратился он прямо к жене.— Обещала, что напишет и к графу, и к

принцу самому, а дала две цидулишки к какому-то учителю и какому-то еще секретаришке!

— Да ты бы у ней и просил писем к графу и к принцу, как обещала!

— Для чего, на кой черт? Неужели ты думаешь, что если бы она смела написать, так не написала бы? К самому царю бы накатала, чтобы только говорили, что вот к кому она пишет; а то видно с ее письмом не только что до графа, и до дворника его не дойдешь!.. Ведь как надула-то, главное: из-за этого дела я пять тысяч казенной недоимки с нее не взыскивал, два строгих выговора получил за то; дадут еще третий, и под суд!

— Теперь, по крайности, надо взыскать!

— Да, поди, взыщи; нет уж, матушка, приучил теперь; поди-ка: понажми только посильнее, прямо поскачет к губернатору с жалобой, что у нас такой и сякой исправник: как же ведь — генерал-адъютантша, везде доступ и голос имеет!

— Сделаешь как-нибудь и без ее писем,— проговорила как бы в утешение мужа Маремьяна Архиповна.

— Сделаю, известно!.. Серебряные и золотые ключи лучше всяких писем отворяют двери,— сказал он.

— У кого ты остановишься?.. У Тимофеева, чай?.. Все даром проживешь...

— У него попробую,— отвечал исправник, почесывая в голове:— когда здесь был, беспременно просил, чтобы у него остановиться; а там, не знаю,— может, и не примет!

— Коли не примет, так вели у него здешнюю моленную опечатать!..

— Велю; не стану с ним церемониться.

Тимофеев был местный раскольник и имел у себя при доме моленную в деревне, а сам постоянно жил в Петербурге.

Весь этот разговор родителей старший сын Захаревских, возвратившийся вместе с ними, после проводов Абреевой, в гостиную, выслушал с величайшим вниманием. Он всякий раз, когда беседа между отцом и матерью заходила о службе и о делах, не проронял ни одного слова. Может быть Ардальон Васильевич потому и предназначал его по юридической части. Другой же сын их был в это время занят совсем другим и несколько даже странным делом: он болтал палкой в помойной яме; с месяц тому назад он в этой же помойне, случайно роясь, на-

шел и выудил серебряную ложку, и с тех пор это сделалось его любимым занятием.

По всем этим признакам, которые я успел сообщить читателю об детях Захаревского, он, я полагаю, может уже некоторым образом заключить, что птенцы сии явились на божий мир не раззорити, а преумножити дом отца своего.

IV
СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

Вихров, везя сына в гимназию, решился сначала заехать в усадьбу Новоселки к Есперу Иванычу Имплеву, старому холостяку и двоюродному брату покойной жены его. Паша любил этого дядю, потому что он казался ему очень умным. К Новоселкам они стали подъезжать часов в семь вечера. На открытой местности, окаймленной несколькими изгибами широкой реки, посреди низеньких, старепьких и крытых соломою изб и скотных дворов, стоял новый, как игрушечка, дом Имплева. Паша припомнил, что дом этот походил на тот домик, который он видел у дяди на рисунке, когда гостил у него в старом еще доме. Рисунок этот привез к Есперу Иванычу какой-то высокий господин с всклоченными волосами и в синем фраке с светлыми пуговицами. Господин этот что-то такое запальчиво говорил, потом зачем-то топал ногой, проходил небольшое пространство, снова топал и снова делал несколько шагов. Гораздо уже в позднейшее время Павел узнал, что это топанье означало площадку лестницы, которая должна была проходить в новом доме Еспера Иваныча, и что сам господин был даровитейший архитектор, академического еще воспитания, пьянчуга, нищий, не любимый ни начальством, ни публикой. После него в губернском городе до сих пор остались две — три постройки, в которых вы сейчас же замечали что-то особенное, и вам делалось хорошо, как обыкновенно это бывает, когда вы остановитесь, например, перед постройками Растрелли. Во всей губернии один только Еспер Иваныч ценил и уважал этот высокий, но спившийся талант. Он заказал ему план и фасад своего деревенского дома, и все предначертания маэстро выполнил, по крайней мере снаружи, с буквальной точностью. Дом вышел, начиная с фасада и орнаментов его до соразмерности частей, с печатью великого вкуса. Еспер Иваныч предполагал в том же тоне вы-

строить и всю остальную усадьбу, имел уже от архитектора и рисунки для того, но и только пока!

Когда Вихровы въехали в Новоселки и вошли в переднюю дома, их встретила Анна Гавриловна, ключница Еспера Иваныча, женщина сорока пяти лет, но еще довольно красивая и необыкновенно чистоплотная из себя.

— Мы с Еспером Иванычем из-под горы еще вас узнали,— начала она совершенно свободным тоном: — едут все шагом, думаем: верно это Михайло Поликарпыч лошадей своих жалеет!

— Жалею! — отвечал, немного краснея, полковник: он в самом деле до гадости был бережлив на лошадей.

— Миленький, как вырос,— обратилась Анна Гавриловна к Павлу и поцеловала его в голову: — вверх пожалуйте; туда барин приказал просить! — прибавила она.

— Идем! — отвечал полковник.

Чем выше все они стали подниматься по лестнице, тем Паша сильнее начал чувствовать запах французского табаку, который обыкновенно нюхал его дядя. В высокой и пространной комнате, перед письменным столом, на покойных вольтеровских креслах сидел Еспер Иваныч. Он был в колпаке, с поднятыми на лоб очками, в легоньком холстинковом халате и в мягких сафьянных сапогах. Лицо его дышало умом и добродушием и напоминало собою несколько лицо Вальтер-Скотта.

— Здравствуйте, странники, не имущие крова! — воскликнул он входящим.— Здравствуй, Февей-царевич! — прибавил он почти нежным голосом Павлу, целуя его в лицо.

Павел целовал у дяди лицо, руки; от запаха французского табаку он счихнул.

Вихровы сели.

Кабинет Еспера Иваныча представлял довольно оригинальный вид: большой стол, перед которым он сам сидел, был всплошь завален бумагами, карандашами, циркулями, линейками, треугольниками. На нем же помещались: зрительная труба, микроскоп и калейдоскоп. У задней стены стояла мягкая, с красивым одеялом, кровать Еспера Иваныча: в продолжение дня он только и делал, что, с книгою в руках, то сидел перед столом, то ложился на кровать. По третьей стене шел длинный диван, заваленный книгами, и кроме того, на нем стояли без рамок две отличные копии: одна с Сикстовой Мадонны, а другая

с Данаи Корреджио. Картины эти, точно так же, как и фасад дома, имели свое особое происхождение: их нарисовал для Еспера Иваныча один художник, кротчайшее существо, который, тем не менее, совершил государственное преступление, состоявшее в том, что к известной эпиграмме. *«Всевышнего рука три чуда совершила!»*—пририсовал руку с военным обшлагом. За это он сослан был под присмотр полиции в маленький уездный городишко, что в переводе значило: обречен был на голодную смерть! Еспер Иваныч, узнав о существовании этого несчастливца, стал заказывать ему работу, восхищался всегда его колоритом и потихоньку посылал к его кухарке хлеба и мяса. Эта помощь, эти слова ободрения только и поддерживали жизнь бедняка. На третьей стене предполагалась красного дерева дверь в библиотеку, для которой маэстро-архитектор изготовил было великолепнейший рисунок; но самой двери не появлялось и вместо ее висел запыленный полуприподнятый ковер, из-за которого виднелось, что в соседней комнате стояли растворенные шкапы; тут и там размещены были неприбитые картины и эстампы, и лежали на полу и на столах книги. Все это Еспер Иваныч каждый день собирался привести в порядок и каждый день все больше и больше разбрасывал.

— Залобаниваю вот, везу в гимназию! — начал старик Вихров, показывая на сына.

— Что ж, это хорошо,— проговорил Имплев с каким-то светлым и ободряющим лицом.

— Одно только — жаль расстаться... Один ведь он у меня,— только свету и радости!..— произнес полковник, и у него уж навернулись слезы на глазах.

Еспер Иваныч потупился.

— Зачем же расставаться — живи с ним! — проговорил он.

— А как хозяйство-то оставить,—на кого? Разорят совсем! — воскликнул полковник, почти в отчаянии разводя руками.

Еспер Иванович понял, что в душе старика страшно боролись: с одной стороны, горячая привязанность к сыну, а с другой — страх, что если он оставит хозяйство, так непременно разорится; а потому Имплев более уже не касался этой больной струны.

Вошла Анна Гавриловна с чайным подносом в руках. Разнеся чай, она не уходила, а осталась тут же в кабинете.

— Где жить будет у тебя Паша? — спросил Еспер Иваныч полковника.

— Да тут, я у Александры Григорьевны Абреевой квартирку в доме ее внизу взял!.. Оставлю при нем человека!..— отвечал тот.

— Что же, он так один с лакеем и будет жить? — возразил Еспер Иваныч.

— Нет, я сына моей небогатенькой соседки беру к нему,— тоже гимназистик, постарше Паши и прекраснейший мальчик! — проговорил полковник, нахмуриваясь: ему уже начали и не нравиться такие расспросы.

Еспер Иваныч сомнительно покачал головой.

— Не знаю,— начал он, как бы более размышляющим тоном,— а по-моему гораздо бы лучше сделал, если бы отдал его к немцу в пансион... У того, говорят, и за уроками детей следят и музыке сверх того учат.

— Ни за что! — сказал с сердцем полковник.— Немец его никогда и в церковь сходить не заставит.

Говоря это, старик маскировался: не того он боялся, а просто ему жаль было платить немцу много денег, и вместе с тем он ожидал, что если Еспер Иваныч догадается об том, так, пожалуй, сам вызовется платить за Павла; а Вихров и от него, как от Александры Григорьевны, ничего не хотел принять: странное смешение скупости и гордости представлял собою этот человек!

Еспер Иваныч, между тем, стал смотреть куда-то вдаль и заметно весь погрузился в свои собственные мысли, так что полковник даже несколько обиделся этим. Посидев немного, он встал и сказал не без досады:

— А мне уж позвольте: я помолюсь, да и лягу!

— Сделай милость! — сказал Еспер Иваныч, как бы спохватясь и совершенно уже ласковым голосом.

Анна Гавриловна, видевшая, что господа, должно быть, до чего-то не совсем приятного между собою договорились, тоже поспешила посмягчить это.

— Поумаялись, видно, с дороги-то,— отнеслась она с веселым видом к полковнику.

— Да, а все коляска проклятая; туда мотнет, сюда,— всю душу вымотала,— отвечал он.

— Неужели лучше в службе-то на лошади верхом ездили? — сказала Анна Гавриловна.

Она знала, что этим вопросом доставит бесконечное удовольствие старику.

— Э, на лошади верхом! — воскликнул он с вспыхнувшим мгновенно взором. —У меня, сударыня, был карабахский жеребец — люлька или еще покойнее того; от Нухи до Баки триста верст, а я на нем в двое суток доезжал; на лошади ешь и на лошади спишь.

— А сколько вам лет-то тогда было, барин — баринхвастун!..— перебила Анна Гавриловна.

— Лет двадцать пять, не больше!

— То-то и есть: ступайте лучше — отдохните на постельке, чем на ваших конях-то!

— И то пойду!.. Да хранит вас бог! — говорил полковник, склоняя голову и уходя.

Анна Гавриловна тоже последовала за ним.

— Идти уложить его! — говорила она.

Ко всем гостям, которых Еспер Иваныч любил, Анна Гавриловна была до нежности ласкова.

Имплев, оставшись вдвоем с племянником, продолжал на него ласково смотреть.

— Ну-ка, пересядь сюда поближе! — сказал он.

Паша пересел.

— Вот теперь тебя везут в гимназию; тебе надобно учиться хорошо; мальчик ты умный; в ученье счастье всей твоей жизни будет.

— Я буду учиться хорошо,— сказал Павел.

— Еще бы!.. Отец вот твой, например, отличный человек: и умный, и добрый; а если имеет какие недостатки, так чисто как человек необразованный: и скупенек немного, и не совсем благоразумно строг к людям...

Павел потупился: тяжелое и неприятное чувство пошевелилось у него в душе против отца; «никогда не буду скуп и строг к людям!» — подумал он.

— Ты сам меня как-то спрашивал,— продолжал Имплев,— отчего это, когда вот помещики и чиновники съедутся, сейчас же в карты сядут играть?.. Прямо от неучения! Им не об чем между собой говорить; и чем необразованней общество, тем склонней оно ко всем этим играм в кости, в карты; все восточные народы, которые еще необразованнее нас, очень любят все это, и у них, например, за величайшее блаженство считается их *кейф*, то есть, когда человек ничего уж и не думает даже.

— А в чем же, дядя, настоящее блаженство? — спросил Павел.

— Настоящее блаженство состоит,— отвечал Имп-

лев,— в отправлении наших высших душевных способностей: ума, воображения, чувства. Мне вот, хоть и не много, а все побольше разных здешних господ, бог дал знания, и меня каждая вещь, что́ ты видишь здесь в кабинете, занимает.

— А это что такое у вас, дядя? — спросил Павел, показывая на астролябию, которая очень возбуждала его любопытство; сам собою он никак уж не мог догадаться, что это было такое.

— Это астролябия, инструмент — землю мерять; ты, ведь, черчению учился?

— Учился, дядя!

— И поэтому знаешь, что такое треугольник и многоугольник... И теперь всякая земля,— которою владею я, твой отец, словом все мы,— есть не что иное, как неправильный многоугольник, и, чтобы вымерять его, надобно вымерять углы его... Теперь, поди же сюда!

И Еспер Иваныч подвел Павла к астролябии; он до страсти любил с кем бы то ни было потолковать о разных математических предметах.

— Теперь по границе владения ставят столбы и, вместо которого-нибудь из них, берут и уставляют астролябию, и начинают смотреть вот в щелку этого подвижного диаметра, поворачивая его до тех пор, пока волосок его не совпадает с ближайшим столбом; точно так же поворачивают другой диаметр к другому ближайшему столбу и какое пространство между ими — смотри вот: 160 градусов, и записывают это,— это значит величина этого угла,— понял?

— Понял! — отвечал бойко мальчик: — Этому, дядя, очень весело учиться,— прибавил он.

— Весело! *«Науки юношей-с питают, отраду старцам подают!»*—продекламировал Еспер Иваныч; но вошла Анна Гавриловна и прервала их беседу.

— Воин-то наш храпом уж храпит!..— объявила она.

— А и бог с ним!.. — отозвался Еспер Иваныч, отходя от астролябии и садясь на прежнее место.— А ты вот что! — прибавил он Анне Гавриловне, показывая на Павла.— Принеси-ка подарок, который мы приготовили ему.

— Хорош уж подарок, нечего сказать! — возразила Анна Гавриловна, усмехаясь, сама впрочем, пошла и вскоре возвратилась с халатом на рост Павла и с такими же сафьянными сапогами.

— Облекись-ка в сие благородное одеяние, юноша!— сказал Еспер Иваныч Паше.

Тот в минуту же сбросил с себя свой чепанчик, брюки, сапожонки, надел халат и сафьянные сапоги.

— Ну, теперь, сударыня,— продолжал Еспер Иваныч, снова обращаясь к Анне Гавриловне,— собери ты с этого дивана книги и картины и постели на нем Февей-царевичу постельку. *Он* полежит, и *я* полежу.

— Чтой-то, полноте, и маленького-то заставляете лежать! — воскликнула Анна Гавриловна.

— Нет, Анна Гавриловна, я хочу полежать,— ей-богу,— торопливо подхватил Павел.

Он полагал, что все, что дядя желает, чтоб он делал, все это было прекрасно, и он должен был делать.

— Ах вы, уморники,— право! — сказала Анна Гавриловна, и начала приготовлять Паше постель.

— Читывал ли ты, мой милый друг, романы? — спросил его Еспер Иваныч.

— Читывал, дядя.

— Какие же?

— «Молодой Дикий», «Повести Мармонтеля».

— Ну, все это не то!.. Я тебе Вальтера Скотта дам. Прочитаешь — только пальчики оближешь!..

И Имплев в самом деле дал Павлу перевод «Ивангое», сам тоже взял книгу, и оба они улеглись.

Анна Гавриловна покатилась со смеху.

— Вот уж по пословице: старый и малый одно творят,— сказала она и, покачав головой, ушла.

Паша сейчас начал читать. Еспер Иваныч, по временам, из-под очков, взглядывал на него. Наконец уже смерклось. Имплев обратился к Паше.

— Встань и подними у этой банки крышку.

Павел встал и подошел к столу, поднял у банки закрышку и тотчас же отскочил. Из маленького отверстия банки вспыхнуло пламя.

— Откуда это огонь появился? — спросил он с блистающим от любопытства взором.

— Ну, этого пока тебе еще нельзя растолковать,— отвечал Еспер Иваныч с улыбкой,— а ты вот зажги свечи и закрой опять крышку.

Паша все это исполнил, и они опять оба принялись за чтение.

Анна Гавриловна еще несколько раз входила к ним,

едва упросила Пашу сойти вниз покушать чего-нибудь. Еспер Иваныч никогда не ужинал, и вообще он прихотливо, но очень мало, ел. Паша, возвратясь наверх, опять принялся за прежнее дело, и таким образом они читали часов до двух ночи. Наконец Еспер Иваныч погасил у себя свечку и велел сделать то же и Павлу, хотя тому еще и хотелось почитать.

V

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ В НОВОСЕЛКАХ

На другой день началась та же история, что и вчера была. Еспер Иваныч, не вставая даже с постели, часов до двенадцати читал; а потом принялся бриться, мыться и одеваться. Все это он обыкновенно совершал весьма медленно, до самого почти обеда. Полковник, как любитель хозяйства, еще с раннего утра, взяв с собою приказчика, отправился с ним в поля. Паша все время читал в соседней с дядиным кабинетом комнате. Часа в два все сошлись в зале к обеденному столу. Еспер Иваныч был одет в широчайших и легчайших летних брюках, в чистейшем жилете и белье, в широком полусуконном сюртуке, в парике, вместо колпака, и надушенный. Он к каждому обеду всегда так выфранчивался.

Сели за стол.

— Обходил, судырь Еспер Иваныч,— начал полковник,— я все ваши поля: рожь отличнейшая; овсы такие, что дай бог, чтобы и выспели.

— А ведь хозяин-то не больно бы, кажись, рачительный,— подхватила Анна Гавриловна, показав головой на барина, (она каждый обед обыкновенно стояла у Еспера Иваныча за стулом и не столько для услужения, сколько для разговоров),— нынче все лето два раза в поле был!

— Три!..— перебил отрывисто и с комическою важностью Еспер Иваныч.

— Поди ты вот! — произнес почти с удивлением полковник.

— А у вас, батюшка, разве худы хлеба-то? — спросила Анна Гавриловна.

— Нет, у меня-то благодарить бога надо, а тут вот у соседей моих, мужичков Александры Григорьевны Абреевой, по полям-то проезжаешь, боже ты мой! Кровью серд-

це обливается; точно после саранчи какой,— волотина волотину кличет!

— Да что же, места что ли у них потны, вымокает что ли? — продолжала расспрашивать Анна Гавриловна полковника.

Она знала, что Еспер Иваныч не поддержит уж этого разговора.

— Нет, не то что места, а семена, надо быть, плохи. Какая-нибудь, может, рожь расхожая и непросеянная. Худа и обработка тоже: круглую неделю у нее мужики на задельи стоят; когда около дому-то справить!

— Неужели этакие баря греха-то не боятся: ведь за это с них бог спросит! — воскликнула Анна Гавриловна.

Полковник развел руками.

— Видно, что нет! — проговорил он.

У него самого, при всей его скупости и строгости, мужики были в отличнейшем состоянии.

— Да чего тут,— продолжал он: — поп в приходе у нее... порассорилась, что ли, она с ним... вышел в Христов день за обедней на проповедь, да и говорит: «Православные христиане! Где ныне Христос пребывает? Между нищей братией, христиане, в именьи генеральши Абреевой!» Так вся церковь и грохнула.

Еспер Иваныч тоже захохотал.

— Отлично, превосходно сказано! — говорил он.

Паша тоже смеялся.

— Архиерею на попа жаловалась,— продолжал полковник,— того под началом выдержали и перевели в другой приход.

— Негодяйка-с, негодяйка большая ваша Александра Григорьевна. Слыхал про это,— сказал Еспер Иваныч.

— Не то что негодяйка,— возразил полковник,— а все, ведь, эти баричи и аристократы наши ничего не жалеют своих имений и зорят.

— Какая она аристократка! — возразил с сердцем Еспер Иваныч.— Авантюристка — это так!.. Сначала по казармам шлялась, а потом в генерал-адъютантши попала!.. Настоящий аристократизм,— продолжал он, как бы больше рассуждая сам с собою,— при всей его тепличности и оранжерейности воспитания, при некоторой брезгливости к жизни, первей всего благороден, великодушен и возвышен в своих чувствованиях.

Полковник решительно ничего не понял из того, что

сказал Еспер Иваныч; а потому и не отвечал ему. Тот между тем обратился к Анне Гавриловне.

— Принеси-ка ты нам, сударыня моя,— начал он своим неторопливым голосом,— письмо, которое мы получили из Москвы.

— От нашей Марьи Николавны? — спросила та, вся вспыхнув.

— Да,— отвечал Еспер Иваныч протяжно и тоже слегка покраснел; да и полковник как бы вдруг очутился в не совсем ловком положении.

— Что же пишет она? — спросил он с бегающими глазами.

— Пишет-с,— отвечал Еспер Иваныч и снова отнесся к Анне Гавриловне, стоявшей все еще в недоумении:— поди, принеси!

Та пошла и скоро возвратилась с письмом в руках. Она вся как бы трепетала от удовольствия.

— Пишет-с,— повторил Еспер Иваныч и начал читать написанное прекрасным почерком письмо: «Дорогой благодетель! Пишу к вам это письмо в весьма трогательные минуты нашей жизни: князь Веснев кончил жизнь...»

— Вот как-с, умер! — перебил полковник, и на мгновение взглянул на Анну Гавриловну, у которой, впрочем, кроме нетерпения, чтобы Еспер Иваныч дальше читал, ничего не было видно на лице.

Имплев продолжал:

«Tout le grand monde a été chez madame la princesse...[1] Государь ей прислал милостивый рескрипт... Все удивляются ее доброте: она самыми искренними слезами оплакивает смерть человека, отравившего всю жизнь ее и, последнее время, более двух лет, не дававшего ей ни минуты покоя своими капризами и страданиями».

Когда Еспер Иваныч читал эти строки, его глаза явно наполнились слезами.

«Занятия мои,— продолжал он далее,— идут попрежнему: я скоро буду брать уроки из итальянского языка и эстетики, которой будет учить меня профессор Шевырев. C'est un homme très intéressant[2] с длинными волосами и с прической à l' enfant[3]. Он был у maman с визитом и между прочим прочел ей свое стихотворение, в котором

[1] «Все светское общество было у княгини... *(франц.)*.
[2] Это очень интересный человек *(франц.)*.
[3] Как у ребенка *(франц.)*.

ей особенно понравилась одна мысль. Он говорит: *«Данта читать — что в море купаться!»* Не правда ли, благодетель, как это верно и поэтично?..»

— Неглупая девочка выходит,— проговорил Еспер Иваныч, останавливаясь читать.

— Умница, умница! — подхватил полковник.

Паша слушал все это с жадным вниманием. У Анны Гавриловны и грудь и все мускулы на лице шевелились, и когда Еспер Иваныч отдал ей назад письмо, она с каким-то благоговением понесла его и положила на прежнее место.

Еспер Иваныч между тем обратился к Паше.

— Все говорят, мой милый Февей-царевич, что мы с тобой лежебоки; давай-ка, не будем сегодня лежать после обеда, и поедем рыбу ловить... Угодно вам, полковник, с нами? — обратился он к Михайлу Поликарпычу.

— Нет-с,— отвечал тот.

Полковник любил ходить в поля за каким-нибудь делом, а не за удовольствием.

— Значит, мы с тобой, Февей-царевич, вдвоем поедем.

— Поедемте, дядя,— отвечал Павел с удовольствием.

— Поди-ка распорядись, чтобы там все готово было,— сказал Еспер Иваныч Анне Гавриловне.

— Слава тебе господи, хоть ветром-то вас немножко обдует! — проговорила она и пошла.

Тотчас же, как встали из-за стола, Еспер Иваныч надел с широкими полями, соломенную шляпу, взял в руки палку с дорогим набалдашником и, в сопровождении Павла, вышел на крыльцо. Их ожидала запряженная линейка, чтоб довезти до реки, до которой, впрочем, всего было с версту. Небольшая, здоровая сырость, благоухание трав и хлебов, чириканье разных птичек наполняли воздух. Сама река, придавая всей окрестности какой-то широкий и раздольный вид, проходила наподобие огромной синеватой ленты между ровными, зелеными лугами. По нарочно сделанному сходу наши рыболовы сошли и сели в раскрашенную лодку. Править рулем Еспер Иваныч взялся сам, а Пашу посадил против себя. Гребли четыре человека здоровых молодых ребят, а человек шесть мужиков, на другой лодке, стали заводить и закидывать невод. Поверхность воды была бы совершенно гладкая, если бы на ней то тут, то там не появлялись беспрестанно маленькие кружки, которые расходились все больше и больше, пока

не пропадали совсем, а на место их появлялся новый кружок. Павла все это очень заняло.

— Дядя, что такое облака? — спросил он, взмахнув глазами на небо.

— Это пары водяные,— отвечал тот: — из земли выходит испарение и вверху, где холодно, оно превращается в мелкие капли и пузырьки, которые и есть облака.

— А отчего же они с одной стороны светлы, а с другой темны?

— Со стороны, с которой они освещены солнцем, они светлы, а с которой — нет, с той темны.

— Так! — сказал Павел. Он совершенно понимал все, что говорил ему дядя.— А отчего, скажи, дядя, чем день иногда бывает ясней и светлей и чем больше я смотрю на солнце, тем мне тошней становится и кажется, что между солнцем и мною все мелькает тень покойной моей матери?

Еспер Иваныч грустно улыбнулся.

— Это, мой милый друг,— начал он неторопливо,— есть неведомые голоса нашей души, которые говорят в нас...

Странное дело,— эти почти бессмысленные слова ребенка заставили как бы в самом Еспере Иваныче заговорить неведомый голос: ему почему-то представился с особенной ясностью этот неширокий горизонт всей видимой местности, но в которой он однако погреб себя на всю жизнь; впереди не виделось никаких новых умственных или нравственных радостей,— ничего, кроме смерти, и разве уж за пределами ее откроется какой-нибудь мир и источник иных наслаждений; а Паша все продолжал приставать к нему с разными вопросами о видневшихся цветах из воды, о спорхнувшей целой стае диких уток, о мелькавших вдали селах и деревнях. Еспер Иваныч отвечал ему немногосложно. Когда они возвратились к тому месту, от которого отплыли, то рыбаки вытащили уже несколько тоней: рыбы попало пропасть; она трепетала и блистала своей чешуей и в ведрах, и в сети, и на лугу береговом; но Еспер Иваныч и не взглянул даже на всю эту благодать, а поспешил только дать рыбакам поскорее на водку и, позвав Павла, который начал было на все это глазеть, сел с ним в линейку и уехал домой.

Там на крыльце ожидали их Михайло Поликарпыч и Анна Гавриловна. Та сейчас же, как вошли они в комнаты, подала мороженого; потом садовник, из собственной

оранжереи Еспера Иваныча, принес фруктов, из которых Еспер Иваныч отобрал самые лучшие и подал Павлу. Полковник при этом немного нахмурился. Он не любил, когда Еспер Иваныч очень уж ласкал его сына.

Перед тем, как расходиться спать, Михайло Поликарпыч заикнулся было.

— А нам завтра, пожалуй бы, и в путь надо!..

— Ни, ни! — возразил Еспер Иваныч, отрицательно мотнув головой, и потом грустным голосом прибавил: — Эх, брат, Михайло Поликарпыч, погости: придет время, и приехал бы в Новоселки, да уж не к кому!

— Придет-то придет,— не к кому и некому будет приехать!..— подхватил полковник и покачал с грустью головой.

Так прошел еще день, два, три... В это время Павел и Еспер Иваныч ездили в лес по грибы; полковник их и туда не сопровождал и по этому поводу сказал поговорку: «рыбка да грибки — потерять деньки!»

Прогулки за грибами совершались обыкновенно таким образом: на той же линейке Павел и Еспер Иванович отправлялись к какому-нибудь перелеску, обильному грибами; их сопровождала всегда целая ватага деревенских мальчишек. Когда подъезжали к избранному месту, Павел и мальчишки рассыпались по лесу, а Еспер Иваныч, распустив зонтик, оставался сидеть на линейке. Мальчишки, набрав грибов, бегом неслись с ними к барину, и он наделял их за то нарочно взятыми пряниками и орехами. На обратном пути в Новоселки мальчишки завладевали и линейкой: кто помещался у ней сзади, кто садился на другую сторону от бар, кто рядом с кучером, а кто — и вместе с барями. Еспер Иваныч только посматривал на них и посмеивался. Он очень любил всех детей без различия! По вечерам,— когда полковник, выпив рюмку — другую водки, начинал горячо толковать с Анной Гавриловной о хозяйстве, а Паша, засветив свечку, отправлялся наверх читать,— Еспер Иваныч, разоблаченный уже из сюртука в халат, со щегольской гитарой в руках, укладывался в гостиной, освещенной только лунным светом, на диван и начинал негромко наигрывать разные трудные арии; он отлично играл на гитаре, и вообще видно было, что вся жизнь Имплева имела какой-то поэтический и меланхолический оттенок: частое погружение в самого себя, чтение, музыка, размышление о разных ученых предметах и, на-

конец, благородные и возвышенные отношения к женщине — всегда составляли лучшую усладу его жизни. Только на обеспеченной всем и ничего не делающей русской дворянской почве мог вырасти такой прекрасный и в то же время столь малодействующий плод.

По прошествии недели, полковник, наконец, взбунтовался.

— Нам завтра позвольте уж уехать — это нельзя! — сказал он почти рассерженным голосом.

— Можете, можете-с! — отвечал Еспер Иваныч: — только дай вот мне прежде Февей-царевичу книжку одну подарить,— сказал он и увел мальчика с собой наверх. Здесь он взял со стола маленький вязаный бисерный кошелек, наподобие кучерской шапочки.

— На-ка вот тебе,— сказал он, подавая его Паше: — тут есть три — четыре рыжичка; если тебе захочется полакомиться,— книжку какую-нибудь купить, в театр сходить,— ты загляни в эту шапочку, к тебе и выскочит оттуда штучка, на которую ты можешь все это приобресть.

В кошельке было положено пять золотых.

Павел поцеловал у дяди руку. Еспер Иваныч погладил его по голове.

На другой день Вихровы уехали чем свет. Анна Гавриловна провожала их.

— Уедете вы, наш барин опять теперь заляжет, и с верху не сойдет,— сказала она.

— Нехорошо, нехорошо он это делает для здоровья своего! — проговорил полковник.

— Ой, уж и не говорите лучше! — произнесла Анна Гавриловна и глубоко-глубоко вздохнула.

VI

ТОНКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Чтобы объяснить некоторые события из жизни Еспера Иваныча, я ко всему сказанному об нем должен еще прибавить, что он принадлежал к деликатнейшим и стыдливейшим мужчинам, какие когда-либо создавались в этой грубой половине рода человеческого. Моряк по воспитанию, он с двадцати пяти лет оставил службу и посвятил всю свою жизнь матери. Та была по натуре своей женщина суровая и деспотичная, так что все даже дочери ее поспе-

шили бог знает за кого повыйти замуж, чтобы только спастись от маменьки. Еспер Иваныч остался при ней; но и тут, чтобы не показать, что мать заедает его век, обыкновенно всем рассказывал, что он к службе неспособен и желает жить в деревне. После отца у него осталась довольно большая библиотека,— мать тоже не жалела и давала ему денег на книги, так что чтение сделалось единственным его занятием и развлечением; но сердце и молодая кровь не могут же оставаться вечно в покое: за старухой матерью ходила молодая горничная Аннушка, красавица из себя. Целые вечера проводили они: молодой Имплев — у изголовья старухи, а Аннушка (юная, цветущая, с скромно и покорно опущенным взором) — у ее ног. Пламя страсти обоих одновременно возжгло, и в одну ночь оба, страстные, трепещущие и стыдящиеся, они отдались друг другу. Около десяти лет почти таилась эта страсть. Всюду проникающий воздух — и тот, кажется, не знал об ней. Еспер Иваныч только и делал, что умолял Аннушку не проговориться как-нибудь,— не выдать их любви каким-нибудь неосторожным взглядом, движением. «Да полноте, барин, разве мне еще не стыднее вашего!» — успокаивала его Аннушка. Но вдруг ей стала угрожать опасность сделаться матерью. Сначала она хотела убить себя; Еспер Иваныч этому не противоречил. Он находил, что этому так и надлежало быть, а то куда же им обоим будет деваться от стыда; но, благодаря бога, благоразумие взяло верх, и они положили, что Аннушка притворится больною и уйдет лежать к родной тетке своей. Еспер Иваныч одарил ту с ног до головы золотом. Между тем старуха тоже беспокоилась о своей горничной и беспрестанно посылала узнавать: что, лучше ли ей? Чего стоили эти минуты Есперу Иванычу, видно из того, что он в 35 лет совсем оплешивел и поседел. Наконец Аннушка родила дочку; в ту же ночь та же тетка увезла младенца почти за 200 верст и подкинула его одной родственнице. Аннушка, бледная и похудавшая, снова явилась у кровати старухи, снова началась прежняя жизнь с прежнею страстью и с прежнею скрытностью.

Но вот старуха умерла!

Еспер Иваныч стал полным распорядителем и себя, и своего состояния. Аннушка сделалась его ключницей. Никто уже не сомневался в ее положении; между тем сама Аннушка, как ни тяжело ей было, слова не смела пикнуть

о своей дочери — она хорошо знала сердце Еспера Иваныча: по своей стыдливости, он скорее согласился бы умереть, чем признаться в известных отношениях с нею или с какою бы то ни было другою женщиной: по какому-то врожденному и непреодолимому для него самого чувству целомудрия, он как бы хотел уверить целый мир, что он вовсе не знал утех любви и что это никогда для него и не существовало.

В губернии Имплев пользовался большим весом: его ум, его хорошее состояние,— у него было около шестисот душ,— его способность сочинять изворотливые, и всегда несколько колкого свойства, деловые бумаги,— так что их узнавали в присутственных местах без подписи: «Ну, это имплевские шпильки!» — говорили там обыкновенно,— все это внушало к нему огромное уважение. Каждую зиму Еспер Иваныч переезжал из деревни в губернский город. С ним были знакомы и к нему ездили все богатые дворяне, все высшие чиновники; но он почти никуда не выезжал и, точно так же, как в Новоселках, продолжал больше лежать и читать книги. В губернском городе в это время проживал некто большой барин князь Веснев, съехавший в губернию в двенадцатом году и оставшийся пока там жить. Жена у него была женщина уже не первой молодости, но еще прелестнейшая собой, умная, добрая, великодушная, и исполненная какой-то особенной женской прелести; по рождению своему, княгиня принадлежала к самому высшему обществу, и Еспер Иваныч, говоря полковнику об истинном аристократизме, именно ее и имел в виду. Имплева княгиня сначала совершенно не знала; но так как она одну осень очень уж скучала, и у ней совершенно не было под руками никаких книг, то ей кто-то сказал, что у помещика Имплева очень большая библиотека. Княгиня стала просить мужа, чтобы тот познакомился с ним. Князь исполнил ее желание и сам первый сделал визит Есперу Иванычу; тот, хоть не очень скоро, тоже приехал к нему. Князя в то утро не было дома, но княгиня, все время поджидавшая, приняла его. Еспер Иваныч, войдя и увидя вместо хозяина — хозяйку, ужасно сконфузился; но княгиня встретила его самым любезным образом и прямо объяснила ему свою просьбу, чтобы он, бога ради, снабжал ее книгами.

Еспер Иваныч, разумеется, изъявил полную готовность, и таким образом началось их знакомство. Княгиня суме-

ла как-то так сделать, что Имплев, и сам не замечая того, стал каждодневным их гостем. С князем он почти не видался и всегда сидел на половине княгини. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что княгиня и Имплев были самые лучшие, самые образованные люди из всей губернии. Беседы их первоначально были весьма оживленные; но потом, особенно когда им приходилось оставаться вдвоем, они стали как-то конфузиться друг друга... Стоустая молва, между тем, давно уже трубила, что Имплев — любовник княгини Весневой. Анна Гавриловна,— всегда обыкновенно переезжавшая и жившая с Еспером Иванычем в городе, и видевши, что он почти каждый вечер ездил к князю,—тоже, кажется, разделяла это мнение, и один только ум и высокие качества сердца удерживали ее в этом случае: с достодолжным смирением она сознала, что не могла же собою наполнять всю жизнь Еспера Иваныча, что, рано или поздно, он должен был полюбить женщину, равную ему по положению и по воспитанию,— и как некогда принесла ему в жертву свое материнское чувство, так и теперь задушила в себе чувство ревности, и (что бы там на сердце ни было) по-прежнему была весела, разговорчива и услужлива, хотя впрочем, ей и огорчаться было не от чего... Между княгиней и Еспером Иванычем существовали довольно странные и даже, может быть, не совсем понятные для нашего реального времени отношения. Княгиня происходила из очень нравственного семейства, сама была воспитана в строгих, почти доходящих до пуризма, правилах нравственности. Она горячо любила Имплева и презирала мужа, но никогда, ни при каких обстоятельствах жизни своей, из одного чувства самоуважения, не позволила бы себе *пасть*. Про Еспера Иваныча и говорить нечего: княгиня для него была святыней, ангелом чистым, пред которым он и подумать ничего грешного не смел; и если когда-то позволил себе смелость в отношении горничной, то в отношении женщины его круга он, вероятно, бежал бы в пустыню от стыда, зарылся бы навеки в своих Новоселках, если бы только узнал, что она его подозревает в каких-нибудь, положим, самых возвышенных чувствах к ней; и таким образом все дело у них разыгрывалось на разговорах, и то весьма отдаленных, о безумной, например, любви Малек-Аделя к Матильде, о странном трепете Жозефины, когда она, бесчувственная, лежала на руках адъютанта, уносившего ее после объявления

ей Наполеоном развода; но так как во всем этом весьма мало осязаемого, а женщины, вряд ли еще не более мужчин, склонны в чем бы то ни было реализировать свое чувство (ну, хоть подушку шерстями начнет вышивать для милого),— так и княгиня наконец — начала чувствовать необходимую потребность наполнить чем-нибудь эту пустоту. Одно, совершенно случайное, открытие дало ей к тому прекрасный повод: от кого-то она узнала, что у Еспера Иваныча есть побочная дочь, которая воспитывается у крестьянина в деревне. Княгиня очень уже хорошо понимала скрытный характер Имплева и видела, что с ним в этом деле надобно действовать весьма осторожно. Для этой цели она напросилась у мужа, чтобы он взял ее с собою, когда поедет на ревизию,— заехала будто случайно в деревню, где рос ребенок,— взглянула там на девочку; потом, возвратясь в губернский город, написала какое-то странное письмо к Есперу Иванычу, потом — еще страннее, наконец, просила его приехать к ней. Имплев приехал. Княгиня от волнения лежала почти в постели. Придав своему голосу как можно более нежности, она сказала Имплеву почти шепотом:

— Еспер Иваныч, у вас есть побочная дочь; я видела ее в вашей деревне!

Имплев побледнел.

— Я желала бы взять ее на воспитание к себе; надеюсь, добрый друг, вы не откажете мне в этом,— поспешила прибавить княгиня; у нее уж и дыхание прервалось и слезы выступили из глаз.

Имплев не знал, куда себя и девать: только твердое убеждение, что княгиня говорит все это и предлагает по истинному доброжелательству к нему, удержало его от ссоры с нею навеки.

— Очень вам благодарен, я подумаю о том! — пробормотал он; смущение его так было велико, что он сейчас же уехал домой и, здесь, дня через два только рассказал Анне Гавриловне о предложении княгини, не назвав даже при этом дочь, а объяснив только, что вот княгиня хочет из Спирова от Секлетея взять к себе девочку на воспитание. Они оба обыкновенно никогда не произносили имени дочери, и даже, когда нужно было для нее посылать денег, то один обыкновенно говорил: «Это в Спирово надо послать к Секлетею!», а другая отвечала: «Да, в Спирово!». Теперь же, услышав желание княгини, Анна Гавриловна то-

же очень смутилась... Она ненавидела княгиню, как только женщина может ненавидеть свою соперницу; но чувство матери пересилило в ней на этот раз. Она очень хорошо поняла, что девочке гораздо будет лучше у княгини, чем у простого мужика.

— Что же, это будет хорошо! — отвечала она после небольшой паузы.

— Хорошо-то хорошо,— подхватил Еспер Иваныч обрадованным голосом.

Таким образом судьба девочки была решена.

Вскоре после того князь Веснев переехал на постоянное жительство в Москву; княгиня тоже должна была с ним переехать. Девочку они увезли с собой, и она сделалась предметом длинных-длинных писем от Еспера Иваныча к княгине, а равно длинных и длинных ответов от нее к нему. Зная, что Еспер Иваныч учение и образование предпочитает всему на свете, княгиня начала, по преимуществу, свою воспитанницу учить, и что эти операции совершались над ней неупустительно и в обильном числе, мы можем видеть из последнего письма девушки.

VII

НОВОЕ ЖИЛИЩЕ

Большой каменный дом Александры Григорьевны Абреевой стоял в губернском городе в довольно глухом переулке и был уже довольно в ветхом состоянии. На пожелтелой крыше его во многих местах росла трава; штукатурка и разные украшения наружных стен обвалились. В верхнем этаже некоторые окна были с выбитыми стеклами, а в других стекла были заплеснелые, с радужными отливами; в нижнем этаже их закрывали тяжелые ставни. К главному подъезду вели железные ворота, на которых виднелся расколовшийся пополам герб фамилии Абреевых. Его держали два льва,— один без головы, а другой без всей задней части. Часов в одиннадцать утра перед этим домом остановился экипаж Вихровых. Михайло Поликарпович сейчас же послал своего лакея Ваньку, малого лет семнадцати и сильно глуповатого, вызвать к нему сторожа при доме. Ванька сначала подбежал проворно и с усердием, но едва только отворил железную калитку как сейчас же остановился. Ванька был большой трус: вообще,

въезжая в какой-либо город, он уже чувствовал некоторую робость; он был больше сын деревни и природы! А тут он увидал перед собою огромный двор, глухо заросший травою,— взади его, с несколькими входами, полуразвалившийся флигель, и на единственной протоптанной и ведущей к нему дорожке стояла огромная собака, которая на него залаяла. Ванька очутился в невыносимом положении: не идти дальше — он барина боялся; идти — собака устрашала. Он начал уговаривать ее нежнейшими именами и почти умоляющим голосом: «Ну, лапушка; ну, милая, полно, я свой, свой!» Лапушка как бы сжалилась над ним и, перестав лаять, сошла даже с дорожки. Ванька бросился во флигель, но в которую дверь было торгнуться? Ну, как попадет не туда — выйдет какой-нибудь барин; и зубы ему начистит! Но собака опять пролаяла; Ванька схватился за первую скобку и отворил дверь. В довольно просторной избе он увидел пожилого, но еще молодцеватого солдата,— в рубашке и в штанах с красным кантом, который с рубанком в руках, стоял около столярного верстака по колено в настружанных им стружках.

— Ты, дяденька, сторож? — спросил Ванька дрожащим голосом.

— Я,— отвечал солдат неторопливо.

Его, кажется, по преимуществу озадачило глуповатое лицо Ваньки.

— К барину нашему пожалуйте, сделайте милость! — продолжал тот.

— К какому барину?

— К нашему, чтой-то, помилуйте! — произнес Ванька, усмехаясь,— у ворот, вон, дожидается.

— Да пошто я ему?

— Надо, видно,— помилуйте; пойдите, пожалуйста! Солдат пожал плечами.

— Не разберешь тебя, парень, хорошенько; бог тебя знает! — сказал он и начал неторопливо стряхивать с себя стружки и напяливать на себя свой вицмундиришко.

— Барин послал: «Позови, говорит, сторожа!» — толковал ему Ванька.

Солдат ничего уже ему не отвечал, а только пошел. Ванька последовал за ним, поглядывая искоса на стоявшую вдали собаку. Выйдя за ворота и увидев на голове Вихрова фуражку с красным околышком и болтающийся

у него в петлице георгиевский крест, солдат мгновенно вытянулся и приложил даже руки по швам.

— Барыня ваша квартиру, вот, мне в низу вашем отдала; вот и письмо ее к тебе,— сказал полковник, подавая ему письмо.

— Грамоте, ваше высокородие, я не знаю; все равно, пожалуйте-с.

— Разумеется, все равно! — сказал Вихров, вылезая из экипажа.

Солдат слегка поддержал его под руку; поддержал также и Пашу; потом молодецки распахнул ворота, кивнул головой кучеру, чтобы тот въезжал, и бросился к крыльцу.

— Ставни, ваше высокородие, позвольте напредь всего отпереть!

Затем отпер их и отворил перед Вихровыми дверь. Холодная, неприятная сырость пахнула на них. Стены в комнатах были какого-то дикого и мрачного цвета; пол грязный и покоробившийся; но больше всего Павла удивили подоконники: они такие были широкие, что он на них мог почти улечься поперек; он никогда еще во всю жизнь свою не бывал ни в одном каменном доме.

— В прочих комнатах, ваше высокородие, прикажете ставни отворять? Через коридор каменный к ним ход,— темный такой, прах его дери! — спросил солдат.

— Нет, не надо,—отвечал полковник: — эта вот комната для детей, а там для меня.

— И то, ваше высокородие; отворишь, пожалуй, и не затворишь: петли перержавели; а не затворять тоже опасно; не дорого возьмут и влезут ночью.

Все эти слова солдата и вид комнат неприятно подействовали на Павла; не без горести он вспомнил их светленький, чистенький и совершенно уже не страшный деревенский домик. Ванька между тем расхрабрился: видя, что солдат, должно быть, очень барина его испугался,— принялся понукать им и наставления ему давать.

— Ставь вот тут,— говорил он, внося с ним разные вещи,— а еще солдат, не знаешь, куда ставить.

— Тут и ставят,—отвечал тот ему серьезно, но покорно.

— Как твоя фамилия? — спросил полковник служивого, видя, как тот все проворно и молодецки делает.

Солдат опять мгновенно вытянулся и приложил руки по швам.

— Симонов, ваше высокородие! — отвечал он.

— Какого полка?

— Бомбандир, ваше высокородие, первой артиллерийской бригады.

— Я сам, брат, военный,— кавказец; в действующей все служил.

— Это видать так, ваше высокородие!

— Пять раз ранен.

— Помилуй бог, ваше высокородие, всякого!

— А ты ранен?

— Никак нет, ваше высокородие; в двух кампаниях был — в турецкой и польской,— бог уберег. Потому у нас артиллеристов мало ранят; коли конница успела наскакать, так сомнет тебя уже насмерть.

— Ну тоже как и издали лафеты начнут подбивать, попадет по прислуге.

— Да это точно, ваше высокородие.

— А ты вот что скажи мне,— продолжал полковник, очень довольный бойкими ответами солдата,— есть ли у тебя жена?

— Есть, ваше высокородие; имеется старушоночка.

— Так не может ли она нам стряпать, поварихой нам быть?

— Да это что же? С великим нашим удовольствием; сумеет ли только!

— Э, брат, сумеет ли! — воскликнул полковник: — ты знаешь, солдатская еда: хлеб да вода.

— А уж каша, ваше высокородие, так и мать наша,— подхватил Симонов, пожав слегка плечами.

Полковник очень был им доволен и перешел затем к довольно щекотливому предмету.

— Я вот,— начал он не совсем даже твердым голосом: — привезу к вам запасу всякого... ну, тащить вы, полагаю, не будете, а там... сколько следует — рассчитаем.

— Рассчитаем, ваше высокородие, сколько тоже гарнцев муки, крупы, фунтов говядины... В расчете это будем делать.

Полковник остался окончательно доволен Симоновым. Потирая от удовольствия руки, что обеспечил таким обра-

зом материальную сторону своего птенчика, он не хотел медлить заботами и о духовной стороне его жизни.

— Ванька! — крикнул он,— поди ты к Рожественскому попу; дом у него на Михайловской улице; живет у него гимназистик Плавин; отдай ты ему вот это письмо от матери и скажи ему, чтобы он сейчас же с тобою пришел ко мне.

Ванька не трогался с места; лицо его явно подернулось облаком грусти.

«Где эта, черт, Михайловская улица,— где найти там дом попа,— а там, пожалуй, собака опять!» — мелькало в его простодушной голове.

— Что ж ты стоишь?.. —проговорил полковник, вскидывая на него свои серые навыкате глаза.

Ванька сейчас же повернулся и пошел: он по горькому опыту знал, что у барина за этаким взглядом такой иногда следовал взрыв гнева, что спаси только бог от него!

Уйдя, он, впрочем, скоро назад воротился.

— Симонов пошел-с! — сказал он, как-то прячась весь в себя.

— А ты и того сделать не сумел,— сказал ему с легким укором полковник.

— Мне самовар ставить надо-с,—отвечал Ванька и поспешил уйти.

Ванька, упрашивая Симонова сходить за себя, вдруг бухнул, что он подарит ему табаку курительного, который будто бы растет у них в деревне.

— Какой-такой табак этот? — спросил тот не без удивления.

— Табак настоящий, хороший,—отвечал Ванька без запинки.

Симонов был человек неглупый; но, тем не менее, идя к Рожественскому попу, всю дорогу думал—какой это табак мог у них расти в деревне. Поручение свое он исполнил очень скоро и чрез какие-нибудь полчаса привел с собой высокого, стройненького и заметно начинающего франтить, гимназиста; волосы у него были завиты; из-за борта вицмундирчика виднелась бронзовая цепочка; сапоги светло вычищены.

— Матушка ваша вот писала вам,— начал полковник несколько сконфуженным голосом,— чтобы жить с моим Пашей,— прибавил он, указав на сына.

— Да, она писала мне,— отвечал Плавин вежливо пол-

ковнику; но на Павла даже и не взглянул, как будто бы не об нем и речь шла.

— Это вот квартира вам,— продолжал полковник, показывая на комнату: — а это вот человек при вас останется (полковник показал на Ваньку); малый он у меня смирный; Паша его любит; служить он вам будет усердно.

— Я служить, Михайло Поликарпович, завсегда вам готов,— отвечал Ванька умиленным голосом и потупляя свои глаза.

Молодой Плавин ничего не отвечал, и Павлу показалось, что на его губах как будто бы даже промелькнула насмешливая улыбка. О, как ему досадно было это деревенское простодушие отца и глупый ответ Ваньки!

— Мамаша ваша мне говорила, что вы вот и позайметесь с Пашей.

— Она мне и об этом писала,— отвечал Плавин.

— Вы ведь, кажется, в пятом классе?—спрашивал его полковник.

— В пятом.

— Вот бы мне желалось знать, в какой мой попадет. Кабы вы были так добры, проэкзаменовали бы его...

— Но теперь как же это?.. Это неудобно! — отвечал Плавин и опять, как показалось Павлу, усмехнулся.

— Что за экзамен теперь, какие глупости! — почти воскликнул тот.

— Родительскому-то сердцу, понимаете, хочется поскорее знать,— говорил, не обращая внимания на слова сына и каким-то жалобным тоном, полковник.

Павел выходил из себя на отца.

— Вы из арифметики сколько прошли? — обратился к нему, наконец, Плавин, заметно принимая на себя роль большого.

— Первую и вторую часть.

— А из грамматики?

— Синтаксис и разбор.

— А из латинского и географии?

— Из латинского — этимологию, а из географии — всеобщую...

— Их, вероятно, во второй, а может быть, и в третий класс примут,— сказал Плавин полковнику.

— Хорошо, как бы в третий; все годом меньше, подешевле воспитание выйдет.

Павел старался даже не слушать, что говорил отец.

Плавин встал и начал раскланиваться.

— Милости прошу завтра и переезжать,— сказал ему полковник.

— Очень хорошо-с,— отвечал Плавин сухо и проворно ушел.

«Какими дураками мы ему должны показаться!» — с горечью подумал Павел. Он был мальчик проницательный и тонких ощущений.

Полковник, между тем, продолжал самодовольствовать.

— Квартира тебе есть, учитель есть! — говорил он сыну, но, видя, что тот ему ничего не отвечает, стал рассматривать, что на дворе происходит: там Ванька и кучер вкатывали его коляску в сарай и никак не могли этого сделать; к ним пришел наконец на помощь Симонов, поколотил одну или две половицы в сарае, уставил несколько наискось дышло, уперся в него грудью, велел другим переть в вагу,— и сразу вдвинули.

— Эка прелесть, эка умница этот солдат!..— восклицал полковник вслух: — то есть, я вам скажу,— за одного солдата нельзя взять двадцати дворовых!

Он постоянно в своих мнениях отдавал преимущество солдатам перед дворовыми и мужиками.

VIII

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА

Павла приняли в третий класс. Полковник был этим очень доволен и, не имея в городе никакого занятия, почти целые дни разговаривал с переехавшим уже к ним Плавиным и передавал ему самые задушевные свои хозяйственные соображения.

— Мы-с, помещики,— толковал он,—живем совершенно как в неприятельской земле: тут тебя обокрадут, там тебе перепортят, там — не донесут.

Плавин выслушивал его с опущенными в землю глазами.

— Мне жид-с один советовал,— продолжал полковник,— «никогда, барин, не покупайте старого платья ни у попа, ни у мужика; оно у них все сопрело; а покупайте у господского человека: господин сошьет ему новый кафтан; как задел за гвоздь, не попятится уж назад, а так

и раздерет до подола. «Э, барин новый сошьет!» Свежехонько еще, а уж носить нельзя!»

Плавин как-то двусмысленно усмехался, а Павел с грустью думал: «Зачем это он все ему говорит!» — и когда отец, наконец, стал сбираться в деревню, он на первых порах почти был рад тому. Но вот пришел день отъезда; все встали, как водится, очень рано; напились чаю. Полковник был мрачен, как перед боем; стали укладывать вещи в экипаж; закладывать лошадей,— и заложили! Павел продолжал смотреть на все это равнодушно; полковник поднялся, помолился и подошел поцеловать сына. Тот вдруг бросился к нему на шею, зарыдал на всю комнату и произнес со стоном: «Папаша, друг мой, не покидай меня навеки!» Полковник задрожал, зарыдал тоже: «Нет, не покину, не покину!» — бормотал он; потом, едва вырвавшись из объятий сына, сел в экипаж: у него голова даже не держалась хорошенько на плечах, а как-то болталась. «Папаша, папаша, милый!» — стонал Павел. Полковник махнул рукой и велел везти скорее; экипаж уехал. Павел, как бы все уж похоронив на свете, с понуренной головой и весь в слезах, возвратился в комнаты. Свидетели этого прощанья: Ванька — заливался сам горькими слезами и беспрестанно утирал себе нос, Симонов тоже был как-то серьезнее обыкновенного, и один только Плавин оставался ко всему этому безучастен совершенно.

По крайней мере с месяц после разлуки с отцом, мой юный герой тосковал об нем. С новым товарищем своим он все как-то мало сближался, потому что тот целые дни был каким-нибудь своим делом занят и вообще очень холодно относился к Паше, так что они даже говорили друг другу *«вы»*. В одну из суббот, однако, Павел не мог не обратить внимания, когда Плавин принес с собою из гимназии особенно сделанную доску и прекраснейший лист веленевой бумаги. У листа этого Плавин аккуратно загнул края и, смочив его чистою водой, положил на доску, а самые края, намазав клейстером, приклеил к ней.

— Что вы это делаете? — спросил его Павел не без удивления.

— Бумагу наклеиваю для рисования...

— Она у вас вся сморщится!

— Исправится к завтраму,— отвечал Плавин с улыбкою, и действительно поутру Павел даже ахнул от удивления, что бумага вышла гладкая, ровная и чистая. Когда

Плавин принялся рисовать, Павел сейчас же стал у него за спиною и принялся с величайшим любопытством смотреть на его работу. Отчего Павел чувствовал удовольствие, видя, как Плавин чисто и отчетливо выводил карандашом линии,— как у него выходило на бумаге совершенно то же самое, что было и на оригинале,— он не мог дать себе отчета, но все-таки наслаждение ощущал великое; и вряд ли не то ли же самое чувство разделял и солдат Симонов, который с час уже пришел в комнаты и не уходил, а, подпершись рукою в бок, стоял и смотрел, как барчик рисует. Здесь мне, может быть, будет удобно сказать несколько слов об этом человеке. Читатель, вероятно, и не подозревает, что Симонов был отличнейший и превосходнейший малый: смолоду красивый из себя, умный и расторопный, наконец в высшей степени честный и совершенно не пьяница, он, однако, прошел свой век незаметно, и даже в полку, посреди других солдат, дураков и воришек, слыл так себе только за сносно хорошего солдата. Александра Григорьевна Абреева оказалась в этом случае проницательнее всех. Выбрав к себе Симонова в сторожа к дому, она очень хорошо знала, что у нее ничего уж не пропадет.

Работа Плавина между тем подвигалась быстро; внимание и удовольствие смотрящих на него лиц увеличивалось. Вдруг на улице раздался крик. Все бросились к окну и увидели, что на крыльце флигеля, с удивленным лицом, стояла жена Симонова, а посреди двора Ванька что-то такое кричал и барахтался с будочником. Несмотря на двойные рамы, можно было расслышать их крики.

— А про што? — кричал Ванька.

— А про то! — отвечал будочник.

— Не пойду!

— Нет, пойдешь...— И полицейский сцапал Ваньку за шиворотok.

— Не пойду! — кричал тот, упираясь.

— Что у них, у дьяволов? —произнес Симонов с озабоченным лицом и бросился во двор в помощь товарищу; но полицейский тащил уже Ваньку окончательно.

— Про што ты его? — закричал ему Симонов.

— А про то,— отвечал и ему будочник.

— Украл, что ли, он что? — спросил Симонов

— Украл,— отвечал полицейский и утащил Ваньку совершенно из глаз.

Симонов, с тем же озабоченным лицом, возвратился в комнаты.

— Что такое? — спросил его Павел встревоженным голосом.

— В часть за что-то Ивана взяли.

— Как — в часть! Кто смел? Я сам сейчас схожу туда и задам этому частному! — расхорохорился Павел.

— Что вам туда ходить! Я сейчас сбегаю и проведаю. Говорят, украл что-то такое,— отозвался Симонов и действительно ушел.

— Неужели ваш отец не мог оставить человека почестнее? — проговорил своим ровным голосом Плавин, принявшийся покойно рисовать.

— О, отец! Разве он думает что обо мне; ему бы только как подешевле было! — воскликнул Павел, под влиянием досады и беспокойства.

На дворе, впрочем, невдолге показался Симонов; на лице у него написан был смех, и за ним шел какой-то болезненной походкой Ванька, с всклоченной головой и с заплаканной рожею. Симонов прошел опять к барчикам; а Ванька отправился в свою темную конуру в каменном коридоре и лег там.

— Что такое случилось? — спросил Павел все еще озабоченным тоном.

— Да так, дурак, сам виноват,— отвечал Симонов, усмехаясь: — нахвастал будочнику, что он сапожник, а тот сказал частному; частный отдал сапоги ему починить...

— Какой же он сапожник! — воскликнул Павел.

— Да вот поди ты, врет иной раз, бога не помня; сапоги-то вместо починки истыкал да исподрезал; тот и потянул его к себе; а там испужался, повалился в ноги частному: «Высеките, говорит, меня!» Тот и велел его высечь. Я пришел — дуют его, кричит благим матом. Я едва упросил десятских, чтобы бросили.

— И хорошо сделали, что высекли,— произнес Плавин опять своим холодным голосом.

— И я тоже рад,— подхватил Павел; но вряд ли был этому рад, потому что сейчас же пошел посмотреть, что такое с Ванькой.

Он его застал лежащим вниз лицом и горько плачущим.

— Ну, ты не плачь; сам, ведь, виноват,— сказал он ему.

— Виноват, батюшка Павел Михайлыч, виноват,— отвечал, всхлипывая, Ванька.

— Тебя очень больно высекли? — спросил Павел.

— Правую сторону уж очень отхлестали,— отвечал Ванька.

— Ну, ничего, пройдет,— успокаивал его Павел и возвратился в свою комнату.

Там он застал довольно оживленный разговор между Плавиным и Симоновым.

— Тут тоже при мне в части актеров разбирали: подрались, видно; у одного такой синячище под глазами — чудо! Колом каким-нибудь, должно быть, в рожу-то его двинули.

— А разве актеры приехали? — спросил Плавин оживленным голосом.

— Приехали; сегодня представлять будут. Содержатель тоже тут пришел в часть и просил, чтобы драчунов этих отпустили к нему на вечер — на представление. «А на ночь, говорит, я их опять в часть доставлю, чтобы они больше чего еще не набуянили!»

— Пойдемте сегодня в театр? — обратился Плавин к Павлу.

— Пойдемте,— отвечал тот; у него при этом как-то екнуло сердце.

— Что сегодня играют? — спросил Плавин Симонова.

— Не знаю, не спросил — дурак, не сообразил этого. Да я сейчас сбегаю и узнаю,— отвечал Симонов и, не медля ни минуты, проворно отправился.

— Я никогда еще в театре не бывал,— сказал Павел слегка дрожащим голосом.

— Я сам театр очень люблю,— отвечал Плавин; волнение и в нем было заметно сильное.

Симонов не заставил себя долго дожидаться и возвратился тоже в каком-то возбужденном состоянии.

— Сегодня отличное представление! — сказал он, развертывая и подавая заскорузлой рукой афишу.— *Днепровская русалка,*— прибавил он, тыкая пальцем на заглавие.

— Билеты теперь же надо взять,— проговорил Плавин.

— Да я сбегаю, пожалуй,— вызвался и на это с полною готовностью Симонов, и действительно сбегал, принес, а потом куда-то и скрылся.

Гимназисты мои после того остались в очень непокойном состоянии. Время казалось им идущим весьма медленно. Плавин еще несколько владел собой; но Павел беспрестанно смотрел на большие серебряные часы, которые отец ему оставил, чтобы он не опаздывал в гимназию. Его, по преимуществу, волновало то, что он слыхал названия: «сцена», «ложи», «партер», «занавес»; но что такое собственно это было, и как все это соединить и расположить, он никак не мог придумать того в своем воображении. Часу в седьмом молодые люди, наконец, отправились. Время было — осень поздняя. Метель стояла сильная. Темнота была — зги не видать; надобно было сходить с довольно большой горы; склоны ее были изрыты яминами, между которыми проходила тропинка. Плавин шел по ней привычной ногой, а Павел, следовавший за ним, от переживаемых ощущений решительно не видел, по какой дороге он идет,— наконец спотыкнулся, упал в яму, прямо лицом и руками в снег,— перепугался очень, ушибся. Плавин только захохотал над ним; Павлу показалось это очень обидно. Не подавая виду, что у него окоченели от холоду руки и сильно болит нога, он поднялся и, когда они подошли к театру, в самом деле забыл и боль и холод.

Надобно сказать, что театр помещался не так, как все в мире театры — на поверхности земли, а под землею. Он переделан был из кожевенного завода, и до сих пор еще сохранил запах дубильного начала, которым пропитаны были его стены. Посетителям нашим, чтобы попасть в партер, надобно было спуститься вниз по крайней мере сажени две. Когда они уселись наконец на деревянные скамейки, Павел сейчас понял, где эти ложи, кресла, занавес. Заиграла музыка. Павел во всю жизнь свою, кроме одной скрипки и плохих фортепьян, не слыхивал никаких инструментов; но теперь, при звуках довольно большого оркестра, у него как бы вся кровь пришла к сердцу; ему хотелось в одно и то же время подпрыгивать и плакать. Занавес поднялся. С какой жадностью взор нашего юноши ушел в эту таинственную глубь какой-то очень красивой рощи, взади которой виднелся занавес с бог знает куда уходящею далью, а перед ним что-то серое шевелилось на полу — это была река Днепр!

Вышел Видостан, в бархатном кафтане, обшитом позументами, и в шапочке набекрень. После него выбежали

Тарабар и Кифар. Все эти лица мало заняли Павла. Может быть, врожденное эстетическое чувство говорило в нем, что самые роли были чепуха великая, а исполнители их — еще и хуже того. Тарабар и Кифар были именно те самые драчуны, которым после представления предстояло отправиться в часть. Есть ли возможность при подобных обстоятельствах весело играть!

Занавес опустился. Плавин (это решительно был какой-то всемогущий человек) шепнул Павлу, что можно будет пробраться на сцену; и потому он шел бы за ним, не зевая. Павел последовал за приятелем, сжигаемый величайшим любопытством и страхом. После нескольких переходов, они достигли наконец двери на сцену, которая оказалась незатворенною. Вошли, и боже мой, что представилось глазам Павла! Точно чудовища какие высились огромные кулисы, задвинутые одна на другую, и за ними горели тусклые лампы,— мелькали набеленные и не совсем красивые лица актеров и их пестрые костюмы. Посредине сцены стоял огромный куст, подпертый сзади палками; а вверху даже и понять было невозможно всех сцеплений. Река оказалась не что иное, как качающиеся рамки, между которыми было большое отверстие в полу. Павел заглянул туда и увидел внизу привешенную доску, уставленную по краям лампами, а на ней сидела, качалась и смеялась какая-то, вся в белом и необыкновенной красоты, женщина... Открытие всех этих тайн не только не уменьшило для нашего юноши очарования, но, кажется, еще усилило его; и пока он осматривал все это с трепетом в сердце — что вот-вот его выведут,— вдруг раздался сзади его знакомый голос:

— Здравствуйте, барин!

Павел обернулся: перед ним стоял Симонов с нафабренными усами и в новом вицмундире.

— Ты как здесь? — воскликну́л Павел.

— Я, ваше высокородие, завсегда, ведь, у них занавес поднимаю; сегодня вот с самого обеда здесь... починивал им тоже кое-что.

— Что же ты нанимаешься, что ли?

— Нет, ваше высокородие, так, без платы, чтобы пущали только — охотник больно я смотреть-то на это!

Плавин все это время разговаривал с Видостаном и, должно быть, о чем-то совещался с ним или просил его.

— Хорошо, хорошо,— отвечал тот.

— Господа публика, прошу со сцены! — раздался голос содержателя.

Павел почти бегом бросился на свою скамейку. В самом начале действия волны реки сильно заколыхались, и из-под них выплыла Леста, в фольговой короне, в пышной юбке и в трико. Павел сейчас же догадался, что это была та самая женщина, которую он видел на доске. Она появлялась еще несколько раз на сцене; унесена была, наконец, другими русалками в свое подземное царство; затем — перемена декорации, водяной дворец, бенгальский огонь, и занавес опустился. Надо было идти домой. Павел был как бы в тумане: весь этот театр, со всей обстановкой, и все испытанные там удовольствия показались ему какими-то необыкновенными, не воздушными, не на земле (а как и было на самом деле — под землею) существующими — каким-то пиром гномов, одуряющим, не дающим свободно дышать, но тем не менее очаровательным и обольстительным!

IX

СВОЙ УЖ ТЕАТР

Приближались святки. Ученье скоро должно было прекратиться. Раз вечером, наши юноши в халатах и туфлях валялись по своим кроватям. Павел от нечего делать разговаривал с Ванькой.

— Что ты, Иван, грамоте не выучишься? — сказал он ему.

— Я умею-с! — отвечал Ванька, хоть бы бровью поведя от сказанной им лжи.

— Что ты врешь! — произнес Павел, очень хорошо знавший, что Ванька решительно не знает грамоте.

— Умею-с,— опять повторил Ванька.

— Ну, возьми вот книгу и прочти! — сказал Павел, показывая на лежащую на столе «Русскую историю».

Ванька совершенно смело взял ее, развернул и начал смотреть в нее, но молчал.

— Ну, какая же это буква? — спросил его наконец Павел.

— Веди,— отвечал Ванька; и — не ошибся.

— А это какая?

— Аз!..— И в самом деле это была *а*.

— Ну, что же из всего этого выйдет?

Ванька слегка покраснел.

— Вот это-то, барин, виноват, я уж и позабыл.

— Это нельзя забыть; это можно не знать, понимаешь ты, а забыть нельзя,— толковал ему Павел.

— Да я, барин, по своей азбуке вот знаю,— возразил Ванька.

— Покажи твою азбуку,— сказал Павел.

Ванька сходил и принес масляную-замасляную азбуку. По ней он еще мальчишкой учился у дьячка, к которому отдавали его на целую зиму и лето. Дьячок раз тридцать выпорол его, но ничему не выучил, и к концу ученья счел за лучшее заставить его пасти овец своих.

— Какой это склад? — говорил Павел, показывая на слог *ва* в складах.

— *Ва*,— отвечал Ванька, весьма недолго подумав.

— А это что такое? — продолжал Павел, показывая уже в книге на *ря* (слово, выбранное им, было: *Варяги*).

Ванька опять молчал.

— Какой это склад? — обратился Павел снова к складам.

— *Ря*,— отвечал Ванька, после некоторого соображения.

— А это какой? — спросил Павел из книги и показывая на слог *ги*.

Ванька недоумевал, но по складам объяснил, что это *ги*.

— Отчего же ты по складам знаешь, а в книге нет? — спросил Павел.

Ванька молчал. Дело в том, что он имел довольно хороший слух, так что некоторые песни с голосу играл на балалайке. Точно так же и склады он запоминал по порядку звуков, и когда его спрашивали, какой это склад, он начинал в уме: *ба, ва, га*, пока доходил до того, на который ему пальцами указывали. Более же этого он ничего не мог ни припомнить, ни сообразить.

— Хорошо он умеет читать! — произнес Плавин, выведенный наконец из терпенья всеми этими объяснениями.

— Умею-с,— объяснил и ему Ванька.

— Поди ты, дуралей, умеешь!—воскликнул Павел.

— Чего тут не уметь-то! — возразил Ванька, дерзко усмехаясь, и ушел в свою конуру. «Русскую историю», впрочем, он захватил с собою, развернул ее перед свечкой и начал читать, то есть из букв делать бог знает какие склады, а из них сочетать какие только приходили ему в голову

слова, и воображал совершенно уверенно, что он это читает!

— Умею! — произнес он, самодовольно поднимая свою острую морду.

Юноши наши задумали между тем дело большое. Плавин, сидевший несколько времени с закрытыми глазами и закинув голову назад, вдруг обратился к Павлу.

— А что, давайте, сыграемте театр сами,— сказал он с ударением и неторопливо.

Павел даже испугался немножко этой мысли.

— Как сыграем, где? — произнес он.

— Здесь у нас вверху, в зале.

— А декорации где же и занавес?

— Все это сделаем сами; я нарисую, сумею.

Павел взглянул почти с благоговением на Плавина.

— Завтра я пойду в гимназию,— продолжал тот: — сделаем там подписку; соберем деньги; я куплю на них, что нужно.

Павлу это предложение до такой степени казалось мало возможным, что он боялся еще ему и верить.

— Теперь, главное дело, надо с Симоновым поговорить. Пошлите этого дурака — Ваньку, за Симоновым! — сказал Плавин.

— Поди, Иван, сейчас позови Симонова! — крикнул Павел сколько мог строгим голосом.

Ванька пошел, но и книгу захватил с собою. Ночью он всегда с большим неудовольствием ходил из комнат во флигель длинным и темным двором. В избу к Симонову он вошел, по обыкновению, с сердитым и недовольным лицом.

— Поди к господам; посылают все, почитать не дадут! — проговорил он, махнув с важностью книгой.

— Что им надо? — отозвался лежавший на печи Симонов.

— Надо, знать, ступай!

Симонов сейчас же соскочил с печи, надел вицмундиришко и валяные сапоги и побежал.

Ванька тоже побежал за ним: он боялся отставать!

— Извините, я уж в валенках; спать было лег,— сказал Симонов, входя в комнаты.

— Ничего,— отвечал Плавин, вставая и выпрямляясь во весь свой довольно уже высокий рост. Решительность, сообразительность и воодушевление заметны были во всей его фигуре.

— Знаешь что?.. Мы хотим сыграть театр у вас в верхней зале, позволишь ты? — спросил он Симонова.

— Театр? — повторил тот.— Да гляче бы; только чтобы генеральша не рассердилась...— В тоне голоса его была слышна борьба: ему и хотелось очень барчиков потешить, и барыни он боялся, чтобы она не разгневалась на него за залу.

— Генеральша ничего,— сказал Павел с уверенностью: — я напишу отцу; тот генеральше скажет.

— Это вот так, ладно! Папаше вашему она слова не скажет — позволит,— сказал Симонов. Удовольствие отразилось у него при этом даже на лице.

— Это, значит, решено! — начал опять Плавин.— Теперь нам надобно сделать расчет пространству,— продолжал он, поднимая глаза вверх и, видимо, делая в голове расчет.— Будет ли у вас в зале аршин семь вышины? — заключил он.

— Надо быть, что будет!.. Заглазно, конечно, что утвердительно сказать нельзя...— отвечал, придав мыслящее выражение своей физиономии, Симонов.

— Пойдем, сходим сейчас же, смеряем,— сказал Плавин, не любивший ничего откладывать.

— Сходимте,— подхватил и Симонов с готовностью.

— Возьмите и меня, господа, с собою,— сказал Павел. У него уже и глаза горели и грудь волновалась.

Симонов сейчас засветил свечку, и все они сначала прошли по темному каменному коридору, потом стали подниматься по каменной лестнице, притворили затем какую-то таинственную маленькую дверцу и очутились в огромной зале. Мрак их обдал со всех сторон. Свечка едва освещала небольшое около них пространство, так что, когда все взглянули вверх, там вместо потолка виднелся только какой-то темный простор.

— Ого! Тут не две, а пожалуй, и четыре сажени будут! — воскликнул Симонов.

— Отличная, превосходная зала! — говорил Плавин, исполненный искреннего восторга.

— Отличная! — повторял за ним и Павел.

— Теперь-с, станем размеривать,— начал Плавин,— для открытой сцены сажени две, да каждый подзор по сажени?.. Ровно так будет!..— прибавил он, сосчитав шагами поперек залы.

— Так! — повторял за ним и Симонов.

— В длину сцена будет,— продолжал неторопливо Плавин,— для лесных декораций и тоже чтоб стоять сзади, сажени четыре с половиной...

— Так! — подтвердил и на это Симонов.

— Актеры будут входить по той же лестнице, что и мы вошли; уборная будет в нашей комнате.

— В вашей комнате,— согласился Симонов.

— Сидеть публика будет на этих стульях; тут их, должно быть, дюжины три; потом можно будет взять мебели из гостиной!.. Ведь можно? — обратился Плавин к Симонову.

— Можно, я думаю,— отвечал тот. В пылу совещания он забыл совершенно уж и об генеральше.

— Пройдемте чрез гостиную,— сказал Плавин.

Все пошли за ним. Это тоже оказалась огромная комната. Мебель в ней была хоть и ободранная, но во вкусе à l'empire[1]: белая с золотым и когда-то обитая шелковой малиновой материей. По стенам висели довольно безобразные портреты предков Абреевых, в полинялых золотых рамках, все страшно запыленные и даже заплеснелые. В огромных зеркалах, доходящих чуть не до потолка, отразились длинные фигуры наших гимназистов с одушевленными физиономиями и с растрепанными волосами, а также и фигура Симонова в расстегнутом вицмундиришке и валяных сапогах.

— Мебели тут человек на двадцать на пять будет, а всего с зальною человек шестьдесят сядет,— публика не малая будет! — заключил он с гордостью.

— Какое малая! — подхватил Павел.

Когда они вошли в наугольную комнату, то в разбитое окно на них дунул ветер и загасил у них свечку. Они очутились в совершенной темноте, так что Симонов взялся их назад вести за руку.

Сначала молодые люди смеялись своему положению, но, когда они проходили гостиную, Павлу показалось, что едва мерцающие фигуры на портретах шевелятся в рамках. В зале ему почудился какой-то шорох и как будто бы промелькнули какие-то белые тени. Павел очень был рад, когда все они трое спустились по каменной лестнице и вошли в их уютную, освещенную комнату. Плавин сейчас же опять принялся толковать с Симоновым.

---

[1] ампир (*франц.*).

— Ну-с, Василий... как тебя по отчеству? — он заметно ласкался к Симонову.

— Мелентьич,— отвечал тот.

— Василий Мелентьич, давайте теперь рассчитаемте, что все будет это стоить: во-первых, надобно поднять сцену и сделать рамки для декораций, положим хоть штук четырнадцать; на одной стороне будет нарисована лесная, а на другой — комнатная; понимаешь?

— Понимаю-с,— отвечал Симонов. Он, в самом деле, все, что говорил ему Плавин, сразу же понимал.

— Что же все это будет стоить,— материал и работа? — заключил наконец тот с некоторым уже беспокойством в голосе.

— Материал—рублей пятнадцать; а работа что?.. Сделаю,— отвечал Симонов и вслед за тем как-то торопливо обратился к Павлу: — Только уж вы, пожалуйста, папеньке-то вашему напишите.

— Напишу,— отвечал Павел и сейчас же принялся писать; а Симонов, пожелав барчикам покойной ночи, отправился в свою избу.

На другой день, Плавин и обедать домой из гимназии не возвращался. Симонов тоже куда-то пропал, и Павлу сказали только то, что за Васильем прибегал и увел его с собою какой-то гимназический сторож. Под самые сумерки почти, Павел наконец увидел, что на двор въехали два ломовые извозчика; на одном возу сидел Плавин в куче разных кульков и тюков; а на другом помещался Симонов с досками и бревнами. Молодой предприниматель наш успел уже в гимназии составить подписку, собрать часть денег и купить на них все нужные вещи, которые, надо полагать, Ваньку даже заинтересовали, потому что он, с величайшею расторопностью, начал с извозчика Плавина таскать стопы оберточной бумаги, кульки с клеем, кистями, сажей, вохрой и мелом. Плавин, наскоро пообедав, велел Ваньке поставить самовар и в кипятке из него распустить клей и заварить на этой воде клейстер. Ванька побежал в кухню и весьма невдолге притащил оттуда огромный горшище с клейстером. Отвратительный клеевой запах и пар разнеслись по всей комнате; но молодые люди ничего этого не почувствовали и начали склеивать листы бумаги для задних занавесов и декораций. Павел работал даже с большим одушевлением, чем сам Плавин. Потом он не утерпел и сбегал посмотреть во флигель, что делает Симо-

нов. Тот пилил бруски для рамок и напилил их уже огромное число. Жена Симонова сидела и сшивала холст для переднего занавеса.

На следующий день началось уже и рисование. Сам Плавин принялся за передний холщевой занавес. На нем он предположил изобразить, с имеющихся у него видов Москвы, большой Петровский театр. Павлу он поручил изготовлять декорации и научил его, как надо делать окна и двери. Для этого он велел ему одну сторону оконного переплета обводить краскою темною, а другую — посветлей,— филенки на дверях разделывать таким образом, чтобы слегка их оттенять, проводя по сырому грунту сажею,— и выходило отлично! Касательно лесных декораций у них вышел даже спор. Павел сначала было сделал на них голубое небо, потом стал выводить на нем корни и ветви, а около них размещать зеленые листочки. Плавин, увидев это, всплеснул только руками.

— Разве так рисуют деревья на декорациях? — воскликнул он: — сначала надо загрунтовать совсем темною краской, а потом и валяйте на ней прямо листья; один зеленый, другой желтый, третий совсем черный и, наконец, четвертый совсем белый.— Говоря это, Плавин вместе с тем и рисовал на одной декорации дерево.

— Это черт знает что такое выйдет! — возражал ему Павел, смотря на его работу.

— Нет, не черт знает; ставьте вашу декорацию и мою, и отойдемте вдаль.

Поставили, отошли. Декорация Павла оказалась—сеть какая-то; а у Плавина стояло точно живое дерево. Павел убедился, и этим способом дорисовал все остальные декорации.

От полковника получено было, наконец, письмо, извещающее, что Александра Григорьевна с величайшим удовольствием разрешает детям взять залу для такой умной их забавы. С своей же стороны Михаил Поликарпович прибавлял сыну: «Чтобы девушка гуляла, но дельца не забывала!» Полковник терпеть не мог театра.

— Для чего это какие-то дураки выйдут, болтают между собою разный вздор, а другие дураки еще деньги им за то платят?..— говорил он, в самом деле решительно не могший во всю жизнь свою понять — для чего это люди выдумали театр и в чем тут находят удовольствие себе!

По получении разрешения от генеральши, Симо-

нов тотчас же принялся устраивать в зале возвышенную сцену. Надобно было видеть, что делал этот человек. Он на себе одном перетаскал во второй этаж огромные доски и бревна. Автор даже затрудняется объяснить побуждавшие Симонова психологические причины,— одного желания потешить барчиков было мало; надо полагать, что Симонов сам уж очень любил театр. Молодые люди тоже не уступали ему в труде. У них все уже декорации были готовы, и установлены с приставными к ним дверями и крестьянскими хатами.

Повесили наконец и передний занавес. Симонов принялся его опускать и поднимать особенно приделанными бечевками на блоках. Павел (когда занавес поднимался) входил и выходил со сцены в нарисованные им двери, отворял и затворял им же нарисованные окна. Зрителей и на это зрелище набралось довольно: жена Симонова, Ванька, двое каких-то уличных мальчишек; все они ахали и дивились.

Театр, может быть, потому и удовлетворяет вкусам всех, что соединяет в себе что-то очень большое с чем-то маленьким, игрушечным.

Каждый вечер мои молодые люди ложились в постель — страшно перепачканные, с полуонемелыми от усталости ногами, но счастливые и мечтающие о том, что предстоит еще впереди.

X

ШИПЫ ИСКУССТВА

А хлопот впереди предстояло еще немало!.. Великий Плавин (за все, что́ совершил этот юноша в настоящем деле, я его иначе и назвать не могу), устроив сцену, положил играть «Казака-стихотворца» и «Воздушные замки». Вместе с Павлом в одну ночь они переписали роли. В составлении костюмов Плавин показал почти гениальную изобретательность. «Казак-стихотворец», как известно,— пьеса малороссийская; а потому казачьи чепаны Плавин предположил сделать из гимназических вицмундирчиков; стоило только обрезать светлые пуговицы, да зашить красный воротник черным коленкором, и — готово! Бритую хохлацкую голову и чуб он устроил: чуб — из конских волос, а бритую голову — из бычачьего пузыря, который без всякой церемонии натягивал на голову Павла и смазывал белилами с кармином, под цвет человечьей кожи, так что

пузырь этот от лица не было никакой возможности отличить; усы, чтобы они были как можно длиннее, он тоже сделал из конских волос. В этом виде Павел очень стал походить на хохла, и хохла уже немолодого, за что и получил от Плавина роль Прудиуса. Для казацких штанов был куплен красный коленкор, из которого жена Симонова накроила и нашила широчайшие шальвары. Шапки-мурмолки Плавин произвел из картона, разрисовав его под бараний мех. Молодого казака Климовского стал играть гимназист седьмого класса, большой франт, который играл уже эту роль прежде и известен был тем, что, очень ловко танцуя мазурку, вылетал в своем первом явлении на сцену. Роль писаря Грицко Плавин взял себе: он вообще, кажется, претендовал на самые яркие комические роли!.. Марусю едва уговорили играть очень хорошенького собой гимназистика Шишмарева, который был в гимназических певчих и имел превосходнейший тоненький голосок. Нарядить его положили в самый лучший сарафан жены Симонова, сделать ему две косы из льну и увить их лентами. Выучить петь нашу молодежь взялся знакомый нам Видостан. Об этом именно и упрашивал его, говоря с ним в театре, Плавин. Видостан оказался очень пожилым актером, одетым в оборванный, испачканный фрачишко и дырявые сапоги, так что надобно было удивляться, каким образом он когда-нибудь мог изображать из себя молодого и красивого русского князя. Павел начал петь свои арии с чувством, но заметно уклоняясь от всяких законов музыки, так что Видостан неоднократно ему кричал: «Постойте, барин, постойте — куда ушли?» Маленький Шишмарев, как канареечка, сразу же и очень мило пропел все, что ему следовало.

В «Воздушных зàмках» роль Альнаскарова Плавин отдал семикласснику, а Виктора-слугу взялся сам играть: он решительно считал себя разнообразнейшим комическим актером! Довольно большое затруднение вышло — достать желающего на роль вдовы. Маленький Шишмарев играл уже в «Воздушных зáмках» горничную, а из прочих гимназистов решительно никто не хотел брать на себя женских ролей. Надобно было подговорить некоего Разумова, бывшего гимназиста и теперь уже служившего в казенной палате, мальчишку очень бойкого, неглупого, но в корень развращенного, так что и женщин-то играть он брался не по любви к театру, а скорей из какого-то нахальст-

ва, чтобы иметь возможность побесстыдничать и сделать несколько неблагопристойных движений. Когда Плавин стал его приглашать, он сначала ломался, отговаривался, надсмехался, но наконец согласился. Как учредители, так и другие актеры, репетициями много не занимались, потому что, откровенно говоря, главным делом было не исполнение пьесы, а декорации, их перемены, освещение сзади их свечами, поднятие и опускание занавеса. В день представления Ванька, по приказанию господ, должен был то сбегать закупить свеч для освещения, то сцену вымести, то расставить стулья в зале; но всем этим действиям он придавал такой вид, что как будто бы делал это по собственному соображению. Симонов тоже почти что с утра явился чисто выбритый, причесанный и, по обычаю, с нафабренными усами. С ним также пришла и жена его,— и уж не в сарафане, а в новом холстинковом капоте, в шелковом платочке, повязанном маленькою головкою,— и выглядывала еще очень недурною из себя. Она должна была в каменном коридоре, теперь ярко освещенном, разливать для актеров чай. Предусмотрительный Плавин купил на театральные деньги четверку чаю, несколько фунтов сахару и, кроме того, с какою-то ему уж одному известною целью, бутылку рому и бутылку водки.

Ранее всех явился франт-семиклассник. Он приехал на собственных лошадях, с своим человеком, несшим за ним картон с костюмами, в числе которых для Альнаскарова был сделан настоящий двубортный морской мундир, с якорным шитьем и с одной эполетой даже. Когда молодой человек этот стал переодеваться, то на нем оказалось превосходнейшее белье (он очень был любим одной своею пожилой теткой); потом, когда он оделся в костюм, набелился и нарумянился, подвел себе жженою пробкою усики, то из него вышел совершеннейший красавчик. Другие действующие лица тоже не замедлили явиться, за исключением Разумова, за которым Плавин принужден был наконец послать Ивана на извозчике, и тогда только этот юный кривляка явился; но и тут шел как-то нехотя, переваливаясь, и увидя в коридоре жену Симонова, вдруг стал с нею так нецеремонно шутить, что та сказала ему довольно сурово: «Пойдите, барин, от меня, что вы!»

Публика начала сбираться почти не позже актеров, и первая приехала одна дама с мужем, у которой, когда

ее сыновья жили еще при ней, тоже был в доме театр; на этом основании она, званая и незваная, обыкновенно ездила на все домашние спектакли и всем говорила: «У нас самих это было — Петя и Миша (ее сыновья) сколько раз это делали!» Про мужа ее, служившего контролером в той же казенной палате, где и Разумов, можно было сказать только одно, что он целый день пил и никогда не был пьян, за каковое свойство, вместо настоящего имени: «Гаврило Никанорыч», он был называем: «Гаврило Насосыч». Что вберет в себя, то и выпустит! Вслед за этой четой скоро наполнились и прочие кресла, так что из дырочки в переднем занавесе видны стали только как бы сплошь одна с другой примкнутые головы человеческие. Наконец, вошел довольно высокий мужчина, с выразительным лицом и с гладко обстриженными волосами, в синем вицмундирном фраке. Между сидевшими в публике гимназистами сейчас же появилось маленькое смятение и некоторый конфуз. Это вошел их самый строгий учитель математики, Николай Силыч Дрозденко, большой любитель и знаток театрального дела. Плавин, всегда немного притрухивавший Дрозденки, счел небесполезным для себя пригласить его на устроенный им театр, чтобы таким образом приласкаться к нему несколько.

При появлении Николая Силыча Гаврило Насосыч сейчас было встал и предложил ему свое кресло: они были большие приятели между собой по выпивке.

— Ничего, сыдыте, я вот и тут постою! — отвечал Николай Силыч с несколько малороссийским акцентом и встал у притолки.

Сыграв «Воздушные замки», актеры побежали переодеваться. Плавин, спешивший из Виктора преобразиться в Грицко, не забыл, однако, послать одного неиграющего гимназиста:

— Подите и пригласите сюда Николая Силыча чаю напиться.

Николай Силыч на это приглашение изъявил большое удовольствие.

— Добре,— сказал он и пошел.

Его провели через передний подзор, отогнув тот немного, потом, мимо сцены, в таинственную дверь вниз по лестнице в коридор и в уборную.

— Вот они где, лицедеи-то! — сказал он и прямо принял из рук Ваньки уже заранее приготовленную ему труб-

ку с длиннейшим чубуком и отчаянно затянулся из нее.— И пройде сие ядове во все жилы живота моего,— сказал он, выпуская из себя дым.

— Не прикажете ли, Николай Силыч, пуншу?—сказал Плавин, натягивая на себя сафьяновые сапоги.

— И то могу! — сказал Николай Силыч.

Жена Симонова подала ему чай с ромом.

Николай Силыч изготовил себе что следует.

— А ты зачем так уж очень плечи-то вверх поднимал? — обратился он к Альнаскарову, переодевавшемуся в Климовского.— Ты бы уж лучше нос больше кверху драл, все бы больше фантазера в себе являл!

— Да это что же?.. Все равно! — отвечал jeune — premier, совершенно не поняв того, что сказал ему Николай Силыч: он был малый красивый, но глуповатый.

— А я, Николай Силыч, хорошо играл?—спросил Плавин довольно смело.

— Ты?.. Нет, нехорошо, даже очень! Ты какого лакея-то играл?.. Нашего Ваньку или Мишку?.. Ты ведь французишку изображал: так — так и играй, а уж не разваливайся по-мишкинскому!.. Коли французскую дребедень взял, по-французски и дребезжи.

— Какая же французская? Русские имена и русское место действия! — возразил Плавин.

— Ну да, держи карман — русские! А выходит, парижские блохи у нас в Новгороде завелись. К разным французским обноскам и опоркам наклеят русские ярлычки да и пускают в ход, благо рынок спрашивает... Подите-ка лучше, позовите сюда Насосыча; мы ему тоже дадим немножко лакнуть.

Человека два гимназистов побежали за Гаврилом Насосычем и доставили его.

— Какими таинственными ходами провели меня! — говорил он с улыбкою и как бы заранее уже предчувствуя ожидающее его блаженство.

— Грешник, мучимый в аду! — обратился к нему Николай Силыч.— Ты давно уже жаждешь и молишь: «Да обмочит кто хотя перст единый в вине и даст мини пососати!» На, пей и лакай! — прибавил он, изготовляя и пододвигая к приятелю крепчайший стакан пунша.

— Это не дурно! — отвечал тот, потирая от удовольствия руки и представляя вид, что как будто бы он очень прозяб.

— А что, скажи,— спросил его Николай Силыч,— если бы ты жил на тропиках, пил бы али нет?

— Да там зачем же? — отозвался было Насосыч.

— Врешь, пил бы!

— Пил бы! — сознался, лукаво подмигнув, Насосыч. Все эти остроты наставника гимназисты сопровождали громким смехом.

— Хороший ром, хороший! — продолжал Насосыч, отхлебывая почти полстакана пуншу.

— Да разве ты когда-нибудь ром не хвалил? Бывало ли это с рождения твоего? — приставал к нему Николай Силыч.

— Да за что же и не хвалить-то его? — отвечал Насосыч и залился самым добродушным смехом. Он даже разговаривал о спиртных напитках с каким-то особенным душевным настроением.

Павел, все это время ходивший по коридору и повторявший умственно и, если можно так выразиться, нравственно свою роль, вдруг услышал плач в женской уборной. Он вошел туда и увидел, что на диване сидел, развалясь, полураздетый из женского костюма Разумов, а на креслах маленький Шишмарев, совсем еще не одетый для Маруси. Последний заливался горькими слезами.

— О чем вы? — спросил его Павел, более всего озабоченный тем, что приятель его совершенно не одет.

— Да все Разумов, вон, говорит! — отвечал сквозь всхлипыванья Шишмарев.

— Я говорю, что он женщина,— подхватил Разумов,— так обижается этим!.. Стоит только ему груди из теста приклеить, нынешний же год выйдет замуж...

— Перестаньте! — воскликнул Шишмарев, почти в отчаянии и закрывая себе от стыда лицо руками. Он, видимо, был очень чистый мальчик и не мог даже слышать равнодушно ничего подобного.

— Что за глупости вы говорите! — сказал Павел Разумову.

— Какие глупости!..— возразил тот.— У нас сторож Гаврилыч свататься к нему хочет, нос у него в табаке, губа отвисла, женится на нем — будет целовать его!

Бедненький Шишмарев только уж всплеснул руками.

— Замолчите и подите вон! — воскликнул вдруг Павел, побледнев и задрожав всем телом.

Он в эту минуту очень напомнил отца своего, когда тот выходил из себя.

— Скажите, пожалуйста! — воскликнул, в свою очередь, Разумов, еще более разваливаясь на диване и уставляя против Павла свои ноги.— Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! — прибавил он что-то такое.

— Уйдите вон! — повторил опять Павел и, несмотря на уставленные против него ноги, схватил Разумова за голое горло и потащил его.

— Перестаньте, вы меня задушите! — хрипел тот.

— Уйдите! — произнес еще раз Павел и потом, как бы вспомнив что-то такое, оставил Разумова и вышел к прочим своим товарищам.

— Господа! — сказал он дрожащим голосом.— Там Разумов дразнит Шишмарева — тот играть не может. Я хотел было его задушить, но я должен сегодня играть.

Проговорив это, Павел возвратился в коридор, где увидевшая его жена Симонова даже ахнула.

— Батюшка, что такое с вами? — сказала она и поспешила ему подать стакан воды.

Павел выпил залпом целый стакан ее.

— Однако надобно этого Разумова вытурить,— заговорил все слышавший и над всем бодрствующий Плавин.

— А вот это я сделаю,— сказал Николай Силыч, вставая и идя в уборную.

Все гимназисты с любопытством последовали за ним. Они знали много случаев, как Дрозденко умел распоряжаться с негодями-мальчишками: ни сострадания, ни снисхождения у него уж в этом случае не было.

— Что ты тут делаешь? — обратился он прямо к Разумову.

— Я ничего не делаю,— отвечал тот, продолжая лежать, развалясь.

— Встать! — крикнул Николай Силыч.—Смеет еще лежать такой свиньей!

Разумов сейчас же вскочил. Он еще по гимназии помнил, как Николай Силыч ставил его в сентябре на колени до *райских птиц*, то есть каждый класс математики он должен был стоять на коленях до самой весны, когда птицы прилетят.

— Да я ничего, Николай Силыч, помилуйте! — проговорил он.

— Позовите мне,— там вон я солдата какого-то видел! — обратился Николай Силыч к гимназистам.

Несколько человек из них бросились и позвали Симонова.

— Поди, возьми этого барина за шиворотом и выведи! — сказал ему Николай Силыч, показывая на Разумова.

Симонов, видя, что это приказывает учитель, сейчас же буквально исполнил эти слова и взял Разумова за ворот еще не снятого им женского платья.

— Да я и сам уйду, позвольте только переодеться,— бормотал совершенно растерявшийся Разумов.

— Веди так!.. В бабьем платье и веди!.. А его скарб после за ним выкинешь! — повторил Николай Силыч.

Симонов повел Разумова.

Все гимназисты громко захохотали.

— Мерзкий мальчишка, мерзкий!.. И развратный и воришка! — повторял об нем и Гаврило Насосыч.

Зрителей во все это время утешал, наигрывая на скрипке печальнейшие арии, актер Видостан, составлявший своею особою весь оркестр. Он на этот раз был несколько почище умыт и даже в белом галстуке, но по-прежнему в дырявых сапогах. Наконец Николай Силыч и Гаврило Насосыч вышли из-за передних подзоров и заняли свои места. Симонов поднял занавес. Шишмарев, как и надо было ожидать, пропел прелестно! Павел тоже играл старательнейшим образом, так что у него в груди даже дрожало — с таким чувством он выходил, говорил и пел.

Публика несколько раз хохотала над ним и хлопала ему, и больше всех Николай Силыч. По окончании представления, когда все зрители поднялись и стали выходить, Николай Силыч, с другом своим Насосычем, снова отправился к актерам в уборную. Там уже для них была приготовлена на подносе известная нам бутылка водки и колбаса.

— Кто сей умный человек, изготовивший все сие? — говорил Николай Силыч, подводя своего друга прямо к подносу.— Умный человек сей есть Плавин, а играл, брат, все-таки и Грицка—скверно! — прибавил он, обращаясь к нему.

На этот раз Плавин вспыхнул даже от гнева.

— Чем же скверно? — спросил он глубоко обиженным голосом.

— А тем, что какую-то дугу согнутую играл, а не человека!.. Вот пан Прудиус,— продолжал Николай Силыч, показывая на Павла,— тот за дело схватился, за психею взялся, и вышло у него хорошо; видно, что изнутри все шло!

— Я играл Грицка, как играют его и на театре настоящем! — возразил Плавин.

— То-то ты и представлял там какого-то Михайлова или Петрова, а ты бы лучше представил подленького и лукавого человечишку. По гримерской и бутафорской части, брат, ты, видно, сильнее!.. А ты поди сюда! — прибавил Николай Силыч Павлу.— В тебе есть лицедейская жилка — дай я тебя поцелую в макушку! — И он поцеловал действительно Павла в голову.

Почтенный наставник был уже заметно выпивши.

— Отлично играли, отлично! — повторял за другом и Гаврило Насосыч, продолжавший рюмку за рюмкой пить водку.

— А ты, принц Оранский — франт канальский! — обратился Николай Силыч к семиклассному гимназисту.— Вези меня на лошадях твоих домой.

— С великим удовольствием! — отвечал тот.

— И возьмем мы с собой горлинку нашу!.. Поди сюда, шишка! — сказал Николай Силыч Шишмареву.

Тот подошел к нему; он и его поцеловал в голову.

— Отлично пели, отлично! — не замедлил похвалить его также и Гаврило Насосыч.

— Ты так пой всю жизнь, а ты так играй! — обратился Николай Силыч сначала к Шишмареву, а потом к Павлу.— А ты,— прибавил он Плавину,— ступай, брат, по гримерской части — она ведь и в жизни и в службе нужна бывает: где, знаешь, нутра-то не надо, а сверху только замазывай,— где сути-то нет, а есть только, как это у вас по логике Кизеветтера — форма, что ли? Но ты, сын Марса и Венеры,— продекламировал он к семикласснику,— свершай твой путь с помощью добрых старушек. А что, тетенька любит тебя очень?

Молодой человек сконфузился.

— Любит! — проговорил он глухим голосом.

— Ну, ничего! Поедемте!

Шишмарев и семиклассник последовали за Николаем Силычем. Что касается до Гаврила Насосыча, то жена его, давно уже севшая в сани, несколько раз присылала

за ним, и его едва-едва успели оторвать от любимой им водки.

Когда все наконец разъехались, молодые друзья наши возвратились в свою спальню, по-прежнему усталые и загрязненные, но далеко не с прежним спокойным и приятным чувством. Плавин был даже мрачен.

— Вы не верьте Николаю Силычу, вы отлично играли! — вздумал было утешать его Павел.

— Очень мне нужно верить ему или не верить,— отвечал Плавин,— досадно только, что он напился как скотина! Мне перед Симоновым даже совестно! — прибавил он и повернулся к стене; но не за то ему было досадно на Николая Силыча!

XI
УЧИТЕЛЬ

Все мы живем не годами, а днями! Постигает нас какое-нибудь событие,— волнует, потрясает, направляет известным образом всю нашу последующую жизнь. В предыдущих главах моих я довольно подробно упомянул о заезде к Есперу Иванычу и об сыгранном театре именно потому, что это имело сильное нравственное влияние на моего маленького героя. Плавин с ним уж больше не жил. Громадное самолюбие этого юноши до того было уязвлено неудачею на театре, что он был почти не в состоянии видеть Павла, как соперника своего на драматическом поприще; зато сей последний, нельзя сказать, чтобы не стал в себе воображать будущего великого актера. Оставшись жить один, он нередко по вечерам призывал к себе Ваньку и чету Симоновых и, надев халат и подпоясавшись кушаком, декламировал перед ними из «Димитрия Донского»:

Российские князья, бояре, воеводы,
Пришедшие на Дон отыскивать свободы!

Или восклицал из катенинского Корнеля, прямо уже обращаясь к Симонову:

Иди ко мне, столб царства моего!

Вообще детские игры он совершенно покинул и повел, как бы в подражание Есперу Иванычу, скорее эстетический образ жизни. Он очень много читал (дядя обыкновенно присылал ему из Новоселок, как только случалась оказия, и романы, и журналы, и путешествия); часто

ходил в театр, наконец задумал учиться музыке. Желанию этому немало способствовало то, что на том же верху Александры Григорьевны оказались фортепьяны. Павел стал упрашивать Симонова позволить ему снести их к нему в комнату.

— Чтобы генеральша чего как...— произнес тот обыкновенное свое возражение.

— Но ведь я не шалить ими и не портить их буду, а еще поправлю их,— толковал ему Павел.

— Это так, какие уж от вас шалости,— говорил Симонов и потом, немного подумав, прибавил: — Берите, ничего!

И сам даже с Ванькой стащил фортепьяны вниз.

Павел сейчас же их на свои скудные средства поправил и настроил. В учителя он себе выбрал, по случаю крайней дешевизны, того же Видостана, который, впрочем, мог ему растолковать одни только ноты, а затем Павел уже сам стал разучивать, как бог на разум послал, небольшие пьески; и таким образом к концу года он играл довольно бойко; у него даже нашелся обожатель его музыки, один из его товарищей, по фамилии Живин, который прослушивал его иногда по целым вечерам и совершенно искренно уверял, что такой игры на фортепьянах с подобной экспрессией он не слыхивал. В гимназии Вихров тоже преуспевал немало: поступив в пятый класс, он должен был начать учиться математике у Николая Силыча. Переход этот для всех гимназистов был тяжким испытанием. Дрозденко обыкновенно недели две щупал новичков и затем, отделив овец от козлищ, с первыми занимался, а последних или держал на коленях, или совсем выгонял из класса. Павел выдержал этот искус блистательно.

— Пан Прудиус, к доске!—сказал Николай Силыч довольно мрачным голосом на первом же уроке.

Павел вышел.

— Пиши!

Павел написал.

— В чем тут дело?

Павел сказал, в чем тут дело.

Николай Силыч, в знак согласия, мотнул головой.

— Что́ ж из оного выходит? — продолжал он допрашивать.

Павел подумал и сказал. Николай Силыч, с оконча-

тельно просветлевшим лицом, мотнул ему еще раз головой и велел садиться, и вслед за тем сам уже не стал толковать ученикам геометрии и вызывал для этого Вихрова.

— Ну, пан Прудиус, иди к доске,— говорил он совсем ласковым голосом.

Павел выходил.

Николай Силыч задавал ему какую-нибудь новую теорему.

— Объясняй и доходи своим умом,— продолжал он, а сам слегка наводил на путь, которым следовало идти.

Павел угадывал и объяснял теорему.

У Николая Силыча в каждом почти классе было по одному такому, как он называл, толмачу его; они обыкновенно могли говорить с ним, что им было угодно,—признаваться ему прямо, чего они не знали, разговаривать, есть в классе, уходить без спросу; тогда как козлищи, стоявшие по углам и на коленях, пошевелиться не смели, чтобы не стяжать нового и еще более строгого наказания: он очень уж уважал ум и ненавидел глупость и леность, коими, по его выражению, преизбыточествует народ российский.

Одно новое обстоятельство еще более сблизило Павла с Николаем Силычем. Тот был охотник ходить с ружьем. Павел, как мы знаем, в детстве иногда бегивал за охотой, и как-то раз, идя с Николаем Силычем из гимназии, сказал ему о том (они всегда почти из гимназии ходили по одной дороге, хотя Павлу это было и не по пути).

— Ну, так что́ же — заходи как-нибудь; пойдем вместе! — сказал ему Николай Силыч.

— С великой готовностью,— отвечал Павел и на той же неделе вытребовал из деревни свое ружье и патронташ.

Затем они каждый почти праздник стали отправляться: Николай Силыч — в болотных сапогах, в чекмене и в черкесской шапке, нарочно для охоты купленной, а Павел — в своей безобразной гимназической шинели, подпоясанной кушаком, и в Ванькиных сапогах. Места, куда они ходили, были подгородные, следовательно, с совершенно почти выстрелянною дичью; а потому кровавых жертв охотники с собой приносили немного, но зато разговоров между ними происходило большое количество.

Юный герой мой сначала и не понимал хорошенько, зачем это Николай Силыч все больше в одну сторону склонял разговор.

— А чтó, ты слыхал,— говорил тот, как бы совершенно случайно и как бы более осматривая окрестность,— почем ныне хлеб покупают?

— Нет, Николай Силыч, у нас ведь хлеб некупленный — из деревни мне привозят,— отвечал Павел.

Лицо Дрозденки осклабилось в насмешливую улыбку и как бы свернулось несколько набок.

— Да, я и забыл, что ты паныч! Крестьянской слезой питаешься! — проговорил он.

Павел невольно потупился.

— По рублю на базаре теперь продают за пуд,— продолжал Николай Силыч,— пять машин хотели было пристать к городу; по двадцати копеек за пуд обещали продавать — не позволили!

— Кто ж мог это не позволить? — спросил Павел.

— Начальство! — отвечал Николай Силыч.— Десять тысяч здешние торговцы дали за то губернатору и три тысячи полицеймейстеру.

Павел обмер от удивления.

— Этаких людей,—говорил он с свойственным юношам увлечением,— стóит поставить перед собой да и стрелять в них из этой винтовки.

— Попробуй! — сказал Николай Силыч и, взглянув Павлу прямо в лицо, захохотал.

— Попробую, когда нужно это будет! — произнес тот мрачно.

— Попробуй! — повторил Николай Силыч.— Тебя же сошлют на каторгу, а на место того вора пришлют другого, еще вористее; такая уж землица наша: что двор — то вор, что изба — то тяжба!

Николай Силыч был заклятый хохол и в душе ненавидел всех москалей вообще и всякое начальство в особенности.

Результатом этого разговора было то, что, когда вскоре после того губернатор и полицеймейстер проезжали мимо гимназии, Павел подговорил товарищей, и все они в один голос закричали в открытое окно: «Воры, воры!», так что те даже обернулись, но слов этих, конечно, на свой счет не приняли.

Другой раз Николай Силыч и Павел вышли за охотой в табельный день в самые обедни; колокола гудели во всех церквах. Николай Силыч только поеживался и делал свою искривленную, насмешливую улыбку.

— Что, отец Никита (отец Никита был законоучитель в гимназии), чай, вас все учит: повинуйтесь властям предлежащим! — заговорил он.

— Нет,—отвечал с улыбкой Павел,—он больше все насчет франтовства,— франтить не велит; у меня волоса курчавые, а он говорит, что я завиваюсь, и все пристает, чтобы я остригся.

— Всегда, всегда наши попики вместе с немецкими унтерами брили и стригли народ! — произнес Николай Силыч ядовитейшим тоном.

— Про отца Никиту рассказывают,— начал Вихров (он знал, что ничем не может Николаю Силычу доставить такого удовольствия, как разными рассказами об отце Никите),— рассказывают, что он однажды взял трех своих любимых учеников — этого дурака Посолова, Персиянцева и Кригера — и говорит им потихоньку: «Пойдемте, говорит, на Семионовскую гору — я преображусь!»

Николай Силыч очень хорошо знал этот анекдот и даже сам сочинил его, но сделал вид, что как будто бы в первый раз его слышит, и только самодовольно подтвердил:

— Да, да!

— Потом он с теми же учениками,— продолжал Павел,— зашел нарочно в трактир и вдруг там спрашивает: «Дайте мне порцию акрид и дивиева меду!»

— Так, так! — подтверждал Николай Силыч, как бы очень заинтересованный, хотя и этот анекдот он тоже сочинил.

Дрозденко ненавидел и преследовал законоучителя, по преимуществу, за притворство его,— за желание представить из себя какого-то аскета, тогда как на самом деле было совсем не то!

В один из последних своих походов за охотой, Николай Силыч и Павел зашли верст за пятнадцать, прошли потом огромнейшее болото и не убили ничего; наконец они сели на кочки. Николай Силыч, от усталости и неудачи в охоте, был еще более обыкновенного в озлобленном расположении духа.

— А что, скажи ты мне, пан Прудиус,— начал он, обращаясь к Павлу,— зачем у нас господин директор гимназии нашей существует? Может быть, затем, чтобы руководить учителями, сообщать нам методы, как вас надо учить,— видал ты это?

— Нет, не видал! — отвечал в насмешливом тоне Павел.

— Может быть, затем,— продолжал Николай Силыч ровным и бесстрастным голосом,— чтобы спрашивать вас на экзаменах и таким манером поверять ваши знания? — Видел это, может?

— И того не видал,— отвечал Павел.

— Так зачем же он существует? — спросил Николай Силыч.

— Для высшего надзора за порядком, полагаю! — сказал Павел в том же комическом тоне.

— Существует он,— продолжал Николай Силыч,— я полагаю, затем, чтобы красить полы и парты в гимназии. Везде у добрых людей красят краскою на масле, а он на квасу выкрасил,— выдумай-ка кто-нибудь другой!.. Химик он, должно быть, и технолог. Долго ли у вас краска на полу держалась?

— Не более двух недель,— отвечал Павел, в самом деле припомнивший, что краска на полах очень скоро пропала.— Но зачем он их на квасу красил, чтобы дешевле?..— прибавил он.

— Нет, надо полагать, чтобы не так тяжел запах был; запаху масляного его супруга, госпожа директорша, очень не любит,— отвечал Николай Силыч и так лукаво подмигнул, что истинный смысл его слов нетрудно было угадать.

Все эти толкованья сильно запали в молодую душу моего героя, и одно только врожденное чувство приличия останавливало его, что он не делал с начальством сцен и ограничивался в отношении его глухою и затаенною ненавистью. Впрочем, вышел новый случай, и Павел не удержался: у директора была дочь, очень милая девушка, но она часто бегала по лестнице — из дому в сад и из саду в дом; на той же лестнице жил молодой надзиратель; любовь их связала так, что их надо было обвенчать; вслед же за тем надзиратель был сделан сначала учителем словесности, а потом и инспектором. По поводу этого Николай Силыч, встретив однажды Павла, спросил его:

— А что, был ли ты на поклонении у нового Потемкина?

— Какого? — спросил тот, сначала не поняв.

— У нашего господина инспектора-учителя, женскою милостью бе взыскан!.. Человек ныне случайный... l'hom-

me d'occasion...[1] — проговорил Николай Силыч, безбожно произнося по-французски.

— Нет-с, не был, да и не пойду! — сказал Павел, а между тем слова «l'homme d'occasion» неизгладимыми чертами врезались в его памяти.

Перед экзаменом инспектор-учитель задал им сочинение на тему: *«Великий человек»*. По словесности Вихров тоже был первый, потому что прекрасно знал риторику и логику и, кроме того, сочинял прекрасно. Счастливая мысль мелькнула в его голове: давно уже желая высказать то, что наболело у него на сердце, он подошел к учителю и спросил его, что можно ли, вместо заданной им темы, написать на тему: *«Случайный человек»?*

— Напишите! — отвечал тот, вовсе не поняв его намерения.

Павел пришел и в одну ночь накатал сочинение. О, каким огнем негодования горел он при этом! Он писал: «Народы образованные более всего ценят в гражданах своих достоинства. Все великие люди Греции были велики и по душевным своим свойствам. У народов же необразованных гораздо более успевает лесть и низость; вот откуда происходит *«случайный человек»!* Он может не иметь никаких личных достоинств и на высшую степень общественных почестей возведется только слепым случаем! Торговец блинами становится корыстолюбивым государственным мужем, лакей — графом, певчий — знатной особой!»

Сочинение это произвело, как и надо ожидать, страшное действие... Инспектор-учитель показал его директору; тот — жене; жена велела выгнать Павла из гимназии. Директор, очень добрый в сущности человек, поручил это исполнить зятю. Тот, собрав совет учителей и бледный, с дрожащими руками, прочел ареопагу злокачественное сочинение; учителя, которые были помоложе, потупили головы, а отец Никита произнес, хохоча себе под нос:

— Сатирик!.. Как же, ведь все они у нас сатирики!

— Я полагаю, господа, выгнать его надо? — обратился инспектор-учитель к совету.

— Это очень уж жестоко,— послышалось легкое бормотанье между учителями помоложе.

---

[1] «Человек случая» *(франц.)*

— Зачем ему учиться, ведь уж он сочинитель! — подхватил, опять смеясь, отец Никита.

Николай Силыч, до сего времени молчавший, при последней фразе взглянул на священника, а потом, встав на ноги, обратился к инспектору-учителю.

— А позвольте спросить, тему господина ученика вы сами одобрили?

— Да, я ему позволил ее,— отвечал тот.

— Так за что же и судить его? Тему вы сами одобрили, а выполнена она — сколько вот я, прочтя сочинение, вижу — прекрасно!

— Да-с; но тут он указывает все на русскую историю.

— А на какую же указывать ему? На турецкую разве? Так той он подробно не знает. Тем более, что он не только мысли, но даже обороты в сочинении своем заимствовал у знаменитых писателей, коих, однако, за то не наказывали и не судили.

— Мальчик и писатель — две разные вещи! — возразил инспектор-учитель.

— Разное-то тут не то,— возразил Николай Силыч,— а то, что, может, ложно поняли — не в наш ли огород камушки швыряют?

— Что вы под этим разумеете? — спросил инспектор-учитель, окончательно побледнев.

— А то, что если господина Вихрова выгонят, то я объявляю всем, вот здесь сидящим, что я по делу сему господину попечителю Московского учебного округа сделаю донос,— произнес Николай Силыч и внушительно опустился на свой стул.

Инспектор-учитель отвернулся от него и обратился к другим учителям:

— Вы как думаете, господа?

— Лучше оставить,— произнесло несколько голосов.

— Извольте в таком случае! — сказал инспектор-учитель и поспешил уйти.

— Лучше оставить, лучше! — пропищал ему вслед Николай Силыч и высунул даже язык.

Отец Никита только развел руками. Он всегда возмущался вольнодумством Николая Силыча.

Павел все это время стоял бледный у дверей залы: он всего более боялся, что если его выгонят, так это очень огорчит старика-отца.

— Что же? — спросил он, усиливаясь улыбнуться, вышедшего из совета Николая Силыча.

— Проехало мимо, оставили,— отвечал тот.

Павел вздохнул свободней.

— Очень рад,— проговорил он,— а то я этому господину (Павел разумел инспектора-учителя) хотел дать пощечину, после чего ему, я полагаю, неловко было бы оставаться на службе.

Николай Силыч только с удовольствием взглянул на юношу и прошел.

По бледным губам и по замершей (как бы окостеневшей на дверной скобке) руке Вихрова можно было заключить, что вряд ли он в этом случае говорил фразу.

— Оставили, господа! — сказал он товарищам, возвратясь в класс.

— Ура, ура! — прокричали те в один голос.

— Ну, теперь я и другими господами займусь! — сказал Павел с мрачным выражением в лице, и действительно бы занялся, если бы новый нравственный элемент не поглотил всей души его.

XII

КУЗИНА

Павел перешел в седьмой класс и совсем уже почти стал молодым человеком: глаза его приняли юношеский блеск, курчавые волосы красиво падали назад, на губах виднелись маленькие усики. В один день, когда он возвратился из гимназии, Ванька встретил его, как-то еще глупее обыкновенного улыбаясь.

— Дяденька ваш, Еспер Иваныч, приехал-с,— сказал он, не отставая усмехаться.

— Ну вот и отлично,— проговорил Павел тоже обрадованным голосом.

— Они нездоровы оченно! — продолжал Ванька.

— Как, нездоров и приехал? — спросил с удивлением Павел.

— Их привезли-с лечить к лекарям... Барышня к ним из Москвы тоже приехала.

— Воспитанница, что ли?

— Да-с!.. Анна Гавриловна присылала кучера: «Скажите, говорит, чтобы барчик ваш побывал у нас; дяденька, говорит, нездоров и желает его видеть».

— Я сейчас же пойду! — сказал Павел, очень встревоженный этим известием, и вместе с тем, по какому-то необъяснимому для него самого предчувствию, оделся в свой вицмундир новый, в танцовальные выворотные сапоги и в серые, наподобие кавалерийских, брюки; напомадился, причесался и отправился.

У Еспера Иваныча в городе был свой дом, для которого тот же талантливый маэстро изготовил ему план и фасад; лет уже пятнадцать дом был срублен, покрыт крышей, рамы в нем были вставлены, но — увы! — дальше этого не шло; внутри в нем были отделаны только три — четыре комнаты для приезда Еспера Иваныча, а в остальных пол даже не был настлан. Дом стоял на красивейшем месте, при слиянии двух рек, и имел около себя не то сад, не то огород, а скорей какой-то пустырь, самым гнусным и бессмысленным образом заросший чертополохом, крапивою, репейником и даже хреном. Павел по очень знакомой ему лесенке вошел в переднюю. Первая его встретила Анна Гавриловна с распухнувшими от слез глазами и, сверх обыкновения, совершенно небрежно одетая.

— Что дяденька? — спросил Павел.

— Започивал! — почти шепотом отвечала Анна Гавриловна.

— Что такое с ним?

— Удар: ручка и ножка отнялись,— отвечала Анна Гавриловна.

— Господи боже мой! — произнес Павел.

У Анны Гавриловны все мускулы в лице подергивало.

— Марья Николаевна наша приехала! — проговорила она несколько повеселевшим тоном.

— Слышал это я,— отвечал Павел, потупляясь; он очень хорошо знал, кто такая была Марья Николаевна.

— Подите-ка, какая модница стала. Княгиня, видно, на ученье ничего не пожалела, совсем барышней сделала,— говорила Анна Гавриловна.— Она сейчас выйдет к вам,— прибавила она и ушла; ее сжигало нетерпение показать Павлу поскорее дочь.

Тот, оставшись один, вошел в следующую комнату и почему-то опять поприфрантился перед зеркалом. Затем, услышав шелест женского шелкового платья, он обернулся: вошла, сопровождаемая Анной Гавриловной, белокурая, чрезвычайно миловидная девушка, лет восемнадца-

ти, с нежным цветом лица, с темно-голубыми глазами, которые она постоянно держала несколько прищуренными.

— Вот, посмотрите, какая! — проговорила, не утерпев, Анна Гавриловна.— Это племянник Еспера Иваныча,— прибавила она девушке, показывая на Павла.

Та мило улыбнулась ему и поклонилась. Павел тоже расшаркался перед нею.

Они сели.

— Вы еще в гимназии учитесь? — спросила его девушка.

— В гимназии!.. Я, впрочем, скоро должен кончить курс,— отвечал скороговоркой Павел и при этом как-то совершенно искривленным образом закинул ногу на ногу и безбожно сжимал в руках фуражку.

— А потом куда? — спросила девушка.

— Потом ненадолго в Демидовское, а там и в военную службу, и в свиту.

Павел, не говоря, разумеется, отцу, сам с собой давно уже решил поступить непременно в военную.

— Почему же в Демидовское, а не в университет? Демидовцев я совсем не знаю, но между университетскими студентами очень много есть прекрасных и умных молодых людей,— проговорила девушка каким-то солидным тоном.

— Конечно,— подтвердил Павел,— всего вероятнее, и я поступлю в университет,— прибавил он и тут же принял твердое намерение поступить не в Демидовское, а в университет. Марья Николаевна произвела на него странное действие. Он в ней первой увидел, или, лучше сказать, в первой в ней почувствовал женщину: он увидел ее белые руки, ее пышную грудь, прелестные ушки, и с каким бы восторгом он все это расцеловал! Фуражку свою он еще больше, и самым беспощадным образом, мял. Анна Гавриловна, ушедшая в комнату Еспера Иваныча, возвратилась оттуда.

— Дяденька вас просит к себе,— сказала она Павлу.

Тот пошел. Еспер Иваныч сидел в креслах около своей кровати: вместо прежнего красивого и представительного мужчины, это был какой-то совершенно уже опустившийся старик, с небритой бородой, с протянутой ногой и с висевшей рукой. Лицо у него тоже было скошено немного набок.

Павел обмер, взглянув на него.

— Видишь, какой я стал! — проговорил Еспер Иваныч с грустною усмешкою.

— Ничего, дяденька, поправитесь,— успокаивал его Павел, целуя у дяди руку, между тем как у самого глаза наполнились слезами.

Мари тоже вошла и села на одно из кресел.

— Познакомь их! — сказал Еспер Иваныч Анне Гавриловне, показывая пальцем на дочь и на Павла.

— Они уже познакомились,— отвечала Анна Гавриловна.

— Скажи, чтобы они полюбили друг друга,— проговорил Еспер Иваныч и сам заплакал.

Павел был почти не в состоянии видеть этого некогда мощного человека, пришедшего в такое положение.

— Он... малый... умный,— говорил Еспер Иваныч, несколько успокоившись и показывая Мари на Павла,— а она тоже девица у нас умная и ученая,— прибавил он, показав Павлу на дочь, который, в свою очередь, с восторгом взглянул на девушку.

— Когда вот дяденьке-то бывает получше немножко,— вмешалась в разговор Анна Гавриловна, обращаясь к Павлу,— так такие начнут они разговоры между собою вести: все какие-то одеялы, да твердотеты-факультеты, что я ничего и не понимаю.

Еспер Иваныч рассмеялся; девушка взглянула на мать; Павел продолжал на нее смотреть с восторгом.

О, сколько любви неслось в эти минуты к Марье Николаевне от этих трех человек!

Еспер Иваныч продолжал сидеть и неумно улыбаться.

— Как же я вас буду звать? — отнеслась Марья Николаевна к Павлу несколько таким тоном, каким обыкновенно относятся взрослые девушки к мальчикам еще.

— Как вам угодно,— отвечал тот.

— Я вас буду звать кузеном,— продолжала она.

— В таком случае позвольте и мне называть вас кузиной! — возразил ей на это Павел.

— Непременно кузиной! — подхватила Марья Николаевна.

— Слышите, батюшка! — отнеслась Анна Гавриловна к Есперу Иванычу.— Она его карзином, а он ее карзиной будут называть.

— Карзиной! — повторил Еспер Иваныч и засмеялся уже окончательно.

Вот что забавляло теперь этого человека. Анна Гавриловна очень хорошо это понимала, и хоть у ней кровью сердце обливалось, но она все-таки продолжала его забавлять подобным образом. Мари, все время, видимо, кого-то поджидавшая, вдруг как бы вся превратилась в слух. На дворе послышался легкий стук экипажа.

— Это Клеопаша, должно быть,— проговорила она и проворно вышла.

— Кто? — спросил Еспер Иваныч.

— Клеопатра Петровна, надо быть,— отвечала Анна Гавриловна.

— Кто это такая? — спросил ее негромко Павел.

— Да как, батюшка, доложить? — начала Анна Гавриловна.— Про господина Фатеева, соседа нашего и сродственника еще нашему барину, слыхали, может быть!.. Женился, судырь мой, он в Москве лет уж пять тому назад; супруга-то его вышла как-то нашей барышне приятельницей... Жили все они до нынешнего года в Москве, ну и прожились тоже, видно; съехали сюда... Княгиня-то и отпустила с ними нашу Марью Николаевну, а то хоть бы и ехать-то ей не с кем: с одной горничной княгиня ее отпустить не желала, а сама ее везти не может,— по Москве, говорят, в карете проедет, дурно делается, а по здешним дорогам и жива бы не доехала...

— Она одна или с мужем? — перебил Еспер Иваныч Анну Гавриловну, показывая рукою на соседнюю комнату.

— Одна-с,— отвечала та, прислушавшись немного.— Вот, батюшка,— прибавила она Павлу,— барыня-то эта чужая нам, а и в деревню к нам приезжала, и сюда сейчас приехала, а муженек хоть и сродственник, а до сих пор не бывал.

— Дурак он...— произнес Еспер Иваныч,— армейщина... кавалерия... только и умеет усы крутить да выпить,— только и есть!

— Уж именно — балда пустая, хоть и господин!..— подхватила Анна Гавриловна.— Не такого бы этакой барыне мужа надо... Она славная!..

— Она умная! — перебил с каким-то особенным ударением Еспер Иваныч, и на его обрюзглом лице как бы на мгновение появилось прежнее одушевление мысли.

Вошла Мари и вслед за ней — ее подруга; это была

молодая, высокая дама, совершенная брюнетка и с лицом, как бы подернутым печалью.

— Здравствуйте, Еспер Иваныч! — сказала она, подходя с почтением к больному.

— Здравствуйте! — отвечал ей тот, приветливо кивая головой.

M-me Фатеева села невдалеке от него.

— Вот это хорошо, что вы из деревни сюда переехали — ближе к доктору,— здесь вы гораздо скорее выздоровеете.

— Да, может быть,— отвечал Еспер Иваныч, разводя в каком-то раздумьи руками.— А вы как ваше время проводите? — прибавил он с возвратившеюся ему на минуту любезностью.

— Ужасно скучаю, Еспер Иваныч; только и отдохнула душой немного, когда была у вас в деревне, а тут бог знает как живу!..—При этих словах у m-me Фатеевой как будто бы даже навернулись слезы на глазах.

— Что делать! Вам тяжкий крест богом назначен! — проговорил Еспер Иваныч, и у него тоже появились на глазах слезы.

Анна Гавриловна заметила это и тотчас же поспешила чем-нибудь поразвеселить его.

— Полноте вы все печальное разговаривать!.. Расскажите-ка лучше, судырь, как вон вас Кубанцев почитает,— прибавила она Есперу Иванычу.

Он усмехнулся.

— Ну, расскажи! — проговорил он.

— Кубанцев — это приказный,— начала Анна Гавриловна как бы совершенно веселым тоном,— рядом с нами живет и всякий раз, как барин приедет сюда, является с поздравлением. Еспер Иваныч когда ему полтинник, когда целковый даст; и теперешний раз пришел было; я сюда его не пустила, выслала ему рубль и велела идти домой; а он заместо того — прямо в кабак... напился там, идет домой, во все горло дерет песни; только как подошел к нашему дому, и говорит сам себе: «Кубанцев, цыц, не смей петь: тут твой благодетель живет и хворает!..» Потом еще пуще того заорал песни и опять закричал на себя: «Цыц, Кубанцев, не смей благодетеля обеспокоить!..» Усмирильщик какой — самого себя!

Все улыбнулись. И Еспер Иваныч сначала тоже, слегка только усмехнувшись, повторил: «Усмирильщик... себя!»,

а потом начал смеяться больше и больше и наконец зарыдал.

— Ой, какой вы сегодня нехороший!.. Вот я у вас сейчас всех гостей уведу!.. Ступайте-ка, ступайте от капризника этого,— проговорила Анна Гавриловна.

Мари, Фатеева и Павел встали.

— Да, ступайте,— произнес им и Еспер Иваныч.

Они вышли в другую комнату.

Как ни поразил Павла вид Еспера Иваныча, но Мари заставила его забывать все, и ее слегка приподнимающаяся грудь так и представлялась ему беспрестанно.

Дамы сели; он тоже сел, но только несколько поодаль их. Они начали разговаривать между собой.

— Я к тебе поутру еще послала записку,— начала Мари.

— Я бы сейчас и приехала,— отвечала Фатеева (голос ее был тих и печален),— но мужа не было дома; надобно было подождать и его и экипаж; он приехал, я и поехала.

— А в каком он расположении духа теперь? — спросила Мари.

— По обыкновению.

— Это нехорошо.

— Очень! — подтвердила Фатеева и вздохнула.— Получаешь ты письма из Москвы? — спросила она, как бы затем, чтобы переменить разговор.

— О, maman мне пишет каждую неделю,— отвечала Мари.

— А из Коломны пишут? — спросила Фатеева, и на печальном лице ее отразилась как бы легкая улыбка.

— Пишут,— отвечала Мари с вспыхнувшим взором.

Павла точно кинжалом ударило в сердце. К чему этот безличный вопрос и безличный ответ? Он, кроме уж любви, начал чувствовать и мучения ревности.

Вошла Анна Гавриловна.

— Ну, гости дорогие, пожалуйте-ко в сад! Наш младенчик, может быть, заснет,— сказала она.— В комнату бы вам к Марье Николаевне, но там ничего не прибрано.

— У меня хаос еще совершенный,— подтвердила и та.

— В саду очень хорошо,— произнесла своим тихим голосом Фатеева.

— Угодно вам, mon cousin, идти с нами? — обратилась Мари с полуулыбкой к Павлу.

— Если позволите! — отвечал тот, явно тонируя.

Все пошли.

В саду Фатеева и Мари, взявшись под руку, принялись ходить по высокой траве, вовсе не замечая, что платья их беспрестанно зацепляются за высокий чертополох и украшаются репейниковыми шишками. Между ними, видимо, начался интересный для обеих разговор. Павел, по необходимости, уселся на довольно отдаленной дерновой скамейке; тихая печаль начала снедать его душу. «Она даже и не замечает меня!» — думал он и невольно прислушивался хоть и к тихим, но долетавшим до него словам обеих дам. М-me Фатеева говорила: «Это такой человек, что сегодня раскается, а завтра опять сделает то же!» Сначала Мари только слушала ее, но потом и сама начала говорить. Из ее слов Павел услышал: «Когда можно будет сделаться, тогда и сделается, а сказать теперь о том не могу!» Словом, видно было, что у Мари и у Фатеевой был целый мир своих тайн, в который они не хотели его пускать.

Дамы наконец находились, наговорились и подошли к нему.

— Pardon, cousin [1],— сказала ему Мари, но таким холодно-вежливым тоном, каким обыкновенно все в мире хозяйки говорят всем в мире гостям.

Павел не нашелся даже, что и ответить ей.

— О чем это вы мечтали? — спросила его гораздо более ласковым образом m-me Фатеева.

Павел тут только заметил, что у нее были превосходные, черные, жгучие глаза.

— Женщины воображают, что если мужчина молчит, так он непременно мечтает! — отвечал он ей насмешливо, а потом, обратившись к Мари, прибавил самым развязным тоном: — Adieu,[2] кузина!

— Уже?..— проговорила она.— Вы, смотрите же, ходите к нам чаще!

— Я готов хоть каждый день: я так люблю дядю! — отвечал Павел слегка дрожащим голосом.

— Каждый день ходите, пожалуйста,— повторила Мари, и Павлу показалось, что она с каким-то особенным выражением взглянула на него.

М-me Фатеевой он поклонился сухо: ему казалось, что она очень много отвлекла от него внимание Мари. Когда он пошел домой, теплая августовская ночь и быстрая

---

[1] Извините, кузен, *(франц.)*.

[2] Прощайте, *(франц.)*.

ходьба взволновали его еще более; и вряд ли я даже найду красок в моем воображении, чтобы описать то, чем представлялась ему Мари. Она ему являлась ангелом, эфиром, плотью, жгучею кровью; он хотел, чтобы она делилась с ним душою, хотел наслаждаться с ней телом. Когда он возвратился, то его встретила, вместо Ваньки, жена Симонова. Ванька в последнее время тоже завел сердечную привязанность к особе кухарки, на которой обещался даже жениться, беспрестанно бегал к ней, и жена Симонова (женщины всегда бывают очень сострадательны к подобным слабостям!) с величайшей готовностью исполняла его должность.

— Ну, Аксинья,— сказал ей Павел,— я какую барышню встретил, кузину свою, просто влюбился в нее по уши!

— Да разве уж вы знаете это? — спросила его та с улыбкой.

— Знаю, все знаю! — воскликнул Павел и закрыл лицо руками.

XIII
КОШКИ И МЫШОНОК

Мари, Вихров и m-me Фатеева в самом деле начали видаться почти каждый день, и между ними мало-помалу стало образовываться самое тесное и дружественное знакомство. Павел обыкновенно приходил к Имплевым часу в восьмом; около этого же времени всегда приезжала и m-me Фатеева. Сначала все сидели в комнате Еспера Иваныча и пили чай, а потом он вскоре после того кивал им приветливо головой и говорил:

— Ну, ступайте: я уж устал и улягусь!

Все переходили по недоделанному полу в комнату Мари, которая оказалась очень хорошенькой комнатой, довольно большою, с итальянским окном, выходившим на сток двух рек; из него по обе стороны виднелись и суда, и мачты, и паруса, и плашкотный мост, и наконец противоположный берег, на склоне которого размещался монастырь, окаймленный оградою с стоявшими при ней угловыми башнями, крытыми черепицею, далее за оградой кельи и службы, тоже крытые черепицей, и среди их церкви и колокольни с серебряными главами и крестами. Нет сомнения, что ландшафт этот принадлежал к самым обыкновенным речным русским видам, но тем не менее Павлу,

по настоящим его чувствованиям, он показался райским. Стены комнаты были оклеены только что тогда начинавшими входить в употребление пунцовыми суконными обоями; пол ее был покрыт мягким пушистым ковром; привезены были из Новоселок фортепьяно, этажерки для нот и две — три хорошие картины. Все это придумала и устроила для дочери Анна Гавриловна. Бедный Еспер Иваныч и того уж не мог сообразить; приезжай к нему Мари, когда он еще был здоров, он поместил бы ее как птичку райскую, а теперь Анна Гавриловна, когда уже сама сделает что-нибудь, тогда привезет его в креслах показать ему.

— Да, хорошо, хорошо! — скажет он только.

Мари очень любила вышивать шерстями по канве. Павел не мог довольно налюбоваться на нее, когда она сидела у окна, с наклоненною головой, перед пяльцами. Белокурые волосы ее при этом отливали приятным матовым светом, белые руки ходили по канве, а на переплете пялец выставлялся носок ее щеголеватого башмака. Мари была далеко не красавица, но необыкновенно миловидна: ум и нравственная прелесть Еспера Иваныча ясно проглядывали в выражении ее молодого лица, одушевленного еще сверх того и образованием, которое, чтобы угодить своему другу, так старалась ей дать княгиня; m-me Фатеева, сидевшая, по обыкновению, тут же, глубоко-глубоко спрятавшись в кресло, часто и подолгу смотрела на Павла, как он вертелся и финтил перед совершенно спокойно державшею себя Мари.

Однажды он, в волнении чувств, сел за фортепьяно и взял несколько аккордов.

— Ты играешь? — спросила его Мари, уставив на него с некоторым удивлением свои голубые глаза.

— Играю,— отвечал Павел и начал наигрывать знакомые ему пьесы с чувством, какое только было у него в душе.

Мари слушала.

— Ты очень мило играешь,— сказала она, подходя и опираясь у него за стулом.

Павел обернулся к ней; лица их встретились так близко, что Павел даже почувствовал ее дыхание.

— Но ты совсем музыки не знаешь: играешь совершенно без всяких правил,— проговорила Мари.

— Зачем тут правила!..— воскликнул Павел.

— Затем, что у тебя выходит совсем не то, что следует по нотам.

Павел сделал не совсем довольную мину.

— Ну, так учите меня! — сказал он.

— А ты будешь ли слушаться? — спросила Мари с улыбкою.

— Вас-то?.. Господи, я скорей бога не послушаюсь, чем вас! — проговорил Павел.

Мари при этом немного покраснела.

— Ну, вот давай, я тебя стану учить; будем играть в четыре руки! — сказала она и, вместе с тем, близко-близко села около Павла.

Он готов был бы в эти минуты всю остальную жизнь отдать, чтобы только иметь право обнять и расцеловать ее.

— Ну, начинай! — продолжала Мари.

Павел начал, но от волнения, а также и от неуменья, безбожно ошибался.

— Это нельзя! — сказала Мари, останавливая свою игру.— Ты ужасно что такое играешь!

— Вы никогда не будете в четыре руки играть верно! — вмешалась в разговор Фатеева.

— Отчего же? — спросила, обертываясь к ней, Мари.

— Оттого, что твой кавалер очень пылко играет, а ты очень холодно.

В тоне голоса m-me Фатеевой слышалось что-то особенное.

— А вы, chère amie, сегодня очень злы! — сказала ей Мари и сама при этом покраснела. Она, кажется, наследовала от Еспера Иваныча его стыдливость, потому что от всякой малости краснела.— Ну, извольте хорошенько играть, иначе я рассержусь! — прибавила она, обращаясь к Павлу.

— Я все готов сделать, чтобы вы только не рассердились! — сказал он и в самом деле проиграл пьесу без ошибки.

Мари, перестав играть, несколько времени сидела задумчиво.

— Знаешь что,— начала она неторопливо,— мне мой музыкальный учитель говорил, что музыка без правил все равно, что человек без ума.

— И ваше такое же мнение? — спросил ее Павел.

— И мое такое же,— отвечала Мари с своей обычной, доброй улыбкой.

— Ну, в таком случае, я буду играть по правилам,— сказал Павел,— но только вы же меня и учите; мне не у кого брать уроки.

— Хорошо! — произнесла Мари протяжно, и действительно после того они каждый вечер стали заниматься музыкой часа по два.

Павел, несмотря на чувствуемое столь милое и близкое соседство, несмотря на сжигающий его внутри огонь, оказался самым внимательным учеником. Такого рода занятия их прежде всего наскучили m-me Фатеевой.

— Когда же вы прекратите вашу музыку? Я наконец умираю со скуки! — воскликнула она.

— Pardon, chère amie! [1] — сказала Мари, как бы спохватившись.— Вы совсем уж почти без ошибки играете,— прибавила она не без кокетства Павлу.

— Только то и требовалось доказать! — отвечал он, пришедший в восторг от ее взгляда.

По случаю французского языка тоже вышла история в этом роде. Вихров раз пришел и застал, что Мари читает m-me Фатеевой вслух французский роман. Он, по необходимости, тоже сделался слушателем и очутился в подлейшем положении: он совершенно не понимал того, что читала Мари; но вместе с тем, стыдясь в том признаться, когда его собеседницы, по случаю прочитанного, переглядывались между собой, смеялись на известных местах, восхищались поэтическими страницами,— и он также смеялся, поддакивал им улыбкой, так что те решительно и не заметили его обмана, но втайне самолюбие моего героя было сильно уязвлено. «Что же я за невежда!» — думал он и, придя домой, всю ночь занимался французским языком; на следующую ночь — тоже, так что месяца через два он почти всякую французскую книжку читал свободно. Случай невдолге представился ему и блеснуть своим знанием; это было в один дождливый, осенний день. Павел пришел к Имплевым и застал, что Мари была немного больна и лежала на диване, окутанная своею бархатною кацавейкой. О, как она показалась ему мила в этом положении! Целый вечер им предстояло остаться вдвоем, так как Фатеева писала, что, по случаю дурной погоды, она не приедет. Мари, кажется, больше затем, чтобы только на что-нибудь другое отвлечь пламенные

[1] Простите, дорогой друг! *(франц.)*

взгляды кузена, которые он явно уже кидал на нее, сказала ему:

— Прочти мне что-нибудь!

— По-французски или по-русски? — спросил Павел, вставая и беря будто бы случайно с этажерки неразрезанный французский роман.

— Надеюсь, что вы сего не читали? — прибавил он.

— Нет,— отвечала Мари, думавшая, что он ей станет читать по-французски.

Павел неторопливо разрезал роман, прочел его заглавие, а потом произнес как бы наставническим тоном:

— Вы уж извините; я буду прямо вам читать по-русски, ибо по-французски отвратительнейшим образом произношу.

— Но тебе, может быть, это трудно будет? — спросила даже несколько удивленным тоном Мари.

— Не думаю,— отвечал Павел и начал читать ясно, отчетливо, как бы по отличному переводу.

— Ты славно, однако, знаешь французский язык,— сказала с удовольствием Мари.

— И вообразите, кузина,— продолжал Павел,— с месяц тому назад я ни йоты, ни бельмеса не знал по-французски; и когда вы в прошлый раз читали madame Фатеевой вслух роман, то я был такой подлец, что делал вид, будто бы понимаю, тогда как звука не уразумел из того, что вы прочли.

— Ты искусно, однако, притворялся! — заметила ему Мари.

— Надеюсь; но так как нельзя же всю жизнь быть обманщиком, а потому я и счел за лучшее выучиться.

— Но зачем же тебе так непременно хотелось выучиться по-французски?

— Для вас! Я не хотел, чтобы вы увидели во мне невежду.

Мари вся покраснела, и надо полагать, что разговор этот она передала от слова до слова Фатеевой, потому что в первый же раз, как та поехала с Павлом в одном экипаже (по величайшему своему невниманию, муж часто за ней не присылал лошадей, и в таком случае Имплевы провожали ее в своем экипаже, и Павел всегда сопровождал ее),— в первый же раз, как они таким образом поехали, m-me Фатеева своим тихим и едва слышным голосом спросила его:

— Вы для Мари выучились по-французски?

— Да,— отвечал Павел.

Разговор на несколько времени прекратился.

— У вас поэтому много силы воли? — начала m-me Фатеева снова.

— Много,— отвечал Павел.

— Я ужасно люблю в людях силу воли,— прибавила она, как бы совсем прячась в угол возка.

— А сами вы сим качеством награждены от природы или нет?

— Да, награждена, и мне это очень полезно оказалось в жизни.

— А вот, кстати,— начал Павел,— мне давно вас хотелось спросить: скажите, что значил, в первый день нашего знакомства, этот разговор ваш с Мари о том, что пишут ли ей из Коломны, и потом она сама вам что-то такое говорила в саду, что если случится это — хорошо, а не случится — тоже хорошо.

— Я не помню! — сказала m-me Фатеева каким-то протяжным голосом.

— Значит, под этими словами ничего особенного не заключалось?

— Не знаю, не помню!

— У Мари никакой нет особенной в Москве сердечной привязанности?

— Кажется, нет! — опять протянула Фатеева.

Будь на месте Павла более опытный наблюдатель, он сейчас бы почувствовал в голосе ее что-то неопределенное, но юноша мой только и услыхал, что у Мари ничего нет в Москве особенного: мысль об этом постоянно его немножко грызла.

— Ну-с, теперь об вас,— сказал он, окончательно развеселившись,— скажите, вы очень несчастливы в вашей семейной жизни?

— Очень!

— Что же ваш муж — груб, глуп, зол?

— Он пьяный и дурной нравственности человек.

— И вас не любит?

— Вероятно!

— Зачем же вы живете с ним?

— Потому что у меня, кроме этого платья, что на мне,— ничего нет!

— Господи боже мой! — воскликнул Павел.— Разве в

наше время женщина имеет право продавать себя? Вы можете жить у Мари, у меня, у другого, у третьего, у кого только есть кусок хлеба поделиться с вами.

Если бы Павел мог видеть лицо Фатеевой, то увидел бы, как она искренно усмехнулась всей этой тираде его.

— Вы говорите еще как мальчик! — сказала она и потом, когда они подъехали к их дому и она стала выходить из экипажа, то крепко-крепко пожала руку Павла и сказала:

— Мне надо умереть — вот что!

— Нет, мы вам не дадим умереть! — возразил он ей, и в голосе его слышалась решительность.

M-me Фатеева мотнула только головой и, как черная тень какая, скрылась в входную дверь своей квартиры.

XIV

ПЕРВЫЙ УДАР

Любовь слепа: Павел ничего не видел, что Мари обращалась с ним как с очень еще молодым мальчиком, что m-me Фатеева смотрела на него с каким-то грустным участием и, по преимуществу, в те минуты, когда он бывал совершенно счастлив и доволен Мари. Успокоенный словами Фатеевой, что у Мари ничего нет в Москве особенного, он сознавал только одно, что для него величайшее блаженство видаться с Мари, говорить с ней и намекать ей о своей любви. Сказать ей прямо о том у него не хватало, разумеется, ни уменья, ни смелости, тем более, что Мари, умышленно или нет, но даже разговор об чем бы то ни было в этом роде как бы всегда отклоняла, и юный герой мой ограничивался тем, что восхищался перед нею выходившими тогда библейскими стихотворениями Соколовского.

И скрылась из вида долина Гарана,
И млечной утварью свет божий,—

декламировал он, почему-то воображая, что слова *«долина Гарана»* и *«млечная утварь»* обрисовывают его чувства.

— Вы знаете, этот господин сослан? — говорил Павел.

— Да, знаю! — отвечала Мари.

— И знаете, за какое стихотворение?

— Гм! Гм! — подтвердила Мари.

— Шутка недурная-с! — подхватил Павел.

Мари ничего на это не сказала и только улыбнулась; но Павел, к удовольствию своему, заметил, что взгляд ее выражал одобрение. «Черт знает, как она умна!» — восхищался он ею мысленно.

Когда Мари была уже очень равнодушна с Павлом, он старался принять тон разочарованного.

Что мне в них —
Я молод был;
Но цветов
С тех брегов
Не срывал,
Венков не вил
В скучной молодости! —

читал он, кивая с грустью в такт головою и сам в эти минуты действительно искреннейшим образом страдал.

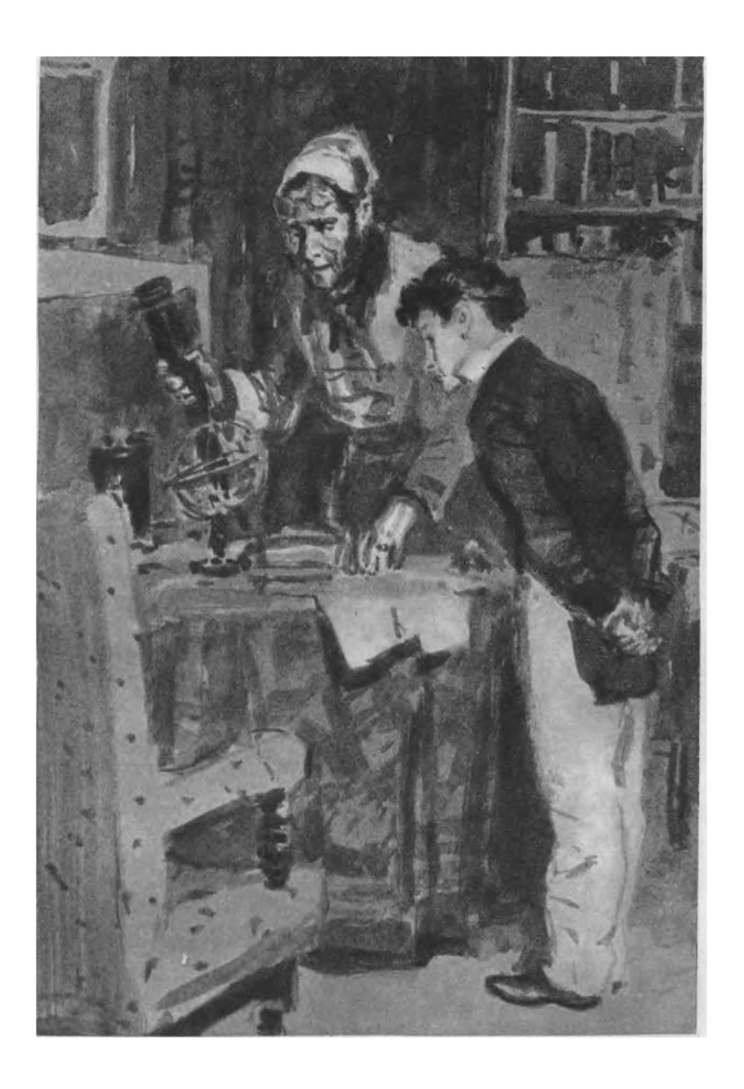
Однажды он с некоторою краскою в лице и с блистающими глазами принес Мари какой-то, года два уже вышедший, номер журнала, в котором отыскал стихотворение к N. N.

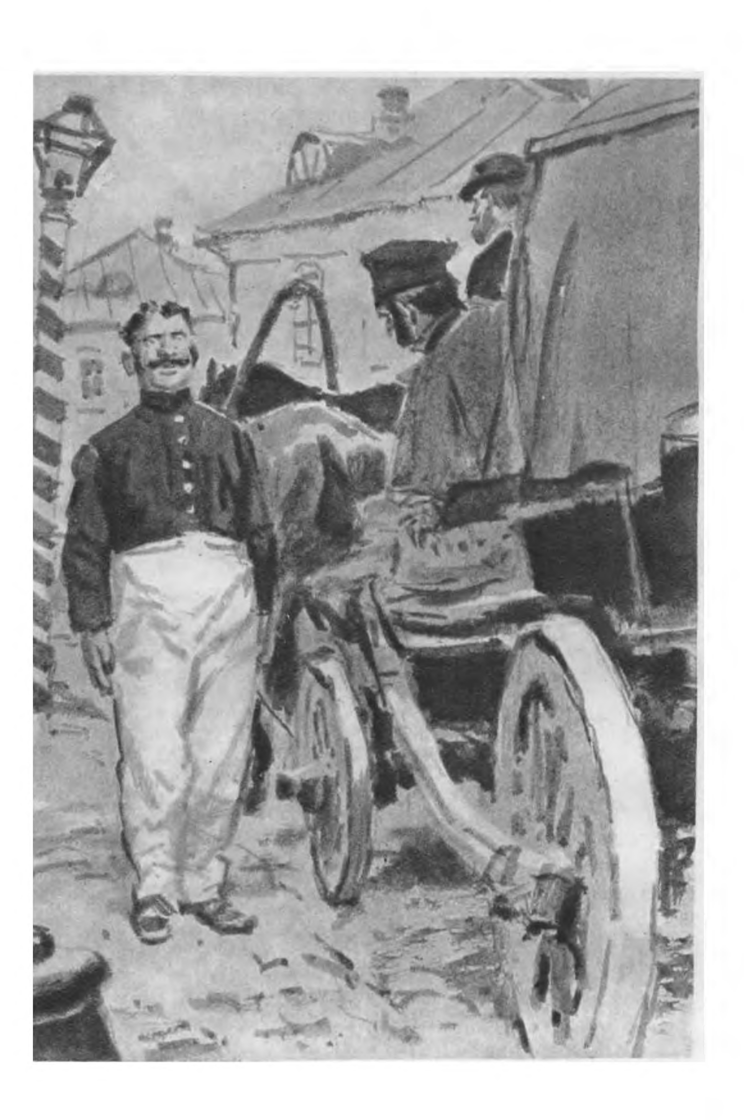
— О жрица неги! — начал он читать, явно разумея под этой жрицей Мари,—

О жрица неги, счастлив тот,
Кого на одр твой прихотливый
С закатом солнца позовет
Твой взор то нежный, то стыдливый!
Кто на взволнованных красах
Минутой счастья жизнь обманет
И в утро с ложа неги встанет
С приметной томностью в очах!

Мари на это стихотворение не сделала ни довольного, ни недовольного вида, даже не сконфузилась ничего, а прослушала как бы самую обыкновенную вещь.

Вскоре после того Павел сделался болен, и ему не велели выходить из дому. Скука им овладела до неистовства — и главное оттого, что он не мог видаться с Мари. Оставаясь почти целые дни один-одинешенек, он передумал и перемечтал обо всем; наконец, чтобы чем-нибудь себя занять, вздумал сочинять повесть и для этого сшил себе толстую тетрадь и прямо на ней написал заглавие своему произведению: *«Чугунное кольцо»*. Героем своей повести он вывел казака, по фамилии *Ятвас*. В фамилии этой Павел хотел намекнуть на молодцеватую наружность казака, которою он как бы говорил: *я вас*, и, чтобы замаскировать это, вставил букву *«т»*. Ятвас этот влюбился





в губернском городе в одну даму и ее влюбил в самого себя. В конце повести у них произошло рандеву в беседке на губернском бульваре. Дама призналась Ятвасу в любви и хотела подарить ему на память чугунное кольцо, но по этому кольцу Ятвас узнает, что это была родная сестра его, с которой он расстался еще в детстве: обоюдный ужас и — после того казак уезжает на Кавказ, и там его убивают, а дама постригается в монахини. Рвение Павла в этом случае до того дошло, что он эту повесть тотчас же сам переписал, и как только по выздоровлении пошел к Имплевым, то захватил с собой и произведение свое. Есперу Иванычу сказать об нем он побоялся, но Мари признался, даже и дал ей прочесть свое творение.

— Главное тут, кузина,— говорил он,— мне надобен дневник женщины, и я никак не могу подделаться под женский тон: напишите, пожалуйста, мне этот дневник!

— Хорошо,— сказала Мари и немного улыбнулась.

Когда Вихров через несколько дней пришел к ним, она встретила его с прежней полуулыбкой.

— Ты все тут о любви пишешь,— сказала она, не глядя на него.

— Да,— отвечал он, напротив, уставляя на нее глаза свои.

Дневником, который Мари написала для его повести, Павел остался совершенно доволен: во-первых, дневник написан был прекрасным, правильным языком, и потом дышал любовью к казаку Ятвасу. Придя домой, Павел сейчас же вписал в свою повесть дневник этот, а черновой, и особенно те места в нем, где были написаны слова: «о, я люблю тебя, люблю!», он несколько раз целовал и потом далеко-далеко спрятал сию драгоценную для него рукопись.

Касательно дальнейшей судьбы своего творения Павел тоже советовался с Мари.

— Я вот, как приеду в Москву, поступлю в университет, сейчас же напечатаю.

— Погодил бы немножко, ты молод еще очень! — возражала та.

— Но я не то, что сам напечатаю, а отнесу ее к какому-нибудь книгопродавцу,— объяснил Павел,— что ж, тот не убьет же меня за это: понравится ему — возьмет он, а не понравится — откажется! Печатаются повести гораздо хуже моей.

— И то правда! — согласилась Мари.

Покуда герой мой плавал таким образом в счастии любви, приискивая только способ, каким бы высказать ее Мари,— в доме Имплевых приготовлялось для него не совсем приятное событие. Между Еспером Иванычем и княгинею несколько времени уже шла переписка: княгиня, с видневшимися следами слез на каждом письме, умоляла его переселиться для лечения в Москву, где и доктора лучше, и она сама будет иметь счастье быть при нем. Есперу Иванычу тоже хотелось: ему, может быть, даже думалось, что один вид и присутствие до сих пор еще любимой женщины оживят его. Анна Гавриловна также не имела ничего против этого: привыкшая исполнять малейшее желание своего идола, она в этом случае заботилась только о том, как его — такого слабого — довезти до Москвы. Наконец Еспер Иваныч призвал Мари и велел написать к княгине, что он переезжает в Москву. Мари приняла это известие с неописанным восторгом; как бы помешанная от радости, она начала целовать руки у отца, начала целовать Анну Гавриловну.

— Да что же вы, матушка барышня, прежде-то не сказали, что вам так хочется в Москву? — проговорила та.

— Не смела, Анна Гавриловна: я думала, что век уж здесь стану жить.

— Да что же у вас, жених, что ли, там какой есть, который вам нравится?

— Все есть, там блаженство! — проговорила Мари и, закрыв себе лицо руками, убежала.

— Надо скорей же ехать! — проговорил Еспер Иваныч, взглянув значительно на Анну Гавриловну.

— Да!—отвечала та в некотором раздумье и тотчас же пошла сделать некоторые предварительные распоряжения к отъезду.

Первая об этом решении узнала Фатеева, приехавшая к Имплевым ранее Павла. Известие это, кажется, очень смутило ее. Она несколько времени ходила по комнате.

— Я, в таком случае, сама перееду в деревню,— проговорила она, садясь около Мари и стряхивая с платья пыль.

Мари посмотрела на нее.

— А муж разве пустит? — спросила она.

— Вероятно! — отвечала Фатеева, как-то судорожно передернув плечами.— Он здесь, ко всем для меня удо-

вольствиям, возлюбленную еще завел... Все же при мне немножко неловко... Сам мне даже как-то раз говорил, чтобы я ехала в деревню.

— Что ж ты будешь там одна в глуши делать? — спросила ее Мари с участием.

— Умирать себе потихоньку; по крайней мере, там никто не будет меня мучить и терзать,— отвечала m-me Фатеева, закидывая голову назад.

Мари смотрела на нее с участием.

— А Постен тоже переедет в деревню? — спросила она, но таким тихим голосом, что ее едва можно было слышать.

— Вероятно! — отвечала с мелькнувшей на губах ее улыбкой Фатеева.— На днях как-то вздумал пикник для меня делать... Весь beau monde здешний был приглашен— дрянь ужасная все!

Проговоря это, m-me Фатеева закрыла глаза, как бы затем, чтобы не увидели в них, что в душе у ней происходит.

— Право,—начала она, опять передернув судорожно плечами,— я в таком теперь душевном состоянии, что на все готова решиться!

Мари ничего на это не сказала и потупила только глаза. Вскоре пришел Павел; Мари по крайней мере с полчаса не говорила ему о своем переезде.

— Ты знаешь,— начала, наконец, она,— мы переезжаем в Москву! — Голос ее при этом был неровен, и на щеках выступил румянец.

— А я-то как же? — воскликнул наивно Павел.

— Ты сам скоро переедешь в Москву,— поспешила ему сказать Мари; румянец уже распространился во всю щеку.

— А вы также уезжаете? — отнесся Павел к Фатеевой.

— Я уезжаю в деревню,— отвечала она; выражение лица ее в эту минуту было какое-то могильное.

— Совсем уж один останусь! — проговорил Павел и сделался так печален, что Мари, кажется, не в состоянии была его видеть и беспрестанно нарочно обращалась к Фатеевой, но той тоже было, по-видимому, не до разговоров. Павел, посидев немного, сухо раскланялся и ушел.

— Совсем молодой человек в отчаянии! — проговорила m-me Фатеева.

Мари держала глаза опущенными в землю.

— Это на вашей душе грех! — прибавила Фатеева.

— Ей-богу, я ни в чем тут не виновата! — возразила Мари серьезно.— Как же я должна была поступить?

— Не знаю,— сказала Фатеева.

Мари задумалась.

Павел от огорчения в продолжение двух дней не был даже у Имплевых. Рассудок, впрочем, говорил ему, что это даже хорошо, что Мари переезжает в Москву, потому что, когда он сделается студентом и сам станет жить в Москве, так уж не будет расставаться с ней; но, как бы то ни было, им овладело нестерпимое желание узнать от Мари что-нибудь определенное об ее чувствах к себе. Для этой цели он приготовил письмо, которое решился лично передать ей.

«Мари,— писал он,— вы уже, я думаю, видите, что вы для меня все: жизнь моя, стихия моя, мой воздух; скажите вы мне,— могу ли я вас любить, и полюбите ли вы меня, когда я сделаюсь более достойным вас? Молю об одном — скажите мне откровенно!»

От Еспера Иваныча между тем, но от кого, собственно,— неизвестно, за ним уж прислали с таким приказом, что отчего-де он так давно не бывал у них и что дяденька завтра уезжает совсем в Москву, а потому он приходил бы проститься. Павел, захватив письмо с собой, побежал, как сумасшедший, и действительно в доме у Имплевых застал совершенный хаос: все комнаты были заставлены сундуками, тюками, чемоданами. Мари была уже в дорожном платье и непричесанная, но без малейшего следа хоть бы какой-нибудь печали в лице. Павел пробовал было хоть на минуту остаться с ней наедине, но решительно это было невозможно, потому что она то укладывала свои ноты, книги, то разговаривала с прислугой; кроме того, тут же в комнате сидела, не сходя с места, m-me Фатеева с прежним могильным выражением в лице; и, в заключение всего, пришла Анна Гавриловна и сказала моему герою: «Пожалуйте, батюшка, к барину; он один там у нас сидит и дожидается вас».

Павел, делать нечего, пошел.

Еспер Иваныч, увидев племянника, как бы повеселел немного.

— Ну, и ты приезжай скорее в Москву! — сказал он.

— Я приеду, дядя,— отвечал Павел.

— Да, приезжай! — повторил Еспер Иваныч.— Аннушка! — крикнул он.

Та вошла.

— Дай мне вон оттуда,— сказал он.

Аннушка на это приказание отперла стоявшую на столе шкатулку и подала из нее Есперу Иванычу пакет.

— Это тебе,— сказал он, подавая пакет Павлу,— тут пятьсот рублей. Если отец не будет тебя пускать в университет, так тебе есть уж на что ехать.

— Дяденька, зачем вы беспокоитесь: отец отпустит меня! — проговорил Павел сконфуженным голосом.

— Все лучше: отпустит — хорошо, а не отпустит — ты все-таки обеспечен и поедешь... Маша мне сказывала, что ты хочешь быть ученым,— и будь!.. Это лучшая и честнейшая дорога для всякого человека.

— Я постараюсь быть им, и отец мне никогда не откажет в том,— произнес Павел, почти нехотя засовывая деньги в карман. Посидев еще немного у дяди и едва заметив, что тот утомился, он сейчас же встал.

— Я уж пойду к кузине,— сказал он,— прощайте дядя.

— Прощай! — проговорил Еспер Иваныч и поспешил племянника поскорее поцеловать. Он боялся, кажется, расплакаться и, чтобы скрыть это, усилился даже прибавить с усмешкою: — Не плачь, не плачь, скоро воротимся!

Павел почти бегом пробежал переходы до комнаты Мари, но там его не пустили, потому что укладывали белье.

— Мари, я совсем уже ухожу и желаю с вами проститься! — воскликнул он чуть-чуть не отчаянным голосом.

— Я сейчас выйду! — отвечала Мари и действительно показалась в дверях.

За нею тоже вышла и m-me Фатеева и, завернувшись, по обыкновению, в шаль, оперлась на косяк.

Одна только совершенно юношеская неопытность моего героя заставляла его восхищаться голубоокою кузиною и почти совершенно не замечать стройную, как пальма, m-me Фатееву.

— Ну-с, извольте, во-первых, хорошенько учиться, а во-вторых, приезжайте в Москву! — сказала Мари и подала Павлу руку.

— Слушаю-с,— отвечал он комическим тоном и как-то совершенно механически целуя ее руку, тогда как душа его была полна рыданиями, а руку ее он желал бы съесть и проглотить!

— Ну-с, адье! — повторил он еще раз.

— Адье,— повторила и Мари.

— Вы тоже скоро уезжаете? — обратился Павел к m-me Фатеевой.

— Тоже.

Он и ей протянул руку.

Она ему пожала ее.

Отдать письмо Мари, как видит сам читатель, не было никакой возможности.

XV

ДРУГОЙ УЧИТЕЛЬ И ДРУГОГО РОДА УВЛЕЧЕНИЕ

Как ни велика была тоска Павла, особенно на первых порах после отъезда Имплевых, однако он сейчас же стал думать, как бы приготовиться в университет. Более всего он боялся за латинский язык. Из прочих предметов можно было взять памятью, соображением, а тут нужна была усидчивая работа. Чтобы поправить как-нибудь себя в этом отношении, он решился перейти жить к учителю латинского языка Семену Яковлевичу Крестовникову и брать у него уроки. Об таковом намерении он написал отцу решительное письмо, в котором прямо объяснил, что без этого его и из гимназии не выпустят. «Ну, бог с ним, в первый еще раз эта маленькая подкупочка учителям будет!» — подумал полковник и разрешил сыну. Михайло Поликарпыч совершенно уверен был, что Павел это делает не для поправления своих сведений, а так, чтобы только позамилостивить учителя. Семен Яковлевич был совершенною противоположностью Николаю Силычу: весьма кроткий и хоть уже довольно пожилой, но еще благообразный из себя, он принадлежал к числу тех людей, которые бывают в жизни сперва хорошенькими собой мальчиками, потом хорошего поведения молодыми людьми и наконец кроткими и благодушными мужами и старцами. При небольшой сфере ума, Семен Яковлевич мог, однако, совершенно искренно и с некоторым толком симпатизировать всему доброму, умному и прекрасному, и вообще вся жизнь его шла как-то ровно, тихо и благоприлично. Происходя из духовного звания, он был женат на дворянке — весьма приятной наружности и с хорошими манерами. Хотя они около двадцати уже лет находились в брачном союзе, но все еще были влюблены друг в друга, спали на одной кровати и весьма нередко целовались между собой. Они очень чистоплотно жили; у них была какая-то необыкновенно

белая и гладко вычесанная болонка, на каждом почти окне — по толстой канарейке; даже пунш, который Семен Яковлевич пил по вечерам, был какой-то красивый и необыкновенно, должно быть, вкусный. Совестливые до щепетильности, супруг и супруга — из того, что они с Павла деньги берут,— бог знает как начали за ним ухаживать и беспрестанно спрашивали его: нравится ли ему стол их, тепло ли у него в комнате? Павел находил, что это все превосходно, и принялся вместе с тем заниматься латинским языком до неистовства: страницы по четыре он обыкновенно переводил из Цицерона и откалывал их Семену Яковлевичу, так что тот едва успевал повторять ему: «Так, да, да!»

— Я и текст еще выучил,— прибавил Павел в заключение.

— И текст, давайте, спросим,— говорил Семен Яковлевич с удовольствием.

Павел и текст знал слово в слово.

— Эка памятища-то у вас, способности-то какие! — говорил Семен Яковлевич с удивлением.

Павел самодовольно встряхивал кудрями и, взяв под мышку начинавшую уж становиться ему любезною книжку Цицерона, уходил к себе в комнату.

Между тем наступил великий пост, а наконец и страстная неделя. Занятия Павла с Крестовниковым происходили обыкновенно таким образом: он с Семеном Яковлевичем усаживался у одного столика, а у другого столика, при двух свечах, с вязаньем в руках и с болонкой в коленях, размещалась Евлампия Матвеевна, супруга Семена Яковлевича.

В одно из таких заседаний Крестовников спросил Павла:

— А что, вы будете нынче говеть?

— Да, так, для формы только буду,— отвечал тот.

— Зачем же для формы только? — спросил Крестовников несколько даже сконфуженным голосом.

— Некогда, решительно! Заниматься надо! — отвечал Павел.

— Нет, вы лучше хорошенько поговейте; вам лучше бог поможет в учении,— вмешалась в разговор Евлампия Матвеевна, немного жеманничая. Она всегда, говоря с Пав-

лом, немного жеманилась: велик уж он очень был; совершенно на мальчика не походил.

Павел не согласен был с ней мысленно, но на словах ничего ей не возразил.

В страстной понедельник его снова не оставили по этому предмету в покое, и часу в пятом утра к нему вдруг в спальню просунул свою морду Ванька и стал будить его.

Павел взмахнул на него глазами.

— Семен Яковлевич приказали вас спросить, пойдете вы к заутрене? — спросил Ванька сильно заспанным голосом.

Павлу вдруг почему-то стало совестно.

— Пойду,— отвечал он и, чтобы не дать себе разлениться, сейчас встал и потребовал себе умываться и одеваться.

Ванька спросонья, разумеется, исполнял все это, как через пень колоду валил, так что Семен Яковлевич и Евлампия Матвеевна уже ушли, и Павел едва успел их нагнать. Свежий утренний воздух ободряющим и освежающим образом подействовал на него; Павел шел, жадно вдыхая его; под ногами у него хрустел тоненький лед замерзших проталин; на востоке алела заря.

Приходская церковь Крестовниковых была небогатая: служба в ней происходила в низеньком, зимнем приделе, иконостас которого скорее походил на какую-то дощаную перегородку; колонны, его украшающие, были тоненькие; резьбы на нем совсем почти не было; живопись икон — нового и очень дурного вкуса; священник — толстый и высокий, но ризы носил коротенькие и узкие; дьякон — хотя и с басом, но чрезвычайно необработанным,— словом, ничего не было, что бы могло подействовать на воображение, кроме разве хора певчих, мальчиков из ближайшего сиротского училища, между которыми были недурные тенора и превосходные дисканты. Когда, в начале службы, священник выходил еще в одной епитрахили и на клиросе читал только дьячок, Павел беспрестанно переступал с ноги на ногу, для развлечения себя, любовался, как восходящее солнце зашло сначала в окна алтаря, а потом стало проникать и сквозь розовую занавеску, закрывающую резные царские врата.

В продолжение этого времени в церковь пришли две молоденькие девушки, очень хорошенькие собой; они сей-

час же почти на первого на Павла взглянули как-то необыкновенно внимательно и несколько даже лукаво.

Павел тоже взглянул на них и потупился: он, как истый рыцарь, даже в помыслах хотел быть верен своей Мари.

Вслед за тем служба приняла более торжественный вид: священник надел ризу, появился дьякон, и певчие запели: *«Чертог твой вижду, спасе мой, украшенный!»* В воображении Павла вдруг представился чертог господа и та чистая и светлая одежда, которую надобно иметь, чтобы внити в него. Далее потом певчие запели: *«Блюди убо, душе моя!»* Павел почувствовал какой-то трепет в груди и желание, чтобы и его дух непрестанно блюл. Душа его, видно, была открыта на этот раз для всех возвышенных стремлений человеческих. Он возвратился из церкви под влиянием сильнейшего религиозного настроения, и когда потом, часу в двенадцатом, заблаговестили к преждеосвященной обедне, он первый отправился к службе; и его даже удивляло, каким образом такие религиозные люди, как Семен Яковлевич и Евлампия Матвеевна, молились без всякого увлечения: сходят в церковь, покланяются там в пояс и в землю, возвратятся домой только несколько усталые, как бы после какого-то чисто физического труда. Особенно на Павла подействовало в преждеосвященной обедне то, когда на средину церкви вышли двое, хорошеньких, как ангелы, дискантов и начали петь: *«Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою!»* В это время то одна половина молящихся, то другая становится на колени; а дисканты все продолжают петь. Священник в алтаре, возводя глаза к небу, медленно кадит, как бы напоминая то кадило, о котором поют. Наконец, он, в сопровождении дьякона, идет с преждеосвященными дарами. Все, в страхе — зреть святыню, падают ниц; несколько времени продолжается слегка только трепетное молчание; но хор певчих снова запел, и все, как отпущенные грешники, поднимаются. Две красивые барышни тоже кланяются в землю и хоть изредка, но все-таки взглядывают на Павла; но он по-прежнему не отвечает им и смотрит то на образа, то в окно. Возвратившись домой с церковной службы, Павел почувствовал уже потребность готовиться не из чего иного, как из закона божия, и стал учить наизусть притчи. Чистая и светлая фигура Христа стала являться перед ним как бы живая. Все это в

соединении с постом, который строжайшим образом наблюдался за столом у Крестовниковых, распалило почти до фанатизма воображение моего героя, так что к исповеди он стал готовиться, как к страшнейшему и грознейшему акту своей жизни. Он в продолжение пятницы отслушал все службы, целый день почти ничего не ел и в самом худшем своем платье и с мрачным лицом отправился в церковь. Крестовниковы точно так же вели себя. Исповедь, чтобы кто не подслушал, происходила в летней церкви. Первая вошла туда госпожа Крестовникова и возвратилась оттуда вся красная и вряд ли немного не заплаканная. Вслед за ней исповедовался муж ее, который тоже вышел несколько красный. Какие у этих двух добрых человек могли быть особенные грехи,— сказать трудно!.. Павел вошел в исповедальню с твердым намерением покаяться во всем и на вопросы священника: верует ли в бога, почитает ли родителей и начальников, соблюдает ли посты — отвечал громко и твердо: «Грешен, грешен!» «Не творите ли против седьмой заповеди?» — прибавил священник более уже тихим голосом. «Нет,— отвечал Павел с трепетом в голосе,— но я люблю, святой отец!»,— заключил он, потупляя глаза.

Священник посмотрел на него и ухмыльнулся.

— Раненько бы еще,— сказал он совершенно механически,— вам еще учиться надо.

— Мне это не мешает, батюшка!

— Ну как уж не мешает, кто за этим пошел... Епитимью бы надо на вас положить за то... «Ныне отпущаеши раба твоего, господи...» Ну, целуйте крест и ступайте. Посылайте, кто там еще есть.

Павел исполнил все это и вышел в очень неудовлетворенном состоянии: ему казалось, что он слишком мало покаялся; и потому, чтобы хоть как-нибудь пополнить это, он, творя внутреннее покаяние, прослушал все правила и в таком же печальном и тревожном состоянии простоял всю заутреню. Когда стали готовиться идти к обедне, то Крестовниковы опять его удивили: они рядились и расфранчивались, как будто бы шли на какой-нибудь парад. Две красивые барышни тоже явились в церковь в накрахмаленных белых платьях и в цветах; но на Павла они не обращали уже никакого внимания, вероятно, считая это в такие минуты, некоторым образом, грехом для себя. Героем моим, между тем, овладел страх, что вдруг,

когда он станет причащаться, его опалит небесный огонь, о котором столько говорилось в послеисповедных и передпричастных правилах; и когда, наконец, он подошел к чаше и повторил за священником: «Да будет мне сие не в суд и не в осуждение»,— у него задрожали руки, ноги, задрожали даже голова и губы, которыми он принимал причастие; он едва имел силы проглотить данную ему каплю — и то тогда только, когда запил ее водой, затем поклонился в землю и стал горячо-горячо молиться, что бог допустил его принять крови и плоти господней! Когда вышли из церкви, совершенно уже рассвело и был серый и ветреный день, на видневшейся реке серые волны уносили льдины. Павлу показалось, что точно так же и причастие отнесло от его души все скверноты и грешные помышления.

Христов день подал повод к новым религиозным ощущениям и радостям. В ночь с субботы на воскресенье в доме Крестовниковых спать, разумеется, никто не ложился, и, как только загудел соборный колокол, все сейчас же пошли в церковь. Над городом гудел сильный и радостный звон, и посреди полнейшего мрака местами мелькали освещенные плошками колокольни храмов. При входе Крестовниковых, их жильца и всей почти прислуги ихней в церковь она была уже полнехонька народом, и все были как бы в ожидании чего-то. Наконец заколебались хоругви в верху храма, и богоносцы стали брать образа на плечи; из алтаря вышли священник и дьякон в дародаровых ризах, и вся эта процессия ушла. Народ в церкви остался с наклоненными головами. Наконец, откуда-то издали раздались голоса священника и дьякона: *«Христос воскресе!»* Хор певчих сейчас же подхватил: *«Из мертвых смертию, смерть поправ!»;* а затем пошли радостные кантаты: *«святися, святися!» «приидите пиво пием»* — Павел стоял почти в восторге: так радостен, так счастлив он давно уже не бывал.

После заутрени стали все знакомые и незнакомые христосоваться и целоваться друг с другом. Обе хорошенькие барышни в один голос обратились к Павлу: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» — отвечал он, модно раскланиваясь с ними. Одна из них предложила ему даже красное яйцо. Он сконфузился и взял. Обе они, вероятно, были ужасные шалуньи и, как видно, непременно решились заинтересовать моего героя, но он был тверд, как ка-

мень, и, выйдя из церкви, сейчас же поторопился их забыть. В доме Крестовниковых, как и водится, последовало за полнейшим постом и полнейшее пресыщение: пасха, кулич, яйца, ветчина, зеленые щи появились за столом, так что Павел, наевшись всего этого, проспал, как мертвый, часов до семи вечера, проснулся с головной болью и, только уже напившись чаю, освежился немного и принялся заниматься Тацитом. Сей великий писатель, как бы взамен религиозных мотивов, сейчас же вывел перед ним великих мужей Рима. Никогда еще, я должен сказать, мой юноша не бывал в столь возвышенном умственном и нравственном настроении, как в настоящее время. Воображение его было преисполнено чистыми, грандиозными образами религии и истории, ум занят был соображением разных математических и физических истин, а в сердце горела идеальная любовь к Мари,— все это придало какой-то весьма приятный оттенок и его наружности. Лицо его было задумчиво и как бы несколько с болезненной экспрессией, но глаза бойко и здорово блестели. Походка была смела и тверда. Экзамен Павел начал держать почти что шутя; он выходил, когда его вызывали, отвечал и потом тотчас отправлялся домой и садился обедать с Крестовниковыми.

— Ну-с, сколько сегодня получили? — спрашивал его обыкновенно Семен Яковлевич.

— Пять,— отвечал Павел.

Пять потом из следующего предмета и из следующего, везде по пяти, так что он выпущен был первым и с золотой медалью.

Павел даже не ожидал, в какой восторг приведет этот успех Семена Яковлевича и супругу его. За обедом, почти с первого блюда, они начали пить за его здоровье и чокаться с ним.

— Дай бог вам преуспевать так же и во всей жизни вашей, как преуспели вы в науках! — говорил Семен Яковлевич.

— И я того же желаю,— подхватила Евлампия Матвеевна, по обыкновению жеманничая.

— Способности, способности,— говорил Семен Яковлевич, растопыривая руки,— этаких я и не видывал!

— Теперь вам только надо выучиться в университете и жениться,— сказала, окончательно промодничавши, Евлампия Матвеевна.

— У меня уж есть невеста,— проговорил Павел.

Хорошее расположение духа и выпитые рюмки три наливки вызвали его на откровенность.

Семен Яковлевич только взглянул на него, а Евлампия Матвеевна воскликнула с ударением: «Вот как!» — и при этом как-то лукаво повела бровями; несмотря на сорокалетний возраст, она далеко еще была не чужда некоторого кокетства.

— Кто же это ваша невеста и богата ли? — спрашивал Семен Яковлевич.

— Она мне несколько даже родственница. Вы Еспера Иваныча Имплева знавали, который дядей мне приходится?

— Еще бы, господи, умнейший человек во всей губернии! — подхватил Семен Яковлевич.

— Ну, так у него есть побочная дочь.

— А я так, значит, и невесту знаю! — подхватила радостно Евлампия Матвеевна.— Ведь она у княгини Вестневой воспитывалась?

— Да.

— Ну, так мы очень были вхожи с покойной маменькой в доме княгини, и я еще маленькою видела вашу суженую.

— Вероятно, это она и была,— отвечал Павел, скромно потупляя глаза.

Вечером он распростился с своими хозяевами и уехал в деревню к отцу.

XVI

ДОМАШНИЕ ПУТЫ

Веселенький деревенский домик полковника, освещенный солнцем, кажется, еще более обыкновенного повеселел. Сам Михайло Поликарпыч, с сияющим лицом, в своем домашнем нанковом сюртуке, ходил по зале: к нему вчера только приехал сын его, и теперь, пока тот спал еще, потому что всего было семь часов утра, полковник разговаривал с Ванькой, у которого от последней, вероятно, любви его появилось даже некоторое выражение чувств в лице.

— Ну, так как же? Вы и поживали?..— спрашивал его полковник добродушно.

— Поживали-с...— отвечал Ванька, переступая с ноги на ногу.

— А что Симонов,— скажи мне? — спросил полковник.

Он всегда интересовался и спрашивал об Симонове.

— Не видал-с я Симонова; что не переехали мы к учителю,— что?.. Человек он эхидный, лукавый,— отвечал Ванька.

Он последнее время стал до глубины души ненавидеть Симонова, потому что тот беспрестанно его ругал за глупость и леность.

Полковник, кажется, некоторое время недоумевал, об чем бы еще поговорить ему с Ванькой.

— А что, к Павлу похаживали товарищи? — спросил он.

— Похаживали-с, дружков много у них было.

— А что, этак пошаливали — выпить когда-нибудь или другое что?

— Нет-с! — отвечал Ванька решительно, хотя, перед тем как переехать Павлу к Крестовникову, к нему собрались все семиклассники и перепились до неистовства; и даже сам Ванька, проводив господ, в сенях шлепнулся и проспал там всю ночь.— Наш барин,— продолжал он,— все более в книжку читал... Что ни есть и я, Михайло Поликарпыч, так грамоте теперь умею; в какую только должность прикажете, пойду!

Ванька не только из грамоты ничему не выучился, но даже, что и знал прежде, забыл; зато — сидеть на лавочке за воротами и играть на балалайке какие угодно песни, когда горничные выбегут в сумерки из домов,— это он умел!

— В конторщики меня один купец звал! — продолжал он врать,— я говорю: «Мне нельзя — у нас молодой барин наш в Москву переезжает учиться и меня с собой берет!»

— Как в Москву? — спросил полковник, встрепенувшись и вскинув на Ваньку свои глаза.

— В Москву-с, так переговаривали,— отвечал тот, потупляясь.

— С кем переговаривали?

— Да с Симоновым-с,— отвечал Ванька, не найдя ни на кого удобнее своротить, как на врага своего,— с ним

барин-с все разговаривал: «В Ярославль, говорит, я не хочу, а в Москву!»

— Это что такое еще он выдумал? — произнес полковник, и в старческом воображении его начала рисоваться картина, совершенно извращавшая все составленные им планы: сын теперь хочет уехать в Москву, бог знает сколько там денег будет проживать — сопьется, пожалуй, заболеет.

— Ну, пошел, ступай! — сказал он Ваньке сердитым уже голосом.

Тот пошел было, но потом несколько боязливо остановился.

— Не прикажите, Михайло Поликарпыч, мамоньке жать; а то она говорит: «Ты при барчике живешь, а меня все жать заставляют,— у меня спина не молоденькая!»

— Хорошо, ладно, ступай! — произнес досадно полковник, и, когда Ванька ушел, он остался встревоженный и мрачный.

Павел наконец проснулся и, выйдя из спальни своей растрепанный, но цветущий и здоровый, подошел к отцу и, не глядя ему в лицо, поцеловал у него руку. Полковник почти сурово взглянул на сына.

— Ты в Москву едешь учиться, а не в Демидовское? — спросил он его несколько дрожащим голосом.

— В Москву,— отвечал Павел совершенно покойно и, усевшись на свое место, как бы ничего особенного в начавшемся разговоре не заключалось, обратился к ключнице, разливавшей тут же в комнате чай, и сказал: — Дай мне, пожалуйста, чаю, но только покрепче и погорячей!

Та подала ему. Полковник от нетерпения постукивал уже ногою.

— На что же ты поедешь в Москву?.. У меня нет на то про тебя денег,— сказал он сыну.

— Я денег у вас и не прошу,— отвечал Павел прежним покойным тоном,— мне теперь дядя Еспер Иваныч дал пятьсот рублей, а там я сам себе буду добывать деньги уроками.

Полковник побледнел даже от гнева.

— Ну да, я знал, что это дяденька все! — произнес он.— Одни ведь у него наставленья-то тебе: отец у тебя — дурак... невежда...

Полковник в самом деле думал, что Еспер Иваныч дает такие наставления сыну.

— Полноте, бог с вами! — воскликнул Павел.— Один ум этого человека не позволит ему того говорить.

— Что же, ты так уж и видаться со мной не будешь, бросишь меня совершенно? — говорил полковник, и у него при этом от гнева и огорченья дрожали даже щеки.

— Отчего же не видаться? Точно так же, как и из Демидовского, я каждую вакацию буду ездить к вам.

— Большая разница!.. Большая!..— возразил полковник, и щеки его продолжали дрожать.— В Демидовское-то я взял да и послал за тобой своих лошадей, а из Москвы надо деньги, да и большие!

Павел пожал плечами.

— Я вам опять повторяю,— начал он голосом, которым явно хотел показать, что ему скучно даже говорить об этом,— что денег ваших мне нисколько не нужно: оставайтесь с ними и будьте совершенно покойны!

Он знал, что этим ответом сильно уязвит старика.

— Не о деньгах, сударь, тут речь! — воскликнул он.

— А о чем же? — возразил в свою очередь Павел.— Я, кажется,— продолжал он грустно-насмешливым голосом,— учился в гимназии, не жалея для этого ни времени, ни здоровья — не за тем, чтобы потом все забыть?

— Что же, в Демидовском так уж разве ничему и учить тебя не будут? — возразил полковник с досадой.

— Напротив-с! Там всему будут учить, но вопрос — как? В университете я буду заниматься чем-нибудь определенным и выйду оттуда или медиком, или юристом, или математиком, а из Демидовского — всем и ничем; наконец, в практическом смысле: из лицея я выйду четырнадцатым классом, то есть прапорщиком, а из университета, может быть, десятым, то есть поручиком.

Последнее доказательство, надо полагать, очень поразило полковника, потому что он несколько времени ничего даже не находился возразить против него.

— Но зато ты в Демидовском будешь жить на казне; все-таки под присмотром начальства! — проговорил он наконец.

Отдача сына на казну, без платы, вряд ли не была для полковника одною из довольно важных причин желания его, чтобы тот поступил в Демидовское.

Павел посмотрел несколько времени отцу в лицо.

— Я прожил ребенком без всякого надзора,— начал

он неторопливо,— и то, кажется, не сделал ничего дурного, за что бы вы меня могли укорить.

— Я и не говорю, не говорю! — поспешно подхватил полковник.

— Так что же вы говорите, я после этого уж и не понимаю! А знаете ли вы то, что в Демидовском студенты имеют единственное развлечение для себя — ходить в Семеновский трактир и пить там? Большая разница Москва-с, где — превосходный театр, разнообразное общество, множество библиотек, так что, помимо ученья, самая жизнь будет развивать меня, а потому стеснять вам в этом случае волю мою и лишать меня, может быть, счастья всей моей будущей жизни — безбожно и жестоко с вашей стороны!

Проговоря это, Павел встал и ушел. Полковник остался как бы опешенный: его более всего поразило то, что как это сын так умно и складно говорил; первая его мысль была, что все это научил его Еспер Иваныч, но потом он сообразил, что Еспер Иваныч был болен теперь и почти без рассудка. «Неужели это, шельмец, он все сам придумал в голове своей? — соображал он с удовольствием, а между тем в нем заговорила несколько и совесть его: он по своим средствам совершенно безбедно мог содержать сына в Москве — и только в этом случае не стал бы откладывать и сберегать денег для него же. Так прошел почти целый день. Павел, видимо, дулся на отца и хоть был вежлив с ним, но чрезвычайно холоден. Полковнику наконец стало это невыносимо. Мысли, одна другой чернее, бродили в его голове. «Не отпущу я его,— думал он,— в университет: он в этом Семеновском трактире в самом деле сопьется и, пожалуй, еще хуже что-нибудь над собой сделает!» — Искаженное лицо засеченного солдата мелькало уже перед глазами полковника.

— За что же ты сердишься-то и дуешься? — прикрикнул он наконец на сына, когда вечером они снова сошлись пить чай.

— Я? — спросил Павел, как бы не желавший ничего на это отвечать.

— Я?.. Кто же другой, как не ты!..— повторил полковник.— Разве про то тебе говорят, что ты в университет идешь, а не в Демидовское!

— А про что же? — спросил Павел хладнокровно; он хорошо знал своего старикашку-отца.

— А про то, что все один с дяденькой удумал; на, вот, перед самым отъездом, только что не с вороной на хвосте прислал сказать отцу, что едешь в Москву!

— Я никак этого прежде и не мог сказать, никак! — возразил Павел, пожимая плечами.— Потому что не знал, как я кончу курс и буду ли иметь право поступить в университет.

— Нет, не то, врешь, не то!..— возразил полковник, грозя Павлу пальцем, и не хотел, кажется, далее продолжать своей мысли.— Я жизни, а не то что денег, не пожалею тебе; возьми вон мою голову, руби ее, коли надо она тебе! — прибавил он почти с всхлипыванием в голосе. Ему очень уж было обидно, что сын как будто бы совсем не понимает его горячей любви.— Не пятьсот рублей я тебе дам, а тысячу и полторы в год, только не одолжайся ничем дяденьке и изволь возвратить ему его деньги.

— И того не могу сделать,— возразил Павел, опять пожимая плечами,— никак не могу себе позволить оскорбить человека, который участвовал и благодетельствовал мне.

— Ну да, как же ведь, благодетель!.. Ему, я думаю, все равно, куда бы ты ни заехал — в Москву ли, в Сибирь ли, в Астрахань ли; а я одними мнениями измучусь, думая, что ты один-одинехонек, с Ванькой-дураком, приедешь в этакой омут, как Москва: по одним улицам-то ходя, заблудишься.

Павел с улыбкою взглянул на отца.

— Вы сами рассказывали, что четырнадцати лет в полк поступили, а не то что в Москву приехали.

— То было, сударь, время, а теперь — другое: меня сейчас же, вон, полковой командир солдату на руки отдал... «Пуще глазу, говорит, береги у меня этого дворянина!»; так тот меня и умоет, и причешет, и грамоте выучил,— разве нынче есть такие начальники!

— Я ни в чем подобном и не нуждаюсь! — возразил насмешливо Павел.

— Ну да, как же ведь, не нуждаешься — большой у нас человек, везде бывалый!..

Павел пожал плечами и ничего не возражал отцу.

Полковник по крайней мере с полчаса еще брюзжал, а потом, как бы сообразив что-то такое и произнося больше сам с собой: «Разве вот что сделать!» — вслед за тем крикнул во весь голос:

— Эй, Ванька!

Ванька весь этот разговор внимательно слушал в соседней комнате: он очень боялся, что его, пожалуй, не отпустят с барчиком в Москву. Увы! Он давно уже утратил любовь к деревне и страх к городам... Ванька явился.

— Поди, позови ко мне Алену Сергеевну! — сказал ему полковник.

Павел не без удивления взглянул на отца.

Михайло Поликарпыч молчал. Ожидая, может быть, возражения от сына, он не хотел ему заранее сообщать свои намерения.

Алена Сергеевна была старуха, крестьянка, самая богатая и зажиточная из всего имения Вихрова. Деревня его находилась вместе же с усадьбой. Алена явилась, щепетильнейшим образом одетая в новую душегрейку, в новом платке на голове и в новых котах.

— Здравствуйте, батюшка Михайло Поликарпыч!.. Батюшка наш, Павел Михайлыч, здравствуйте!.. Вот кого бог привел видеть! — говорила она, отчеканивая каждое слово и подходя к руке барина и барчика.

Алена Сергеевна была прехитрая и преумная. Жена богатого и старинного подрядчика-обручника, постоянно проживавшего в Москве, она, чтобы ей самой было от господ хорошо и чтобы не требовали ее ни на какую барскую работу, давным-давно убедила мужа платить почти тройной оброк; советовала ему то поправить иконостас в храме божием, то сделать серебряные главы на церковь, чтобы таким образом, как жене украшателя храма божия, пользоваться почетом в приходе. Когда старик сходил в деревню, она беспрестанно затевала на его деньги делать пиры и никольщины на весь почти уезд, затем, чтобы и самое ее потом звали на все праздники. Михайло Поликарпыч любил с ней потолковать и побеседовать, потому что Алена Сергеевна действительно очень неглупо говорила и очень уж ему льстила; но Павел никогда ее терпеть не мог.

— Твой муж ведь живет в Москве на Кисловке? — начал полковник.

— На Кисловке, батюшка, на Кисловке, в княжеском доме ее сиятельства княгини Урусовой,— отвечала Алена, заметно важничая.

— А скажи, далеко ли это от нуверситета, от училища нуверситетского? — спросил полковник.

Павел взглянул при этом на отца: он никак не мог понять, к чему отец это говорит.

— От нуверситета? — повторила старуха, как бы соображая.— Да там лекаря, что ли, учатся?

— А черт их знает! — сказал полковник.

— И лекаря учатся,— вмешался в разговор Павел, остававшийся все еще в недоумении.

— Ну так вот что, мой батюшка, господа мои милые, доложу вам,— начала старуха пунктуально,— раз мы, так уж сказать, извините, поехали с Макаром Григорьичем чай пить. «Вот, говорит, тут лекарев учат, мертвых режут и им показывают!» Я, согрешила грешная, перекрестилась и отплюнулась. «Экое место!» — думаю; так, так сказать, оно оченно близко около нас,— иной раз ночью лежишь, и мнится: «Ну как мертвые-то скочут и к нам в переулок прибегут!»

— А велика ли квартирка у твоего хозяина? — продолжал расспрашивать полковник.

— Порядочная: спаленка этакая небольшая, а потом еще комнатка — прихожая, что ли, этакая!..

— Вот барчик Павлуша едет теперь в Москву — учиться в этот нуверситет.

— Так, так, батюшка,— подхватила старуха,— возраст юношеский уже притек ему; пора и государю императору показать его. Папенька-то немало служил; пора и ему подражанье в том отцу иметь.

— Но не может ли Павлуша остановиться у твоего старика?

— А гляче не остановиться,— отвечала Алена Сергеевна, как бы вовсе не сомневавшаяся в этом деле.

Павел обмер от досады: подобного вывода из всего предыдущего разговора он никак уже не ожидал.

— Ну, чтобы и пищу ему он доставлял,— продолжал полковник.

— И пищу! — отвечала Алена Сергеевна.

Павлу показалось, что подлости ее на этот раз пределов не будет.

— Пища у них хорошая идет,— продолжала Алена,— я здеся век изжила, свинины столь не приела, как там; и чтой-то, батюшка Михайло Поликарпыч, какая у них тоже крупа для каши бесподобная!..

— Мне, я думаю, нужней будеть жить с товарищами,

а не с мужиком! — обратился Павел наконец к отцу с ударением.

— А мне вот нужней, чтоб ты с мужиком жил!..— воскликнул, вспылив, полковник.— Потому что я покойнее буду: на первых порах ты пойдешь куда-нибудь, Макар Григорьев или сам с тобой пойдет, или пошлет кого-нибудь!

— И сам пойдет, или пошлет кого ни на есть! — подтвердила, явно подличая, Алена Сергеевна.

Павел готов был убить ее в эти минуты.

— Ну так, так, старуха, ступай! — сказал полковник Алене Сергеевне.

— Счастливо оставаться! — проговорила та и потом так будто бы, без всякого умысла, прибавила: — Вы изволили прислать за мной, а я, согрешила грешная, сама еще ранее того хотела идти, задний двор у нас пообвалился: пойду, мо, у Михайла Поликарпыча лесу попросить, не у чужих же господ брать!

— Бери у меня, сколько надо,— разрешил ей полковник.

— Благодарю покорно! — заключила Алена Сергеевна и опять поцеловала руку у Михайла Поликарпыча и у Павла.

Воспользовавшись этим коротеньким объяснением, она — ни много ни мало — дерев на двести оплела полковника, чего бы при других обстоятельствах ей не успеть сделать.

Оставшись вдвоем, отец и сын довольно долго молчали. Павел думал сам с собою: «Да, нелегко выцарапаться из тины, посреди которой я рожден!» Полковник между тем готовил ему еще новое испытание.

— Завтрашний день-с,— начал он, обращаясь к Павлу и стараясь придать как можно более строгости своему голосу,— извольте со мной ехать к Александре Григорьевне... Она мне все говорит: «Сколько, говорит, раз сын ваш бывает в деревне и ни разу у меня не был!» У нее сын ее теперь приехал, офицер уж!.. К исправнику тоже все дети его приехали; там пропасть теперь молодежи.

Полковник полагал, что Павел не ездил к Александре Григорьевне тоже по внушению Еспера Иваныча, потому что тот терпеть не мог ее.

— Извольте-с, я съезжу,— отвечал Павел сверх ожидания.

Он готов был все сделать и все перенести, лишь бы только не задерживал его отец и отпустил бы поскорее в Москву.

«Да, нелегко мне выцарапаться из моей грязи!» — повторял он мысленно, ходя по красному двору и глядя на поля и луга, по которым он когда-то так весело бегал и которые теперь ему были почти противны!

XVII
РАЗНЫЕ ВЕДОМСТВА В ИХ ПОЧКАХ

На другой день, когда поехали к Абреевой, Павел выфрантился в новый штатский сюртук, атласный жилет, пестрые брюки и в круглую пуховую шляпу. Полковник взглянул на него и, догадавшись, что весь этот костюм был сделан на деньги Еспера Иваныча, ужасно этим обиделся. «Все дяденькино подаренье, а отцу и наплевать не хотел, чтобы тот хоть что-нибудь сшил!» — пробурчал он про себя, как-то значительно мотнув головой, а потом всю дорогу ни слова не сказал с сыном и только, уж как стали подъезжать к усадьбе Александры Григорьевны, разразился такого рода тирадой: «Да, вона какое Воздвиженское стало!.. Словно аббатство разоренное!.. Что делать-то!.. Старухе не на что стало поправлять!.. Сыночек-то, говорят, не выходя еще из корпуса, тридцать тысяч долгов наделал — плати маменька!.. Детушки-то нынче каковы!» Нельзя сказать, чтобы в этих словах не метилось несколько и на Павла, но почему полковник мог думать об сыне что-нибудь подобное, он и сам бы, вероятно, не мог объяснить того.

Воздвиженское действительно представляло какой-то разоренный вид; крыльцо у дома было почти полуразвалившееся, с полинялой краской; передняя — грязная. В зале стены тоже были облупившиеся, историческая живопись на потолке испещрена была водяными протеками. Огромная люстра с стеклянными подвесками как-то уродливо висела на средине. Павел понять не мог, отчего эта зала прежде казалась ему такою великолепной. В гостиной Вихровы застали довольно большое общество: самую хозяйку, хоть и очень постаревшую, но по-прежнему с претензиями одетую и в тех же буклях 30-х годов, сына ее в расстегнутом вицмундире и в эполетах и монаха в клобуке, с пресыщенным несколько лицом, в шелковой

гроденаплевой рясе, с красивыми четками в руках и в чищенных сапогах,— это был настоятель ближайшего монастыря, отец Иоаким, человек ученый, магистр богословия. Он очень важно себя держал и, по-видимому, пользовался большим почетом от хозяйки. Рядом с молодым Абреевым, явно претендуя на товарищество с ним, сидел молодой человек, в мундире с зеленым воротником и с зелеными лацканами, который, по покрою своему, очень походил на гимназический мундир, но так был хорошо сшит и так ловко сидел, что почти не уступал военному мундиру. Павел догадался, что это был старший сын Захаревского — правовед; другой сын его — в безобразных кадетских штанах, в выворотных сапогах, остриженный под гребенку — сидел рядом с самим Ардальоном Васильевичем, который все еще был исправником и сидел в той же самой позе, как мы видели его в первый раз, только от лет он очень потучнел, обрюзг, сделался еще более сутуловат и совершенно поседел. Кадет не имел далеко тех светских манер, которые были сообщены правоведу его воспитанием.

— Здравствуйте, молодой человек! — сказала Александра Григорьевна, поздоровавшись сначала с полковником и обращаясь потом довольно ласково к Павлу, в котором сейчас же узнала, кто он был такой.

Павел поклонился ей и, нимало не медля затем, с опущенными в землю глазами, подошел под благословение к отцу-настоятелю: после жизни у Крестовниковых он очень стал уважать всех духовных особ. Настоятель попривстал немного и благословил его.

— Вы знакомы?.. Ты узнал?.. —спросила Александра Григорьевна сына, показывая ему на Павла.

— Узнал! — отвечал тот, немного картавя.

— Et vous messieurs? [1] — прибавила Александра Григорьевна сыновьям исправника.

Молодые люди все раскланялись между собой.

— Игрывали, я думаю, вместе,— обратился полковник добродушно к исправнику.

— Вероятно! — отвечал тот холодно и не без важности.

Все наконец уселись.

— Не хочет вот в Демидовское! — отнесся полковник к Александре Григорьевне, показав головой на сына.— В университет поступает!

---

[1] А вы, господа? *(франц.)*

Мысль эта составляла предмет гордости и беспокойства его.

— А!..— произнесла та протяжно. Будучи более посвящена в военное ведомство, Александра Григорьевна хорошенько и не знала, что такое университет и Демидовское.

— Какому же собственно факультету посвящает себя сын ваш? — спросил настоятель, обратившись всем телом к полковнику.

— Да я и не знаю,— отвечал тот, разводя руками.

— По какому-нибудь отделению философских факультетов,—подхватил Павел,— потому что мне больше всего хочется получить гуманное, человеческое воспитание.

Александра Григорьевна взглянула на Павла. С одной стороны, ей понравилась речь его, потому что она услышала в ней несколько витиеватых слов, а с другой — она ей показалась по тону, по крайней мере, несколько дерзкою от мальчика таких лет.

— Homo priusquam civis [1],— произнес настоятель, покачивая ногой.

— Homo superior cive! [2] — подхватил Павел.

— Sic! [3] — подтвердил отец Иоаким.

Разговор этот латинский решительно возмутил Александру Григорьевну. Он ей почему-то показался окончательною дерзостью со стороны мальчика-гимназиста.

— Я не знаю, для чего этой латыни учат? — начала она почти презрительным тоном.— Язык бесполезный, грубый, мертвый!

— Как же бесполезный?..— протянул отец Иоаким.— Язык древних философов, ораторов, поэтов, язык ныне медицины,— разъяснял он ей.

— Но, святой отец! — воскликнула Александра Григорьевна.— Положим, он нужен какому-нибудь ученому и вам, как духовной особе, но зачем же он вот этому молодому человеку?..— И Александра Григорьевна показала на правоведа.— И моему сыну, и сыну полковника?

— Как зачем юристу латинский язык? — вмешался опять в разговор Павел, и по-прежнему довольно бойко.

— Да, зачем? — повторила, в свою очередь, резко Александра Григорьевна.

---

[1] Человек прежде всего гражданин. (*лат.*).

[2] Человек выше гражданина! (*лат.*)

[3] Так! (*лат.*)

— Потому что все лучшие сочинения юридические написаны на латинском языке,— отвечал Павел, немного покраснев.

Он и сам хорошенько не знал, какие это именно были сочинения.

— У нас кодекс Юстиниана читают только на латинском,— сказал очень определительно правовед.

— Кодекс Юстиниана! — подхватил Павел.

Александра Григорьевна пожала только плечами. Разговаривать далее с мальчиком она считала неприличным и неприятным для себя, но полковник, разумеется, ничего этого не замечал.

— Поручиком, говорит, у них выпускают! — проговорил он опять, показав на сына.

— Как поручиком? — спросила уже сердито Александра Григорьевна.

— Не то что военным, а штатским — в том же чине,— объяснил полковник. Говоря это, он хотел несколько поверить сына.

— Десятым классом, коллежским секретарем выпускают кандидатов,— присовокупил Павел.

— Да, десятым — то же, что и из лавры нашей! — подтвердил настоятель.— А у вас так выше, больше одним рангом дают,— обратился он с улыбкой к правоведу, явно желая показать, что ему небезызвестны и многие мирские распорядки.

— У нас выше, титулярным советником выпускают,— подтвердил правовед.

— Я, признаюсь, этого решительно не понимаю,— подхватил Павел, пожимая плечами.— Вы когда можете выйти титулярным советником? — обратился он к правоведу.

— На будущий год,— произнес тот.

— А я вот-с,— продолжал Павел, начиная уже горячиться,— если с неба звезды буду хватать, то выйду только десятым классом, и то еще через четыре года только!

— Что ж! Каждое заведение имеет свои права! — возразил с усмешкой правовед.

— У нас, из пажей, тоже выпускают поручиком, а из других корпусов прапорщиками,— вмешался в разговор, опять слегка грассируя, Сергей Абреев.

— Это-то и дурно-с, это-то и дурно! — продолжал горячиться Павел.— Вы выйдете титулярным советником,—

обратился он снова к правоведу,— вам, сообразно вашему чину, надо дать должность; но вы и выучиться к тому достаточно времени не имели и опытности житейской настолько не приобрели.

— Отчего же выучиться я не успел? — спросил правовед обиженным голосом и краснея в лице.

— Да потому что,— я не знаю,— чтобы ясно понимать законы, надобно иметь общее образование.

— Да почему же вы думаете, что нам не дают общего образования? — продолжал возражать обиженным тоном правовед.

— Потому что — некогда; не по чему иному, как — некогда! — горячился Павел.

— Отчего же — некогда? — вмешался опять в разговор Сергей Абреев.— Только чтобы глупостям разным не учили, вот как у нас — статистика какая-то... черт знает что такое!

— Статистика, во-первых, не черт знает что такое, а она — фундамент и основание для понимания своего современного государства и чужих современных государств,— возразил Павел.

Настоятель мотнул ему на это головой.

— Про ваше учебное заведение,— обратился он затем к правоведу,— я имею доскональные сведения от моего соученика, друга и благодетеля, господина Сперанского...

Проговоря это, отец Иоаким приостановился немного,— как бы затем, чтобы дать время своим слушателям уразуметь, с какими лицами он был знаком и дружен.

— Господин Сперанский, как, может быть, небезызвестно вам, первый возымел мысль о сем училище, с тем намерением, чтобы господа семинаристы, по окончании своего курса наук в академии, поступали в оное для изучения юриспруденции и, так как они и без того уже имели ученую степень, а также и число лет достаточное, то чтобы сообразно с сим и получали высший чин — 9-го класса; но богатые аристократы и дворянство наше позарились на сие и захватили себе...

— Это может быть! — отвечал правовед.

— Верно так, верно! — подхватил монах.

— Мысль Сперанского очень понятна и совершенно справедлива,— воскликнул Павел, и так громко, что Александра Григорьевна явно сделала гримасу; так что даже

полковник, сначала было довольный разговорчивостью сына, заметил это и толкнул его ногой. Павел понял его, замолчал и стал кусать себе ногти.

— Ах, боже мой, боже мой! — произнесла, вздохнув, Александра Григорьевна.— России, по-моему, всего нужнее не ученые, не говоруны разные, а верные слуги престолу и хорошие христиане. Так ли я, святой отец, говорю? — обратилась она к настоятелю.

— Д-да-а! — отвечал ей тот протяжно и не столько, кажется, соглашаясь с ней, сколько не желая ее оспаривать.

— Милости прошу, однако, гости дорогие, кушать!..— прибавила она, вставая.

Все поднялись. Полковник сейчас же подал Александре Григорьевне руку. Это был единственный светский прием, который он очень твердо знал.

— Ваш сын — большой фантазер,— оберегите его с этой стороны! — шепнула она ему, грозя пальцем.

— Есть немножко, есть!..— подтвердил полковник.

При размещении за столом Павлу предназначили сесть рядом с кадетом. Его, видно, считали за очень еще молодого мальчика. Это было несколько обидно для его самолюбия; но, к счастью, кадет оказался презабавным малым: он очень ловко (так что никто и не заметил) стащил с вазы апельсин, вырезал на нем глаза, вытянул из кожи нос, разрезал рот и стал апельсин слегка подавливать; тот при этом точь-в-точь представил лицо человека, которого тошнит. Павел принялся над этим покатываться со смеху самым искреннейшим образом.

В это время Александра Григорьевна обратилась к настоятелю.

— Вот вы были так снисходительны, что рассуждали с этим молодым человеком,— и она указала на Павла,— но мне было так грустно и неприятно все это слышать, что и сказать не могу.

Настоятель взглянул на нее несколько вопросительно.

— Когда при мне какой-нибудь молодой человек,— продолжала она, как бы разъясняя свою мысль,— говорит много и говорит глупо, так это для меня — нож вострый; вот теперь он смеется — это мне приятно, потому что свойственно его возрасту.

— Но почему вы,— возразил ей скромно отец Иоаким,— не дозволяете, хоть бы несколько и вкось, рассуждать молодому человеку и, так сказать, испытывать

свой ум, как стремится младенец испытать свои зубы на более твердой пище, чем млеко матери?

— А потому, что пытанье это ведет часто к тому, что голова закружится. Мы видели этому прекрасный пример 14 декабря.

Против такого аргумента настоятель ничего не нашелся ей возразить и замолчал.

После обеда все молодые люди вышли на знакомый нам балкон и расселись на уступах его. В позе этой молодой Абреев оказался почти красавцем.

— Voulez-vous un cigare? [1] — произнес он, обращаясь к стоявшему против него правоведу.

Тот взял у него из рук сигару.

— Monsieur Вихров, desirez-vous? [2] — обратился Абреев к Павлу, но тот поблагодарил и отказался от сигары: по невежеству своему, он любил курить только жуковину.

— Et vous, monsieur? [3] — отнесся Абреев к кадету.

Тот принял от него сигару и, с большим знанием дела, откусил у нее кончик и закурил.

— Le cigare est excellent! [4] — произнес Абреев, навевая себе рукою на нос дым.

— Magnifique! [5] — подтвердил правовед, тоже намахивая себе на лицо дым.

— От нас Утвинов поступил к вам в полк? — спросил он.

— Oui, [6] — протянул Абреев.

— А правда, что наследник ему сказал, что он лучше бы желал штатским его видеть?

— On dit! [7] — отвечал Абреев.— Но тому совершенно был не расчет... Богатый человек! «Если бы,— говорит он,— я мог поступить по дипломатической части, а то пошлют в какой-нибудь уездный городишко стряпчим».

— Не в уездный, а в губернский,— поправил его правовед.

— Да, но это все одно!.. «Я, говорит, совершенно не способен к этому крючкотворству».

---

[1] Хотите вы сигару? *(франц.)*
[2] Вы желаете? *(франц.)*
[3] А вы, господин? *(франц.)*
[4] Превосходная сигара! *(франц.)*
[5] Великолепная! *(франц.)*
[6] Да, *(франц.)*
[7] Говорят! *(франц.)*

— Нас затем и посылают в провинцию, чтобы не было этого крючкотворства,— возразил правовед и потом, не без умыслу, кажется, поспешил переменить разговор.— А что, скажите, брат его тоже у вас служит, и с тем какая-то история вышла?

— Ужасная! — отвечал Абреев.— Он жил с madame Сомо. Та бросила его, бежала за границу и оставила триста тысяч векселей за его поручительством... Полковой командир два года спасал его, но последнее время скверно вышло: государь узнал и велел его исключить из службы... Теперь его, значит, прямо в тюрьму посадят... Эти женщины, я вам говорю, хуже змей жалят!.. Хоть и говорят, что денежные раны не смертельны, но благодарю покорно!..

— Вас тоже ведь поранили? — спросил правовед.

— Еще как!.. Мне mademoiselle Травайль, какая-нибудь фигурантка, двадцать тысяч стоила... Maman так этим огорчена была и сердилась на меня; но я, по крайней мере, люблю театр, а Утвинов почти никогда не бывал в театре; он и с madame Сомо познакомился в одном салоне.

— Я сам в театре люблю только оперу,— заметил правовед.

— А я, напротив, оперы не люблю,— возразил Абреев,— и хоть сам музыкант, но слушать музыку пять часов не могу сряду, а балет я могу смотреть хоть целый день.

— Как же вы,— вмешался в разговор Павел,— самый высочайший род драматического искусства — оперу не любите, а самый низший сорт его — балет любите?

— Почему балет — низший? — спросил Абреев с недоумением.

Правовед улыбнулся про себя.

— Драма, представленная на сцене,— продолжал Павел,— есть венец всех искусств; в нее входят и эпос, и лира, и живопись, и пластика, а в опере наконец и музыка — в самых высших своих проявлениях.

— А в балете разве нет поэзии и музыки?..— возразил ему слегка правовед.

— Нет-с! — ответил ему резко Павел.— В нем есть поэзии настолько, насколько есть она во всех образных искусствах.

— Но как же и музыки нет, когда она даже играет в балете? — продолжал правовед.

— Она могла бы и не играть,— говорил Павел (у него

голос даже перехватывало от волнения),— от нее для балета нужен только ритм — такт. Достаточно барабана одного, который бы выбивал такт, и балет мог бы идти.

— Вы что-то уж очень мудрено говорите; я вас не понимаю,— возразил Абреев, красиво болтая ногами.

Правовед опустил глаза в землю и продолжал про себя улыбаться.

— Мишель, может, ты понимаешь? — обратился Абреев к кадету.

— А я и не слыхал, о чем вы и говорили,— отвечал тот плутовато.

Павел весь покраснел от этих насмешек.

— Очень жаль, что вы не понимаете,— начал он несколько глухим голосом,— а я говорю, кажется, не очень мудреные вещи и, по-моему, весьма понятные!

Ему на это никто ничего не ответил.

— А вас, Мишель, пускают в театр? — обратился Абреев опять к кадету, видимо, желая прекратить этот разговор, начавший уже принимать несколько неприязненный характер.

— Нет, не пускают,— отвечал тот,— но мы в штатском платье ездим... Нынешней весной наш выпускной курс — Асенковой букет поднесли.

— И никого не узнали?

— Никого — решительно!

Павел молчал и ограничивался только тем, что слушал насмешливо все эти переговоры.

В остальную часть дня Александра Григорьевна, сын ее, старик Захаревский и Захаревский старший сели играть в вист. Полковник стал разговаривать с младшим Захаревским; несмотря на то, что сына не хотел отдать в военную, он, однако, кадетов очень любил.

— Ну-те-ка, милостивый государь,— сказал он,— когда же вы выйдете в офицеры?

— Года через два,— отвечал тот.

— А потом — куда?

— Потом — на какую-нибудь дистанцию.

— Жалованье-то прапорщичье, я думаю, маленькое...

— Но ведь у нас жалованье — что же?..— отвечал кадет, пожав плечами.— Главное проценты с подрядчиков,— иногда одних работ на дистанции доходит тысяч до пятидесяти.

— Так, так!..—подтверждал полковник.

— Потом иногда в хозяйственное распоряжение отдают, это еще выгоднее.

— Так, так!..— говорил и на это полковник.

Старик этот, во всю жизнь чужой копейкой не пользовавшийся, вовсе ничего дурного не чувствовал в том, что говорил ему теперь маленький негодяй.

Павел между тем весь вечер проговорил с отцом Иоакимом. Они, кажется, очень между собою подружились. Юный герой мой, к величайшему удовольствию монаха, объяснил ему:

— Православие должно было быть чище,— говорил он ему своим увлекающим тоном,— потому что христианство в нем поступило в академию к кротким философам и ученым, а в Риме взяли его в руки себе римские всадники.

— Православное учение,— говорил настоятель каким-то даже расслабленным голосом,— ежели кто окунется в него духом, то, как в живнодальном источнике, получит в нем и крепость, и силу, и здравие!..

— Потому что ключ-то, источник-то, настоящий и истинный...— подтверждал Павел.

Разъехались все уже после ужина. Павел, как только сел в экипаж,— чтобы избежать всяких разговоров с отцом,— притворился спящим, и в воображении его сейчас же начал рисоваться образ Мари, а он как будто бы стал жаловаться ей. «Был я сегодня, Мари, в обществе моих сверстников, и чтó же это такое? Я им говорил не свое, а мысли великих мыслителей,— и они не только не поняли того, что я им объяснял, но даже — того, что я им говорил не совершеннейшую чепуху! Отчего же ты, Мари, всегда все понимала, что я тебе говорил!»

Мари в самом деле,— когда Павел со свойственною всем юношам болтливостью, иногда по целым вечерам передавал ей свои разные научные и эстетические сведения,— вслушивалась очень внимательно, и если делала какое замечание, то оно ясно показывало, что она до тонкости уразумевала то, чтó он ей говорил.

«О! Когда придет то счастливое время,— продолжал он думать в каком-то даже лихорадочном волнении,— что я буду иметь право тебе одной посвящать и мои знания, и мои труды, и мою любовь».

Павел непременно предполагал, что как только выйдет из университета, женится на Мари!

XVIII

ВТОРОЙ УДАР

Едучи уже в Москву и проезжая родной губернский город, Павел, разумеется, прежде всего был у Крестовниковых. Отобедав у них, поблагодушествовал с ними, а потом вознамерился также сходить и проститься с Дрозденкой. Он застал Николая Силыча в оборванном полинялом халате, сидящего, с трубкою в руках, около водки и закуски и уже несколько выпившего.

— А, пан Прудиус! — воскликнул он не без удовольствия, скривляя, по обыкновению, на сторону свой рот.

Павел раскланялся с ним, немного уже важничая.

— Куда бог несет? — продолжал Дрозденко.

— В Москву, в университет,— отвечал Павел.

— А!..— произнес Николай Силыч протяжно и каким-то довольно странным тоном.

— А вот так досадно,— продолжал Павел,— пришлось здесь пробыть другой день. Не говоря уже про университет, самую-то Москву хочется увидеть поскорей.

— Что же в ней такое, сорок-то сороков церквей, что ли? — спросил явно насмешливым голосом Николай Силыч.

— Вся наша история, все наши славные и печальные дни совершились, по преимуществу, в Москве, в Кремлевских стенах.

— А как она вылезла в люди-то, ваша Москва? — спросил Николай Силыч и взглянул Павлу в лицо.

— Вылезла,— отвечал тот, пожимая плечами,— потому что Московское княжество одолело прочие мелкие княжества.

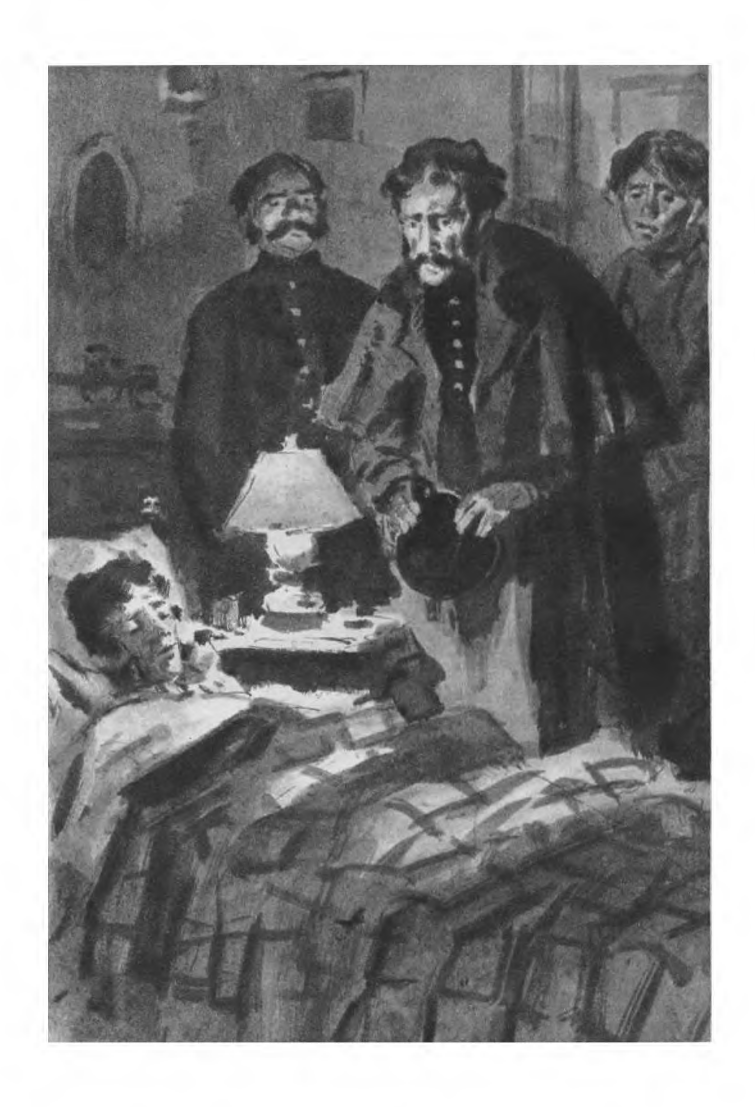
— А чем же оно одолело их? — продолжал как бы допрашивать Дрозденко.

— Умом и тактом своих князей,— отвечал Павел.

— Тактом? — как бы переспросил Николай Силыч.— А кто, паря, больше их булдыхался и колотился лбом в Золотой Орде и подарки там делал?.. Налебезят там, заручатся татарской милостью, приедут домой и давай душить своих,— этакий бы и у меня такт был, и я бы сумел так быть собирателем земли русской!

— Нельзя же все этим объяснять,— воскликнул Павел,— одною подлостью история не делается; скорее при-





чина этому таится в самом племени околомосковском и поволжском.

При этих словах Николай Силыч весь даже вспыхнул.

— Нет, племя-то, которое было почестней,— начал он сердитым тоном,— из-под ваших собирателей земли русской ушло все на Украйну, а другие, под видом раскола, спрятались на Север из-под благочестивых царей ваших.

— Не могу же я, Николай Силыч,— возразил Павел,— как русский, смотреть таким образом на Московское княжество, которое сделало мое государство.

— Ну, и смотри, как хочешь, кто тебе мешает!.. Кланяйся господам директорам и инспекторам, которые выгнали было тебя из гимназии; они все ведь из подмосковского племени.

Видя, что Николай Силыч, вероятно, частью от какой-нибудь душевной горести, а частью и от выпитой водки был в сильно раздраженном состоянии, Павел счел за лучшее не возражать ему.

— А по какому факультету ты поступаешь? — спросил Дрозденко после нескольких минут молчания и каким-то совершенно мрачным голосом.

— По математическому, вероятно,— отвечал Павел.

Николай Силыч усмехнулся.

— Зачем?.. На кой черт? Чтобы в учителя прислали; а там продержат двадцать пять лет в одной шкуре, да и выгонят,— не годишься!.. Потому ты таблицу умножения знаешь, а мы на место тебя пришлем нового, молодого, который таблицы умножения не знает!

Николаю Силычу самому предстояла такая участь, и его, конечно, уж не оставляли не потому, что он не годился по своим знаниям, а по его строптивому и беспокойному характеру.

— Государство ваше Российское,— продолжал он почти со скрежетом зубов,— вот взять его зажечь с одного конца да и поддувать в меха, чтобы сгорело все до тла!

Павла покоробило даже при этих словах. Сам он был в настоящие минуты слишком счастлив,— будущность рисовалась ему в слишком светлых и приятных цветах,— чтобы сочувствовать озлобленным мыслям и сетованиям Дрозденко; так что он, больше из приличия, просидел у него с полчаса, а потом встал и начал прощаться.

— Ну-с, прощайте! — сказал Дрозденко, вставая и целуясь с ним. Он заметил, кажется, что Павел далеко не

симпатизировал его мыслям, потому что сейчас же переменил с ним тон.— Кланяйтесь вашему Кремлю,— заключил он,— и помните, что каждый камушек его поспел и положен по милости татарской, а украинцы так только бились с ними и проливали кровь свою...

— Когда лучше узна́ю историю, то и обсужу это! — отвечал Павел тоже сухо и ушел; но куда было девать оставшиеся несколько часов до ночи? Павлу пришла в голову мысль сходить в дом к Есперу Иванычу и посмотреть на те места, где он так счастливо и безмятежно провел около года, а вместе с тем узнать, нет ли каких известий и от Имплевых.

Самый дом и вся обстановка около него как бы вовсе не изменились: ворота так же были отворены, крыльцо — отперто; даже на окне, в зале, как Павлу показалось, будто бы лежал дорожный саквояж. «Что́ за чудо, уж не воротились ли они из Москвы?» — подумал он и пошел в самый дом. Там его, у самых входных дверей, встретил проворно выбежавший из комнат оставленный при доме, в виде дворника, старый лакей Еспера Иваныча, Силантий. Захлопнув за собой дверь, он, сверх того, заслонил ее своей собственной особой. Лицо его было сконфуженно и растерянно.

—А что́, от Еспера Иваныча есть известия? — спросил удивленный всем этим Павел.

— Никак нет-с! — отвечал Силантий, не отходя от дверей.

— Пусти меня в дом; я хочу посмотреть комнату Мари.

— Никак нельзя-с! — отвечал старик испуганным голосом.

— Отчего же нельзя? — спросил Павел.

— Нельзя-с! — повторил Силантий.— Позвольте-с, я доложу,— прибавил он и, как бы сам не понимая, что делает, отворил дверь, юркнул в нее и, как слышно было, заперев ее, куда-то проворно побежал по дому.

Павел от удивления не знал, что и подумать. Наконец, Силантий возвратился, отворил дверь как-то уж не сконфуженно, а больше таинственно; лицо его дышало спокойствием.

— Пожалуйте, войдите-с, можно! — проговорил он.

Павел вошел в переднюю.

— Вас они просят к себе-с, в комнату Марьи Николаевны,— прибавил старик.

— Кто просит? — проговорил Павел, наконец, уж с досадой.

— Госпожа Фатеева-с,— произнес почти шепотом и несколько лукаво старик.

— Зачем же она здесь? — говорил Павел, идя за Силантием по коридору.

— Да так-с, приехала,— отвечал тот как-то неопределенно.

В комнате Мари действительно Павел увидал m-me Фатееву, но она так похудела, на щеках ее были заметны такие явные следы слез, что он даже приостановился на несколько мгновений на пороге.

— Не ожидали меня!..— проговорила она, подходя к нему, протягивая руку и усиливаясь улыбнуться.

— Никак уж!.. Но скажите, как же вы, однако, и давно ли вы здесь?..— спросил Павел в одно и то же время сконфуженным и обрадованным голосом.

— Все расскажу; ступай, Силантьюшко! — прибавила она вошедшему тоже, вслед за Павлом, Силантию.

— Никого больше не прикажете принимать? — спросил тот, модно склоняя пред ней голову.

— Никого,— отвечала Фатеева.

Старик поклонился и ушел.

— Это цербер какой-то, вас стерегущий! Он и меня никак не хотел пустить,— сказал Павел.

— Да, он мне очень предан; он меня обыкновенно провожал от Имплевых домой; я ему всегда давала по гривенничку на чай, и он за это получил ко мне какую-то фанатическую любовь, так что я здесь гораздо безопаснее, чем в какой-нибудь гостинице,— говорила m-me Фатеева, но сама, как видно, думала в это время совсем об другом.

— Но к чему же вся эта таинственность? — спросил Павел, не могший все еще разобрать смысла всего этого.

— О, она мне необходима! — отвечала m-me Фатеева и вслед затем глубоко вздохнула.

Павел несколько времени смотрел ей в лицо.

— Но где же ваш муж? — проговорил он.

М-me Фатеева как бы вздрогнула всем телом.

— Не знаю,— отвечала она своим обычным глухим голосом,— я с ним больше не живу,— мы разошлись! — заключила она после некоторого молчания.

— Ну и прекрасно, значит! — произнес Павел, не зная — радоваться этому или нет.

M-me Фатеева ничего ему на это не сказала.

— Но что́ же было окончательным поводом к вашему разводу? — продолжал Павел расспрашивать.

— Разумеется,— отвечала m-me Фатеева,— то, что я полюбила другого.

— Другого?..— сказал Павел, уставляя на нее веселые глаза.

— Да,— отвечала Фатеева, как бы стыдясь и отворачиваясь от него.— Позвольте, вы ведь мне друг,— так, да?..— прибавила она, вставая и протягивая ему руку.

— Друг, самый искренний! — отвечал Павел, с чувством пожимая ее руку.

— Ну, так я вас сейчас познакомлю с ним! — проговорила она с легкой краской в лице и вышла затем из комнаты.

Удивление Павла не прекращалось.

Вскоре он услышал разговор в соседней комнате.

— Venez!..[1]— говорила Фатеева каким-то настоятельным тоном.

— Pourquoi?..[2]— отвечал ей мужской голос.

— Venez donc![3] — повторяла Фатеева еще настоятельнее и через несколько мгновений она вошла в сопровождении довольно молодцоватого, но лет уже за сорок мужчины,— с лицом, видно, некогда красивым, но теперь истощенным, в щеголеватом штатском платье и с военным крестиком в петличке. Он, кажется, старался улыбаться своему положению.

— Monsieur Постен, а это мой друг, monsieur Поль! — проговорила m-me Фатеева скороговоркой, не глядя ни на того, ни на другого из рекомендуемых ею лиц, а потом сама сейчас же отошла и села к окну.

М-r Постен и m-r Поль очутились в не совсем ловком положении. Они поклонились друг другу и решительно не находились, об чем бы заговорить. М-r Постен, впрочем, видимо, получивший приказание оказывать внимание Павлу, движением руки пригласил его сесть и сам сел, но разговор все еще не начинался.

— Постен,— начала, наконец, Фатеева как-то мрачно и потупляя свое лицо в землю,— расскажите Полю исто-

---

[1] Идите! *(франц.)*
[2] Зачем? *(франц.)*
[3] Идите же! *(франц.)*

рию моего развода с мужем... Мне тяжело об этом говорить...

— Почему же — я? — спросил с заметным неудовольствием Постен.

— Потому что вы были всему свидетелем,— отвечала Фатеева с укором.

Постен пожал плечами и не начинал ничего говорить.

— И, пожалуйста, совершенно откровенно: я хочу, чтоб Поль все знал,— прибавила m-me Фатеева.

Постен опять усмехнулся, но как заговорить — явно не находился.

— Monsieur Фатеев, как я слышал, характера очень дурного,— вмешался в разговор Павел, чтобы хоть сколько-нибудь помочь ему.

— Тут все дело в ревности,— начал Постен с прежней улыбкой и, по-видимому, стараясь придать всему разговору несколько легкий оттенок.— Когда Клеопатра Петровна переехала в деревню, я тоже в это время был в своем имении и, разумеется, как сосед, бывал у нее; она так была больна, так скучала...

При этих словах Павел невольно взглянул на m-me Фатееву, но она почти до половины высунулась в окно.

— А что же вы не сказали того, что муж прежде всегда заставлял меня, чтоб я была любезна с вами? — проговорила она, не оборачивая лица своего в комнату: вообще в тоне ее голоса и во всех манерах было видно что-то раздраженное.

— Да, он всегда желал этого,— произнес, почти с удивлением, Постен.— Но потом-с!..— начал он рассказывать каким-то чересчур уж пунктуальным тоном.— Когда сам господин Фатеев приехал в деревню и когда все мы — я, он, Клеопатра Петровна — по его же делу отправились в уездный город, он там, в присутствии нескольких господ чиновников, бывши, по обыкновению, в своем послеобеденном подшефе, бросается на Клеопатру Петровну с ножом.

— Как с ножом? — воскликнул Павел.

— С ножом; я уж защитил ее своей рукой, так что он слегка даже ранил меня,— отвечал, по-прежнему пунктуально, Постен.

Павел перенес свой взгляд на Фатееву. Она все еще смотрела в окно.

— Все мы, и я и господа чиновники,— продолжал ме-

жду тем Постен,— стали ему говорить, что нельзя же это, наконец, и что он хоть и муж, но будет отвечать по закону... Он, вероятно, чтобы замять это как-нибудь, предложил Клеопатре Петровне вексель, но вскоре же затем, с новыми угрозами, стал требовать его назад... Что же оставалось с подобным человеком делать, кроме того, что я предложил ей мой экипаж и лошадей, чтобы она ехала сюда.

Прослушав все это, Павел молчал. Как ни мало он был житейски опытен, но история об векселе неприятно подействовала на него. Сам же Постен просто показался ему противен: он решительно видел в нем какого-то господина — изжившегося, истрепавшегося и умевшего звучать в одну только практическую сторону. Как и чем m-me Фатеева могла увлечься в нем — Павел понять не мог. Она, в свою очередь, кажется, заметила не совсем благоприятное впечатление, произведенное избранником сердца ее на Павла, и ей, как видно, хотелось по этому поводу переговорить с ним, потому что она, явно без всякой особенной надобности, услала Постена.

— Я завтра хочу выехать,— обратилась она к тому не совсем даже приязненным тоном.

— Завтра? — переспросил Постен.

— Завтра, а потому будьте так добры — подите и приготовьте лошадей!

— Если завтра, так, конечно, теперь же надо приготовить,— проговорил он и затем, церемонно раскланявшись с Павлом и мотнув с улыбкою головой Фатеевой, вышел.

Павел и Фатеева несколько времени молчали.

— А как вам понравился этот господин?..— спросила, наконец, она.

— Хорош, если вам он нравится,— отвечал Павел, держа лицо свое опущенным в землю.

M-me Фатеева более уже не повторяла этого вопроса.

Павел сам обратился к ней:

— Куда же вы едете теперь?

— В Петербург пока! — отвечала Фатеева мрачным голосом.— В омут бы мне всего лучше и скорей надо!..— прибавила она.

Павел посмотрел на нее. «Так влюбленные не говорят!» — подумал он.

— Меня-то теперь, главное, беспокоит,— начала вдруг

Фатеева,— разные тетушки и кумушки кричат на весь околоток, зачем я с мужа взяла вексель и не возвращаю ему его, но у меня его нет: он у Постена, и тот мне его не отдает.

— Зачем же он у Постена, и почему он вам не отдает его? — говорил Павел, не глядя на нее.

В голосе его слышалась некоторая строгость.

— Он говорит, что когда этот вексель будет у меня, так я не выдержу и возвращу его мужу, а между тем он необходим для спокойствия всей моей будущей жизни!

— Чем же он так необходим для спокойствия вашей будущей жизни?

— Тем, что он будет служить для мужа некоторым страхом.

— Но ведь вы уж больше не живете с вашим мужем?

— Да, но он может меня потребовать к себе каждую минуту.

Павел задумался; в продолжение всей этой сцены он вел себя как бы солиднейший мужчина.

— Вот об этом-то, друг мой, собственно, я и хотела посоветоваться с вами: имею ли я право воспользоваться этим векселем или нет?

Павел развел руками и начал не без важности:

— По-моему, имеете и нет; не имеете права, потому что муж ваш не желает вам оставить этот вексель, а имеете его, потому что он заел весь ваш век; следовательно, должен поплатиться с вами не только деньгами, но даже жизнию, если бы вы потребовали того!..

— Да, подите,— люди разве рассудят так!.. Никто этого не знает, да и знать не хочет!.. Я здесь совершенно одна, ни посоветоваться мне не с кем, ни заступиться за меня некому! — проговорила m-me Фатеева и заплакала горькими-горькими слезами.

Павлу сделалось до глубины души ее жаль.

— Что ж вам за дело до людей!..— воскликнул он сколь возможно более убедительным тоном. — Ну и пусть себе судят, как хотят! — А что, Мари, скажите, знает эту грустную вашу повесть? — прибавил он: ему давно уже хотелось поговорить о своем сокровище Мари.

— Кажется, знает!.. — отвечала Фатеева довольно холодно. —По крайней мере, я слышала, что муж к ней и к Есперу Иванычу, как к родственникам своим, писал обо всем, и она, вероятно, больше симпатизирует ему.

— Мари? — спросил Павел с удивлением.

— Да,— отвечала Фатеева,— она в этом случае ужасная пуристка,— особенно в отношении других.

— А в отношении себя что же? — сказал Павел. Он видел, что m-me Фатеева была за что-то очень сердита на Мари.

— О, в отношении себя нет! — говорила та. — Хоть бы с вами,— вы ведь к ней неравнодушны!

— Я? — спросил Павел, покраснев.

— Да, вы!.. И даже очень неравнодушны,— так?

— Может быть,— отвечал Павел, улыбаясь: он очень рад был этому вопросу.

— С вами, по-моему,— продолжала Фатеева грустно-серьезным тоном,— она очень нехорошо поступала; она видела ваши чувства к себе, почему же она не сказала вам, что любит другого?

— Мари любит другого?.. Но кого же? — спросил Павел каким-то глухим и торопливым голосом.

— Там одного господина; их, вероятно, скоро свадьба будет.

Павел почувствовал, что у него в голове как бы что-то такое лопнуло.

— Как же это?.. Я у самой вас спрашивал: нет ли чего особенного у Мари в Москве, и вы решительно сказали, что нет! — проговорил он с укоризною.

— Друг мой!..— воскликнула Фатеева.— Я никак не могла тогда сказать вам того! Мари умоляла меня и взяла с меня клятву, чтобы я не проговорилась вам о том как-нибудь. Она не хотела, как сама мне говорила, огорчать вас. «Пусть, говорит, он учится теперь как можно лучше!»

— Хорошо еще и то,— произнес с грустной насмешкой Павел,— что обманывали по крайней мере с благодетельною целью!.. Что̀ же ее будущий супруг — господин офицер, гусар, генерал?

— Он — артиллерийский полковник; очень хороший, говорят, человек; эта привязанность старинная; у них это сватанье тянется года уж три...

— Что же так долго мешало их счастию?

— Сама Мари, разумеется... Она в этом случае, я не знаю, какая-то нерешительная, что ли, стыдливая: какого труда, я думаю, ей стоило самой себе признаться в этом чувстве!.. А по-моему, если полюбила человека — не

только уж жениха, а и так называемою преступною любовью — что́ ж, тут скрываться нечего: не скроешь!..

— И очень она любит жениха? — спросил Павел.

Всеми этими допытываниями он как бы хотел еще больше намучить и натерзать себя, а между тем в голове продолжал чувствовать ни на минуту не умолкающий шум.

— Очень, вероятно! По крайней мере, в последнем письме, которое она мне писала, она беспрестанно называет: *«мой добрый, бесценный»*.

— Вот как,— *«добрый, бесценный»!* — произнес Павел, куда-то в сторону смотря.

M-me Фатеева поняла, кажется, наконец, какое она страшное впечатление произвела на Павла этим открытием.

— Что же, вы будете в Москве бывать у Еспера Иваныча и у молодых, когда их свадьба состоится? — спросила она, глядя на него с участием.

— Конечно-с!.. Какое же право я имею на них сердиться? Случай весьма обыкновенный. Мне много еще раз, вероятно, в жизни придется влюбиться несчастным образом! — усиливался Павел ответить насмешливым голосом: ему совестно было перед Фатеевой тех рыданий, которые готовы были вырваться из его груди.

— Ну, однако, я тоже завтра уезжаю, и мне тоже надобно похлопотать об лошадях!..— сказал он, вставая и протягивая руку m-me Фатеевой.

— Я, может быть, буду в Москве и буду иметь крайнюю, очень крайнюю надобность видеться с вами! — проговорила она с ударением.

— Всегда к вашим услугам,— отвечал ей Павел и поспешил уйти. В голове у него все еще шумело и трещало; в глазах мелькали зеленые пятна; ноги едва двигались. Придя к себе на квартиру, которая была по-прежнему в доме Александры Григорьевны, он лег и так пролежал до самого утра, с открытыми глазами, не спав и в то же время как бы ничего не понимая, ничего не соображая и даже ничего не чувствуя.

Сила любви никак не зависит ни от взаимности, ни от достоинства любимого предмета: все дело в восприимчивости нашей собственной души и в ее способности сильно чувствовать. Герой мой не имел никаких почти данных, чтобы воспылать сильной страстию к Мари; а между тем,

пораженный известием о любви ее к другому, он на другой день не поднимался уже с постели. Ванька страшно этого перепугался. Полковник, отпуская его с сыном в Москву, сказал ему, что, если с Павлом Михайловичем что̀ случится, так он с него, Ваньки, (за что-то) три шкуры спустит... Ванька сидел и обливался горькими слезами. К счастью, что при этом был Симонов, который сейчас же нашелся — сбегал за доктором и послал, на собственные деньжонки, эстафету к полковнику. Пришедший врач объявил, что у Павла нервная горячка, и Симонов сам принялся ставить больному горчичники, обтирать его уксусом с вином, беспрестанно бранил помогавшую ему при этом жену свою, называя ее бабой-ротозейкой и дурой необразованной. Этот отличный человек так ухаживал за Павлом не столько, кажется, из усердия к нему, сколько из того, что всякое дело, за которое он принимался, привык делать отлично!.. Полковник, наконец, прискакал на почтовых. Увидев сына в таком положении, он пришел в совершенное отчаяние.

— Ну вот вам и университет,— говорил ведь я!.. — повторял он почти всем людям.

Павел сначала не узнавал отца, но потом, когда он пришел в себя, полковник и ему то же самое повторил.

— Говорил я тебе: до чего тебя довел твой университет-то; плюнь на него, да и поезжай в Демидовское!

Павел с ожесточением ударил себя в грудь.

— Послушайте,— начал он раздраженным голосом,— у меня уже теперь потеряно все в жизни!.. Не отнимайте, по крайней мере, науки у меня.

Полковник понять не мог, что́ такое это все было потеряно у сына в жизни.

Страх смерти, около которой Павел был весьма недалеко, развил снова в нем религиозное чувство. Он беспрестанно, лежа на постели, молился и читал евангелие. Полковника это радовало.

— Вот это хорошо, молись: молитва лучше всяких докторов помогает!..— говорил он, а между тем сам беспрестанно толковал о Павле с Симоновым.

— Весь он у меня, братец, в мать пошел: умная ведь она у меня была, но тоже этакая пречувствительная и претревожная!.. Вот он тоже маленьким болен сделался; вдруг вздумала: «Ай, батюшка, чтобы спасти сына от смерти, пойду сама в Геннадьев монастырь пешком!..»

Сходила, надорвалась, да и жизнь кончила, так разве бог-то требует того?!

— Заботливые люди, ваше высокородие, всегда нездоровее людей беззаботных,— заметил Симонов.

— Да ведь всему же, братец, есть мера; я сам человек печный, а ведь уж у них — у него вот и у покойницы,— если заберется что̀ в голову, так словно на пруте их бьет.

— Ну, да теперь, ваше высокородие, Павел Михайлыч еще молоденек. Бог даст, повозмужает и покоренеет, а что барчик прекрасный-с и предобрый! — говорил Симонов.

— Добрый-то добрый! — подтверждал с удовольствием полковник.

Когда сын, наконец, объявил еще раз и окончательно, что поедет в Москву, он отнесся уж к нему каким-то даже умоляющим голосом:

— Позволь мне, по крайней мере, проводить тебя!

— Ни за что! — воскликнул Павел опять раздраженным голосом. — Я нисколько не хочу вас стеснять собой!

— Да ты меня больше стеснишь: я измучусь, думая, как ты один поедешь!

— А я еще больше измучусь,— сказал Павел,— если вы поедете со мной, потому что вам надобно быть в деревне.

Павел, по преимуществу, не желал, чтобы отец ехал с ним, потому что все хоть сколько-нибудь близкие люди опротивели ему, и он хотел, чтобы никто, кроме глупого Ваньки, не был свидетелем его страданий.

Полковник, начавший последнее время почти притрухивать сына, на это покачал только головой и вздохнул; и когда потом проводил, наконец, далеко еще не оправившегося Павла в Москву, то горести его пределов не было: ему казалось, что у него нет уже больше сына, что тот умер и ненавидит его!.. Искаженное лицо солдата беспрестанно мелькало перед глазами старика.

— Да, знаю, знаю, за тебя мне бог все это мстит! — говорил он, кивая своему видению, как бы старому приятелю, головой...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

МАКАР ГРИГОРЬЕВ

Над Москвою стоял душнейший июльский день. В маленькой и закоптелой комнате с открытым окном, на жестком кожаном диване, лежал, от болезни и дорожного утомления худой, как мертвец, Павел. В переднем углу комнаты стоял киот с почерневшими от времени образа́ми, а в другом углу помещался шкафчик с пустым, тусклым карафином, с рюмкой, у которой подножка была отбита и заменена широкой пробкой, с двумя-тремя стаканами и несколькими чашками. Как ни мало брезглив был Павел, но он старался даже не глядеть в этот угол, чтобы только не видать всех этих предметов: до того они были грязны. На окне стояла заплеснелая чернильница, в которую воткнуто было засушенное и обгрызанное перо. Рядом с нею стояли счеты, с вогнутыми вниз несколько спицами. Вероятно, хозяин, считая на них, изволил разгневаться и ударил по ним своим кулаком. На противоположной дивану стене висело заплеванное мухами зеркало, и когда Павел попробовал было посмотреться, то лицо его представилось ему совершенно перекошенным на сторону. Невдалеке от зеркала была прибита лубочная картина: *«Русский мороз и немец»*, изображающая уродливейшего господина во фраке и с огромнейшим носом, и на него русский мужик в полушубке замахивался дубиной, а внизу было подписано: *«Немец, береги свой нос, идет русский мороз!»* Все сие помещение принадлежало Макару Григорьеву Синькину, московскому

оброчному подрядчику, к которому, как мы знаем, Михаил Поликарпыч препроводил своего сына... Ванька вместе с Павлом тоже прибыл в Москву и теперь, по указанию Макара Григорьева, спал в мастерской на осоке, которою прокладывают спаи в бочках. Ванька всю рожу исцарапал себе этой осокой, но все-таки продолжал спать, и у него слюна даже текла от получаемого им удовольствия: он очень уж умаялся от езды на перекладных и сиденья — триста верст — на облучке. Макар Григорьев, для первого знакомства, взглянул на него с каким-то презрением и, как собаке какой, указав место на осоке, проговорил: «На́ вот спи тут: где же тебе больше!»

В настоящую минуту Макар Григорьев, старик уж лет за шестьдесят, с оплывшими руками, с большим животом, в одной рубахе и плисовых штанах, стоял нехотя перед своим молодым барином.

— Жена твоя все уверяла отца, что я могу остановиться у тебя,— говорил Павел, видимо, еще занятый своим прежним горем.

— Дура она и бестия, вот что!..— произнес Макар Григорьев досадливым голосом. — Я давно ей обещал язык-то на бревно положить и отрубить топором, чтобы не болтал он много...

Разговор на несколько времени приостановился.

— И папенька-то ваш тоже,— продолжал Макар Григорьев тем же сердитым голосом,— пишет: «Прими сына!» Да что у меня, апартаменты, что ли, какие настроены в Москве?

Последние слова показались Павлу несколько обидными.

— Я у тебя никаких апартаментов и не прошу, а ты мне покажи только, где бы мне поскорей квартиру найти,— проговорил он.

Макар Григорьев сейчас же сдал после того.

— Грамоте-то, чай, изволите знать,— начал он гораздо более добрым и только несколько насмешливым голосом,— подите по улицам и глядите, где записка есть, а то ино ступайте в трактир, спросите там газету и читайте ее: сколько хошь — в ней всяких объявлений есть. Мне ведь не жаль помещения, но никак невозможно этого: ну, я пьяный домой приду, разве хорошо господину это видеть?

— Да ты садись, пожалуйста,— сказал Павел, заме-

тив, наконец, что Макар Григорьевич все чаще и чаще начинает переступать с ноги на ногу.

— И то сяду,— сказал тот, сейчас же садясь. — Старные уж стал; вот тоже иной раз по подряду куда придешь — постоишь маненько и сядешь. «Нет-мо, баря, будет; постоял я перед вами довольно!..»

— Скажи, ты не бывал здесь у Еспера Иваныча Имплева? Он болен и приехал сюда лечиться,— спросил Павел.

— Нет, не бывал!.. В Новоселках, когда он жил у себя в деревне, захаживал к нему; сколько раз ему отседова книг, по его приказанью, высылал!.. Барин важный!.. Только вот, поди ты: весь век с ключницей своей, словно с женой какой, прожил.

— Чт́о же, если он любил ее,— возразил Павел грустным тоном.

— Чт́о — любил!.. Вздор! Разве барин может любить девку простую, горничную...

— Отчего ж не может?

— Оттого, что она — дура, тварь!.. Всякий должен рубить дерево по себе.

— Ну, Анна Гавриловна — никак уж не дура и не тварь,— возразил Павел, удивленный таким сильным определением. — А сам ты никогда разве не любил? — прибавил он с полуулыбкой.

— Я?.. Нет!.. — отвечал Макар Григорьев серьезнейшим образом. — Я завсегда терпеть не мог этого... Заплатил деньги и баста — марш! Чтоб и духу ее не было.

— А побочная дочь Еспера Иваныча вышла замуж или нет? — продолжал спрашивать Павел, делая вид, что как будто бы он все это говорит от нечего делать.

— Надо быть, что вышла,— отвечал Макар.— Кучеренко этот ихний прибегал ко мне; он тоже сродственником как-то моим себя почитает и думал, что я очень обрадуюсь ему: ай-мо, батюшка, какой дорогой гость пожаловал; да стану ему угощенье делать; а я вон велел ему заварить кой-каких спиток чайных, дал ему потом гривенник... «Не ходи, говорю, брат больше ко мне, нé-пошто!» Так он болтал тут что-то такое, что свадьба-то была.

— Была?.. — переспросил Павел.

— Была,— отвечал Макар Григорьев и потом, заме-

тив, что утомление и тоска на лице Павла как бы увеличились, он прибавил: — Что же я за дурак этакой, вам покушать, чай, надо.

— Да, вели мне подать чего-нибудь, что у вас там готовилось,— проговорил Павел.

— Как это возможно, что у нас готовилось!.. Щи какие-нибудь пустые,— возразил Макар Григорьев, вслед за тем встал и, приотворив немного дверь в сени, крикнул: — Эй, Огурцов!

На зов этот в комнату проворно вошел малый — лет двадцати пяти, в одной рубахе, с ремешком в волосах и в хлябающих сапожных опорках на ногах.

— Здравствуйте, батюшка Павел Михайлович,— сказал он с веселым и добрым лицом, подходя к руке Павла.

— Нет, не надо! — отвечал тот, не давая ему руки и целуя малого в лицо; он узнал в нем друга своего детства — мальчишку из соседней деревни — Ефимку, который отлично ходил у него в корню, когда прибегал к нему по воскресеньям бегать в лошадки.

— Вот какой ты стал большой,— сказал ему Павел.

— Да, батюшка Павел Михайлович, и вы ведь тоже выросли,— сказал Ефим с прежним веселым лицом.

— Это что, брат, хвастать-то: осина что ни есть — и та растет! — перебил его Макар Григорьев. — А ты вот что,— продолжал он уж повелительным голосом,— поди в Московский трактир к Печкину,— слышь!.. Вот тебе двадцатипятирублевая!.. — И при этом Макар Григорьев хвастливо вынул из жилетного кармана двадцатипятирублевую бумажку и подал ее Огурцову. — Возьми ты там порцию стерляжьей ухи,— слышь! — самолучшего поросенка под хреном, жареного, какое там есть, и бутылку шипучего-донского!.. Сладенького еще чего-нибудь бы надо — забеги в Охотный ряд к Егорову в лавку и спроси, чтоб фруктов тебе каких-нибудь самолучших дал — десяток.

— Помилуй, куда же ты этакий обед заказываешь! Я решительно не могу всего этого съесть,— воскликнул Павел.

— Вона, не могу! — воскликнул, в свою очередь, Макар Григорьев. — Знаем ведь тоже: приходилось по делам-то нашим угощать бар-то, а своему господину уж не сделать того... Слава тебе господи, сможем, не разо-

римся,— заключил Макар Григорьев и как-то самодовольно усмехнулся.

Огурцов, в тех же опорках и только надев мятуюизмятую поддевку, побежал и очень скоро, хоть не совсем исправно, принес все, что́ ему было приказано: хлеб он залил расплескавшейся ухой, огурец доро́гой уронил, потом поднял его и с песком опять положил на тарелку. Макар Григорьев заметил это и стал его бранить.

— Экой дурак-мужик, эка дура! — И сам между тем принялся так же неаккуратно и неумело расставлять перед Павлом все кушанья; Огурцов тоже помогал ему. Видимо, что оба они желали услужить — и оба не умели.

— Сам-то ты покушай со мною,— сказал Павел Макару.

— Нет, не стану; я ведь уж обедал! — отвечал тот, отворачиваясь и покраснев немного: такое ласковое и бесцеремонное приглашение барина его сконфузило!

Павел стал обедать; уха, поросенок и жареный цыпленок оказались превосходными, но всего этого он съесть, разумеется, не мог.

— Позови стряпушку! — сказал Макар Григорьев Огурцову.

Тот пошел. Павел думал, что придет какая-нибудь женщина, но оказалось, что пришел замаранный мальчишка.

— На́, убери — это барчиково кушанье; чтобы все у меня было цело,— сказал ему Макар Григорьев.

Стряпушка грязными руками принялся захватывать тарелки и уносить их.

— Вино-то откупоренное принес? — обратился Макар Григорьев к стоявшему уже опять Огурцову.

— Откупоренное-с,— отвечал тот.

— Разлей!

Огурцов из шкафчика достал два стакана, из которых один, почище, поставил перед Павлом, а другой, совершенно грязный, перед хозяином, и принялся разливать вино, опасаясь, чтобы не пролить из него капельки.

— Здравия желаем! — проговорил Макар Григорьев, прищуривая глаза и поднося стакан с красным донским ко рту.

— И тебе того же желаю,— отвечал Павел и чокнулся с ним.

— Барин вы наш будущий будете,— властвовать над

нами станете,— продолжал Макар Григорьев почти насмешливым тоном.— В маменьку только больше будете, а не в папеньку,— прибавил он совершенно уже серьезно.

— Почему же в маменьку?

— Да так, потому она была барыня настоящая, христианка... из роду тоже настоящего, хорошего, богатого.

Макар Григорьев преимущественно не уважал полковника за то, что тот был из бедных дворян.

— Отец тоже очень хороший и честный человек,— заметил Павел.

— Не знаю,— отвечал Макар Григорьев, как бы нехотя. — Конечно, что нам судить господ не приходится, только то, что у меня с самых первых пор, как мы под власть его попали, все что-то неладно с ним пошло, да и до сей поры, пожалуй, так идет.

— Я не слыхал этого,— сказал Павел.

— Где вам слышать-то,— возразил Макар Григорьев,— вас и в зачине еще тогда не было. Я сошел толи в деревню... богатым уж я был и в знати... и стал тоже с ним разговаривать. Он начал все солдат хвалить, а мужиков и дворовых — бранить. Я ему и говорю: «Коли, говорю, солдаты больно хороши, так пусть бы с них баря оброки и брали, а то дворовые и мужики их поят и кормят, а они их все бранят». Батюшки мои, затопал, затопал!.. «Высечь его!» — говорит... Только маменька ваша, дай ей бог царство небесное: «Нет, говорит, Миша, прошу тебя — Макара Григорьева не трогай! Человек на человека не приходит... Это его очень обидит»... А он все свое: «Драть его, сечь его!»... Она, голубушка, на колени даже перед ним стала и все просила его: «Ты, говорит, этим Макара Григорьева погубишь навеки!..» И точно, что — отдери он тогда меня, как хотелось ему того, я бы — хоть бросай свое дело; потому, как я спрошу после того с какого-нибудь подчиненного своего али накажу их же пропойцу-мужичонка,— он мне прямо в глаза бухнет: «Ты сам — сеченый!». Все это маменька ваша, видно, рассудила и поняла, потому добрая и умная была,— вы из лица с ней много схожи.

Макар Григорьев говорил все это грубым и почти сердитым голосом, а между тем у него слезы даже выступили на его маленьких и заплывших глазах. Павлу тогда и в голову не приходило, что он в этом старике

найдет себе со временем, в одну из труднейших минут своей жизни, самого верного и преданного друга. В настоящую минуту он почти не слушал его: у него, как гвоздь, сидела в голове мысль, что вот он находится в какой-нибудь версте или двух от Мари и через какие-нибудь полчаса мог бы ее видеть; и он решился ее видеть, будь она там замужем или нет — все равно!

— А что́, можно теперь ехать к Есперу Иванычу?.. Отобедал он или нет? — как бы посоветовался Павел с Макаром Григорьевым.

— Надо быть, что отобедал: вечерни уж были. Съездите, что́ тут вам валяться-то на диване! Послать, что ли, вам камердинера-то вашего?

— Пошли!

Макар Григорьев вышел в мастерскую.

— Вставай! — сказал он, подходя к Ваньке и трогая его слегка ногой.

Ванька не пошевелился даже.

— Вставай! — повторил Макар Григорьев уже сердито и толкнул Ваньку ногой довольно сильно.

Ванька обнаружил легкое движенье.

— Вставай, черт этакой! — крикнул наконец Макар Григорьев и двинул Ваньку что̀ есть силы ногой; но Ванька и при этом повернулся только вверх лицом и раскинулся как-то еще нежнее.

— Огурцов, растолкай его! — крикнул почти в бешенстве Макар Григорьев работавшему тут же Огурцову.

Огурцов на это схватил Ваньку за шиворот и принялся его трясти.

— Вытащи его, лешего, на крыльцо,— авось там скорей очнется! — кричал Макар Григорьев.

Огурцов поволок Ваньку по полу.

— Пьян, что ли, он, дьявол? — рассуждал Макар Григорьев.

У дверей Ванька встал наконец на ноги и, что-то пробурчав себе под нос, почти головой отворил дверь и вышел. Через несколько минут после того он вошел, с всклоченной головой и с измятым лицом, к Павлу.

— Что вам надо? — спросил он его сердито.

— Давай мне одеваться,— сказал Павел.

Ванька принялся вынимать или, лучше сказать, выбрасывать из чемодана разные вещи.

— Что̀ же ты все раскладываешь? — заметил ему Павел.

— Я не знаю, что вам надо,— отвечал Ванька угрюмо. Он очень уж разгневался, зачем его разбудили.

— Мне надо сюртук и чистую рубашку.

Ванька вынул, что̀ ему было сказано, а потом, проводив барина и нисколько не прибрав разбросанных из чемодана вещей, сейчас же отправился на свою осоку, улегся на ней и мгновенно захрапел.

II

ВИЗИТ К ЕСПЕРУ ИВАНОВИЧУ

Только души праздные и спокойные могут наслаждаться новыми местами и новыми городами. Павел, со своими душевными страданиями, проезжая по Газетному переулку, наполненному магазинами, и даже по знаменитой Тверской, ничего почти этого не видел, и, только уже выехав на Малую Дмитровку, он с некоторым вниманием стал смотреть на дома, чтобы отыскать между ними дом княгини Весневой, в котором жил Еспер Иваныч; случай ему, в этом отношении, скоро помог. На спине одного из сфинксов, поставленных на крыльце довольно затейливого барского дома, он вдруг увидел сидящим Ивана Иваныча, камердинера дядина.

— Ай, батюшка Павел Михайлович! — воскликнул тот радостно, когда Павел подъехал к этому крыльцу.

— Дядя здесь живет? — спросил его Павел.

— Здесь!

— Примет он меня?

— Примет-с,— отвечал Иван Иваныч и повел Па̀вла в нижний этаж дома. В зале и гостиной Павел увидел несколько хорошо знакомых ему предметов: все почти картины новоселковские, оттуда же часы столовые, катальное кресло Еспера Иваныча и, наконец, фортепьяно Мари. Мысль, что она не вышла еще замуж и что все эти слухи были одни только пустяки, вдруг промелькнула в голове Павла, так что он в комнату дяди вошел с сильным замиранием в сердце — вот-вот он ее увидит,— но, увы, увидел одного только Еспера Иваныча, сидящего хоть и с опустившейся рукой, но чрезвычайно гладко выбритого, щеголевато одетого в шелковый халат и кругом обложенного книгами.

Больной очень ему обрадовался.

— А, господин скубент! — воскликнул он с просиявшим лицом.

Павел, по обыкновению, поцеловал у дяди руку.

— В университет поступил? — продолжал Еспер Иваныч, сминая не совсем послушно покорявшийся ему язык.

— Поступаю еще!.. В гимназии экзамен выдержал... Вам лучше, я вижу, дядя.

— Да, благодарю бога!

Павел стал осматривать комнату Еспера Иваныча, которую, видимо, убирало чье-то утонченное внимание. По стенам шли мягкие без дерева диваны, пол был покрыт пушистым теплым ковром; чтобы летнее солнце не жгло, на окна были опущены огромные маркизы; кроме того, небольшая непритворенная дверь вела на террасу и затем в сад, в котором виднелось множество цветов и растений.

— Как у вас тут, дядя, хорошо,— совершенный рай! — произнес Павел, пораженный приятностию этого вида и ароматичностью навевающегося из сада воздуха.

— Хорошо,— согласился Еспер Иваныч.— А что̀ твой отец, все в деревне живет?

— В деревне; кланяться вам велел,— отвечал Павел.

Он чувствовал, что простая вежливость заставляла его спросить дядю о Мари, но у него как-то язык на это не поворачивался. Мысль, что она не вышла замуж, все еще не оставляла его, и он отыскивал глазами в комнате какие-нибудь следы ее присутствия, хоть какую-нибудь спицу от вязанья, костяной ножик, которым она разрезывала книги и который обыкновенно забывала в комнате дяди,— но ничего этого не было видно.

— Маша замуж вышла,— сказал наконец сам Еспер Иваныч.

— Да, слышал-с,— отвечал Павел. В голосе его, против воли, высказалось неудовольствие, и Еспер Иваныч, как кажется, понял это, потому что больше об этом не продолжал уже разговора.

— Посмотри, какая собака отличная!..— сказал он, показывая Павлу на стоявшую на шкафе, в самом деле, превосходно сделанную собаку из папье-маше.

— Прекрасная,— отвечал тот, взглянув на игрушку.

— Мордочка совершенно как у живой собаки, а ребра-то как напряглись и напружились,— перечислял с удовольствием Еспер Иваныч.

— Отличная работа,— подтвердил и Павел.

Прежнее эстетическое чувство заменилось теперь в Еспере Иваныче любовью к изящным игрушкам; кроме собаки, у него еще была картина с музыкой, где и танцевали, и пилили, и на скрипке играли; и на все это он смотрел иногда по целым часам неотстанно.

В комнату между тем вошел ливрейный лакей.

— Княгиня просит: может она вас видеть или нет? — спросил он.

— Весьма рад ей, душевно рад,— произнес Еспер Иваныч, склоняя немного голову.

Лакей ушел.

Через несколько минут в комнату вошла, слегка тряся головой, худощавая старушка с лицом, похожим на печеное яблоко.

— Здравствуйте, друг мой! — сказала она, подходя и целуя Еспера Иваныча в плечо.

— Здравствуйте,— сказал он ей с улыбкой.

— Я зашла, друг мой, взглянуть на вас; а вы, однако, я вижу, опять целый день читали,— продолжала старушка, садясь невдалеке от Еспера Иваныча.

— Опять,— отвечал он с улыбкой.

— Я вот велю у вас все книги обобрать,— заключила старушка и погрозила ему своим маленьким пальцем, а сама в это время мельком взглянула на Павла.

Еспер Иваныч сейчас заметил это и объяснил ей:

— Это племянник мой, сын старого ветерана полковника.

— Вот кто! — произнесла добродушно княгиня и ласково посмотрела на Павла.— Я теперь еду, друг мой, на вечер к генерал-губернатору... Государя ждут... Естафет пришел.

— Ну вот и хорошо это,— произнес Еспер Иваныч.

— Как не хорошо, помилуй, друг мой!.. Через неделю будут Бородинские маневры, надобно же ему все заранее осмотреть. Прусский король и австрийский император, говорят, сюда едут на маневры.

— Что̀ же это они священный союз, что ли, хотят вспомнить? — заметил Еспер Иваныч.

— Вероятно... Машу Кривцову, помните, я к вам приводила... хорошенькая такая... фрейлиной ее сделали. Она старухе Тучковой как-то внучкой приходится; ну, а у этой

ведь три сына под Бородиным были убиты, она и писала государю, просила за внучку; ту и сделали для нее фрейлиной.

— И следовало сделать,— проговорил Еспер Иваныч.

— Еще бы!..— проговорила княгиня. У ней всегда была маленькая наклонность к придворным известиям, но теперь, когда в ней совершенно почти потухли другие стремления, наклонность эта возросла у ней почти в страсть. Не щадя своего хилого здоровья, она всюду выезжала, принимала к себе всевозможных особ из большого света, чтобы хоть звук единый услышать от них о том, что там происходит.

— А Аннушка к Маше ушла? — спросила она заметно торопливым тоном и осматривая глазами комнату.

— Да,— отвечал Еспер Иваныч.

— Ну, я хоть карлицу пришлю к вам, посмешит она вас, а теперь прощайте! — заключила княгиня, вставая.

— Рано бы еще,— заметил ей Еспер Иваныч.

— Ах, друг мой, я с год еду! — все шагом: не могу, боюсь! — воскликнула княгиня, а между тем нетерпение явно уже отразилось во всей ее маленькой фигуре.

Тряся слегка головою, она встала и пошла. Возвестивший о ее приходе лакей встретил ее уже одетый в ливрейную шинель и шляпу, а в сенях к нему пристал еще лакей в такой же форме; они бережно посадили княгиню в карету и сами стали на запятки. В карету запряжена была четверня старых вороных лошадей, управляемых здоровенным кучером и огромным форейтором,— и все это, в самом деле, тронулось шагом. Павел, видевший всю сцену из окна, не мог в душе не рассмеяться этому, но вот послышались еще шаги, только гораздо более твердые.

— Это Аннушка. Спрячься! — сказал Еспер Иваныч торопливо Павлу, показывая ему головой на драпировку.

Павел сначала и не понял его.

— Спрячься, пожалуйста, напугаем ее! — повторил Еспер Иваныч почти упрашивающим голосом.

Как ни не хотелось Павлу, однако он исполнил желание дяди и спрятался за драпировку.

Анна Гавриловна вошла вся раскрасневшаяся.

— Ой, как устала! — начала она своим развязным тоном.— Шла-шла по этим проклятым переулкам, словно и конца им нет!

— Что̀ же извозчика не взяла, ништо тебе! — сказал ей Еспер Иваныч с укором.

— Не люблю я этих извозчиков!.. Прах его знает — какой чужой мужик, поезжай с ним по всем улицам! — отшутилась Анна Гавриловна, но в самом деле она не ездила никогда на извозчиках, потому что это казалось ей очень разорительным, а она обыкновенно каждую копейку Еспера Иваныча, особенно когда ей приходилось тратить для самой себя, берегла, как бог знает что̀.

— А вот за то, что ты побоялась мужика, мы покажем тебе привидение!.. Прекрасный незнакомец, выйди! — обратился Еспер Иваныч к драпировке.

Павел вышел из-под нее, очень довольный, что засада его наконец кончилась.

— Ай, батюшки, кто это! — воскликнула Анна Гавриловна, в самом деле испугавшись.

Еспер Иваныч от души смеялся этому.

— Вот не гадано, не думано! — продолжала Анна Гавриловна, поуспокоившись.— Давно ли изволили приехать? — прибавила она, обращаясь с своей доброй улыбкой к Павлу.

— Сегодня,— отвечал тот ей, стараясь насильно улыбнуться.

— А что̀,— продолжала Анна Гавриловна после некоторого молчания и как бы насмешливым голосом,— не видали ли вы нашей Клеопатры Петровны Фатеевой?

— Видел,— отвечал Павел. Ему показалось, что скрыть это было бы какой-то трусостью с его стороны.

— Слышали, какую она штуку отпустила,— уехала от мужа-то?

— И прекрасно сделала: не век же ей было подставлять ему свою голову! — произнес Павел серьезно. Он видел, что Анна Гавриловна относилась к m-me Фатеевой почему-то не совсем приязненно, и хотел в этом случае поспорить с ней.

— Что̀ тут прекрасного-то? — воскликнула, в свою очередь, Анна Гавриловна.— Зачем же она обобрала-то его, почесть что ограбила?

— Кто же его обирал? — спросил сердито Павел.

— Как кто? Этакого слабого человека целую неделю поймя поили, а потом стали дразнить. Господин Постен в глазах при нем почесть что в губы поцеловал Клеопатру Петровну... его и взорвало; он и кинулся с ножом, а тут на-

брали какой-то сволочи чиновничишков, связали его и стали пужать, что в острог его посадят; за неволю дал вексель, чтобы откупиться только... Так разве благородные господа делают?

Павел грустно и ядовито улыбнулся.

— Не знаю, Анна Гавриловна,— начал он, покачивая головой,— из каких вы источников имеете эти сведения, но только, должно быть, из весьма недостоверных; вероятно — из какой-нибудь кухни или передней.

Анна Гавриловна при этом немного покраснела.

— Действительно,— продолжал Павел докторальным тоном,— он бросился на нее с ножом, а потом, как все дрянные люди в подобных случаях делают, испугался очень этого и дал ей вексель; и она, по-моему, весьма благоразумно сделала, что взяла его; потому что жить долее с таким пьяницей и негодяем недоставало никакого терпения, а оставить его и самой умирать с голоду тоже было бы весьма безрассудно.

— Да этот бы господин Постен и содержал ее и кормил, коли очень ее любит! — возразила Анна Гавриловна.

— Что любит ее или нет господин Постен — этого я не знаю; это можно говорить только гадательно; но что господин Фатеев погубил ее жизнь и заел весь ее век — это всем известно.

— Так, да,— подтвердил эти слова Павла и Еспер Иваныч.

— Век ее заел! — воскликнула Анна Гавриловна.— А кто бы ее и взял без него!.. Приехавши сюда, мы все узнали: княгиня только по доброте своей принимала их, а не очень бы они стоили того. Маменька-то ее все именье в любовников прожила, да и дочка-то, верно, по ней пойдет.

— Опять и это тоже вопрос,— возразил Павел,— что̀ хуже: проживаться ли в любовников или наживаться от них? Первое еще можно объяснить пылким темпераментом, а второе, во всяком случае, значит — продавать себя.

Анна Гавриловна опять немного покраснела; она очень хорошо поняла, что этот намек был прямо на нее сказан. Еспер Иваныч начал уже слушать этот разговор нахмурившись.

— Она там сама делай — что хочет,— начала снова Анна Гавриловна,— никто ее не судит, а других, по крайней мере, своим мерзким языком не марай.

— Кого же она марала? — спросил Павел.

— Да нашу Марью Николаевну и вас — вот что!..— договорилась наконец Анна Гавриловна до истинной причины, так ее вооружившей против Фатеевой.— Муж ее как-то стал попрекать: «Ты бы, говорит, хоть с приятельницы своей, Марьи Николаевны, брала пример — как себя держать», а она ему вдруг говорит: «Что ж, говорит, Мари выходит за одного замуж, а сама с гимназистом Вихровым перемигивается!»

Еспер Иваныч еще более при этом нахмурился. Ему, по всему было заметно, сильно не нравилось то, что говорила Анна Гавриловна, бывшая обыкновенно всегда очень осторожною на словах, но теперь явившаяся какой-то тигрицей...

Что делать — мать, и детеныша ее тронули!

— И это, вероятно, сплетня из какого-нибудь весьма неблаговидного источника! — произнес Павел и более уже не говорил об этом предмете.

Все, что он на этот раз встретил у Еспера Иваныча, явилось ему далеко не в прежнем привлекательном виде: эта княгиня, чуть живая, едущая на вечер к генерал-губернатору, Еспер Иваныч, забавляющийся игрушками, Анна Гавриловна, почему-то начавшая вдруг говорить о нравственности, и наконец эта дрянная Мари, думавшая выйти замуж за другого и в то же время, как справедливо говорит Фатеева, кокетничавшая с ним.

Безумец! Он не подозревал, что только эта Мари и придавала прелесть всему этому мирку; но ангел, оживлявший его, отлетел из него, и все в нем стало пустынно!

III

ВИЗИТ К МАРИ

Павел выехал от Еспера Ивановича часу в одиннадцатом. За душным днем следовала и душная ночь. На Тверской Павлу, привыкшему вдыхать в себя свежий провинциальный воздух, показалось, что совсем нечем дышать; а потом, когда он стал подъезжать к Кисловке, то в самом деле почувствовал какой-то кислый запах, и чем более он приближался к жилищу Макара Григорьева, тем запах этот увеличивался. Обстоятельство это легко объяснялось тем, что почтеннейший подрядчик взялся исправить на весь Охотный ряд капустные кадки, которые, по крайней

мере в количестве пятисот, стояли у него на дворе и благоухали. В комнате своей, тоже сильно пропитанной этим запахом, Павел, сверх всякого ожидания, застал Ваньку сидящим у дверей и исправнейшим образом дожидающимся его. Ваньку очень уж напугал Макар Григорьев. Возвратившись домой, по обыкновению, немного выпивши, он велел Ваньку, все еще продолжавшего спать, тому же Огурцову и тем же способом растолкать, и, когда Ванька встал, наконец, на ноги и пришел в некоторое сознание, Макар Григорьев спросил его:

— Что ты в Москву дрыхнуть приехал али делать какое дело?

— Какое дело-то делать? — спросил было Ванька, сначала довольно грубо.

— Какое дело делать! — повторил Макар Григорьев.— А вот я тебя сейчас рылом ткну: что, барина платье надо было убрать, али нет?

— Я уберу,— отвечал Ванька и пошел было убирать.

— Нет, ты погоди, постой! — остановил его Макар Григорьев.— Оно у тебя с вечерен ведь так валяется; у меня квартира не запертая — кто посторонний ввернись и бери, что хочешь. Так-то ты думаешь смотреть за барским добром, свиное твое рыло неумытое!

— Что вы ругаетесь? — поокрысился было Ванька.

— Я ругаюсь?.. Ах, ты, бестия этакой! Да по головке, что ли, тебя за это гладить надо?..— воскликнул Макар Григорьев.— Нет, словно бы не так! Я, не спросясь барина, стащу тебя в часть и отдеру там: частный у меня знакомый — про кого старых, а про тебя новых розог велит припасти.

— За что же меня в часть-то тащить? — произнес Ванька более укоряющим голосом и опять пошел было.

— Нет, ты погоди, постой! — остановил его снова Макар Григорьев.— Барин теперь твой придет, дожидаться его у меня некому... У меня народ день-деньской работает, а не дрыхнет,— ты околевай у меня, тут его дожидаючись; мне за тобой надзирать некогда, и без тебя мне, слава тебе, господи, есть с кем ругаться и лаяться...

Макар Григорьев, в самом деле, каждый вечер какую-то органическую потребность чувствовал с кем-нибудь из своих подчиненных полаяться и поругаться.

— Золото какое привезли в Москву, содержи, корми его на московских-то харчах,— велика услуга от него бу-

дет! — бормотал он и затем, уйдя в свою комнатку, затворил в ней сердито дверь, сейчас же разделся и лег.

— Справедливое слово, Михайло Поликарпыч,— дворовые — дармоеды! — продолжал он и там бунчать, выправляя свой нос и рот из-под подушки с явною целью, чтобы ему ловчее было храпеть, что и принялся он делать сейчас же и с замечательной силой. Ванька между тем, потихоньку и, видимо, опасаясь разбудить Макара Григорьева, прибрал все платье барина в чемодан, аккуратно постлал ему постель на диване и сам сел дожидаться его; когда же Павел возвратился, Ванька не утерпел и излил на него отчасти гнев свой.

— Меня, Павел Михайлович, извольте отпустить домой,— сказал он.

— Зачем? — спросил Павел больше механически.

— Да помилуйте, Макар Григорьич за что-то хочет меня бить и сечь. «Я, говорит, и без барина буду тебя драть, когда хочу!»

— Что за вздор такой! Оставь меня!..— сказал Павел, которому в настоящую минуту было вовсе не до претензии Ивана.

— Что оставить-то! Много будет, как каждый будет наказывать, кто хочет.

— Оставь меня, пожалуйста, прошу тебя! — произнес Павел почти умоляющим голосом.

— Сечь-то, по крайности, не прикажите ему меня, помилуйте! — не отставал Ванька.

— Ну, не прикажу,— успокоил его Павел.

— А то всякая шваль будет над тобой куражиться,— заключил Ванька уже хвастливо и ушел.

По трусоватости своей Ванька думал, что Макар Григорьев в самом деле станет его сечь, когда только ему вздумается, и потому, по преимуществу, хотел себя оградить с этой стороны.

Оставшись один, Павел непременно думал заснуть, потому что он перед тем только две ночи совершенно не спал; но, увы, диван — от положенной на нем аккуратно Ванькой простыни — не сделался ни шире, ни покойнее. Кроме того, в комнате была духота нестерпимая, и Макар Григорьев неумолкаемо и отвратительно храпел. Павел ворочался и метался, и чем более проходило времени, тем больше у него голова горела и нервы расстраивались. Как все впечатлительные люди, он стал воображать, что

мучениям его и конца не будет и что вся жизнь его пройдет в подобном положении. «Стоило семь лет трудиться,— думал он,— чтобы очутиться в удушающей, как тюрьма, комнате, бывать в гостях у полуидиота-дяди и видеть счастье изменившей женщины! Нет, уж лучше — смерть, чем жизнь такая!» — думал он.

Но вот, наконец, появилась заря и показалось — вероятно, там где-то вдали за городом — солнце, потому что заблистали кресты на некоторых церквах. Павел, почти в бешенстве, вскочил со своей постели и что есть силы отворил окно. Посвежевший к утру воздух благодетельно подул на него, послышался звон к заутрени; Макар Григорьев по-прежнему продолжал отвратительно храпеть. Павел, чтоб спастись от одного этого храпа, решился уйти к заутрени и, сам не зная — куда пришел, очутился в церкви девичьего Никитского монастыря. Несколько красивых и моложавых лиц монахинь, стоявших назади церкви, и пение невидимых клирошанок на хорах возбудили в нем мысль о женщине и о собственной несчастной любви. «А сколько между ними есть этого задушенного и затаенного чувства,— думал он.— А что, если бы и ему сделаться монахом? Прежде, разумеется, надобно кончить курс в университете, потому что монах необразованный ужасен, а образованный,— напротив, это высшее, что может себе человек выбрать на земле». В такого рода размышлениях Павел простоял всю службу и домой возвратился еще более утомленный, но в прохладной атмосфере храма значительно освежившийся. Макара Григорьева тоже, к счастью, не было дома. Он, как проснулся, немедля же ушел в трактир чай пить и объявил своему Огурцову, что он целый день домой не придет: ему тоже, как видно, сильно было не по нутру присутствие барина в его квартире. Павел снова прилег на свою постель и сейчас же заснул, и проспал часов до двенадцати, так что даже Ванька, и сам проспавший часов до десяти, разбудил его и проговорил ему с некоторым укором:

— Что больно долго спите? Первый час уж.

Павел велел дать себе умываться и одеваться в самое лучшее платье. Он решился съездить к Мари с утренним визитом, и его в настоящее время уже не любовь, а скорее ненависть влекла к этой женщине. Всю дорогу от Кисловки до Садовой, где жила Мари, он обдумывал раз-

ные дерзкие и укоряющие фразы, которые намерен был сказать ей.

Войдя в переднюю ее дома, он встретившему его денщику сказал почти повелительно:

— Скажи madame Эйсмонд (фамилия Мари по мужу), что к ней приехал Вихров!

Денщик пошел докладывать.

Павел, взглянув в это время мельком в зеркало, с удовольствием заметил, что лицо его было худо и бледно. «Авось хоть это-то немножко устыдит ее»,— подумал он. Денщик возвратился и просил его в гостиную. Мари в первую минуту, как ей доложили о Павле, проворно привстала со своего места.

— Ах, боже мой! — воскликнула она радостно и почти бегом было побежала гостю навстречу, но в дверях из гостиной в залу она, как бы одумавшись, приостановилась. Павел входил, держа себя прямо и серьезно.

— Мужа моего нет дома; он сейчас уехал,— говорила Мари, не давая, кажется, себе отчета в том, к чему это она говорит, а между тем сама пошла и села на свое обычное место в гостиной. Павел тоже следовал за ней и поместился невдалеке от нее.

— Куда же ваш супруг уехал? — спросил он как-то грубо и порывисто.

— Он уехал в лагерь. Он в лагере и жить бы должен был, и только по случаю женитьбы отпросился, чтобы ему позволили жить в городе,— говорила Мари.

Павел на это ей ничего не сказал и стал насмешливо оглядывать гостиную Мари, которая, в сущности, напоминала собой гостиные всех, я думаю, на свете молодых из военного звания. Новая, навощенная и — вряд ли не солдатскими руками — обитая мебель; горка с серебром, накупленным на разного рода экономические остатки; горка другая с вещами Мари, которыми Еспер Иваныч наградил ее очень обильно, подарив ей все вещи своей покойной матери; два — три хорошеньких ковра, карселевская лампа и, наконец, столик молодой с зеркалом, кругом которого на полочках стояли духи; на самом столе были размещены: красивый бювар, перламутровый нож для разрезания книг и черепаховый ящик для работы. Все это Павлу, не видавшему почти никогда парадного и свежего убранства комнат, показалось бог знает какою роскошью.

«Да, мне теперь не удивительно, что она продала себя за все это»,— думал он с презрением о Мари.

— А скажите, далеко ли этот лагерь, куда ваш супруг уехал? — спросил он ее.

— Версты три от города,— отвечала она.

— Что же, он уехал туда на тройке ухарской, лихой, с колокольчиками и бубенчиками?

— О, нет, напротив, на старой и очень смирной паре, на которой и я езжу,— отвечала Мари.

Она очень хорошо понимала, что Павел все это говорит в насмешку.

— На какой же ты факультет поступаешь? — спросила она его, чтобы замять разговор о муже.

— И сам еще не знаю! — отвечал Павел, но таким тоном, которым явно хотел показать, что он — не то что сам не знает, а не хочет только говорить ей об этом.

— Ты, однако, прежде хотел поступить на математический с тем, чтобы идти в военную службу,— продолжала Мари с участием.

— Мало ли что я прежде хотел и предполагал! — отвечал Павел намекающим и злобным голосом.— Я уж не ученым, а монахом хочу быть,— прибавил он с легкою усмешкою.

— Монахом? — переспросила Мари.

— Да,— отвечал Павел, потупляясь.

Он чувствовал некоторую неловкость сказать об этом Мари; в то же время ему хотелось непременно сказать ей о том для того, чтобы она знала, до чего она довела его, и Мари, кажется, поняла это, потому что заметно сконфузилась.

— Что же, очень интересным монахом будешь,— сказала она, держа глаза опущенными в землю.

— Я не для того иду,— возразил ей Павел сурово.

— Что же, чтобы спастись?

— Да, чтобы спастись...

— Я не замечала, чтобы ты так был религиозен...

— Вы многого не замечали или, лучше сказать, не хотели замечать,— проговорил Павел.

Мари слегка покраснела.

— Знаешь что?..— начала она, после некоторого молчания.— Ты прежде гораздо лучше был.

— Чем же?

— Тем, что ты был такой добрый, милый...

— А теперь — что же?

— А теперь — злой.

Павел усмехнулся.

— Играя с тигренком, вы никогда не воображали, что он будет когда-нибудь со временем и тигром.

— Никогда я с тобой не играла,— произнесла Мари серьезно,— а всегда тебе желала счастья, как желала бы его собственному сыну.

Павел слегка, но насмешливо, преклонил пред ней свою голову.

— Мне остается только благодарить вас за все это,— проговорил он.

Мари на это ничего ему уж и не возразила: она, кажется, боялась, чтобы он не сказал ей какой-нибудь еще более грубой дерзости.

Павел, вскоре после того, встал и начал раскланиваться.

Мари тоже встала.

— Я надеюсь, что ты будешь у нас бывать,— проговорила она, не глядя ему в глаза и держа руки сложенными.

— Бывать я у вас должен,— начал Павел неторопливо,— этого требует приличие, но я просил бы вас сказать мне, в какой именно день вы решительно не бываете дома, чтобы в этот именно день мне и бывать у вас?

Слова эти, видимо, оскорбили и огорчили Мари.

— Если ты этого непременно желаешь, то мы не бываем дома во вторник, потому что обедаем и целый день проводим у матери мужа,— проговорила она, не изменяя своего положения.

— Прекрасно-с! — произнес Павел.— Теперь второе: у Еспера Иваныча я тоже должен бывать, и потому я просил бы вас сказать мне, в какой именно день вы решительно не бываете у него, чтоб этот день мне и выбрать для посещения его?

— У Еспера Ивановича мы решительно не бываем в субботу, потому что в этот день собираются у нас,— проговорила Мари.

— Ну-с, так, так, значит, и будем являться. До свиданья! — И Павел протянул Мари руку; она ему тоже подала свою, но — довольно холодно.

— Муж мой, может быть, захочет быть у тебя, но пожелаешь ли ты этого? — спросила она его несколько даже гордым тоном.

— Сделайте милость, очень буду рад! — отвечал Павел и, тряхнув кудрями, раскланялся и ушел.

Мари, оставшись одна, задумалась. «Какой поэтический мальчик!» — произнесла она сама с собою.— «Но за что же он так ненавидит меня?» — прибавила она после короткого молчания, и искренняя, непритворная грусть отразилась на ее лице.

IV
НОМЕРА МАДАМ ГАРТУНГ

Павел вышел от Эйсмонд в каком-то злобно-веселом расположении духа. Всякая любовь, какая бы она ни была, счастливая или несчастливая,— все-таки есть некоторого рода нравственные путы, но теперь Павел почувствовал себя совершенно свободным от них. В воображении его, представляющем, обыкновенно, каждому человеку его будущность, рисовались только университет и некоторая темная мысль о монашестве. Чтобы бог подкрепил его на подвиги в новой жизни, он прежде всего хотел зайти к Иверской и помолиться. Здесь он весьма внимательно прочитал вывешенную к сему образу молитву, и, как ему показалось, большая часть слов из нее очень близко подходили к его собственным чувствованиям. Он не без любопытства также посмотрел и на монахов, служивших молебен. Лицо у отца иерея оказалось полное и красное, а у послушника — хоть и худощавое, но сильно глуповатое. В дверях часовни Павел увидел еще послушника, но только совершенно уж другой наружности: с весьма тонкими очертаниями лица, в выражении которого совершенно не видно было грубо поддельного смирения, но в то же время в нем написаны были какое-то спокойствие и кротость; голубые глаза его были полуприподняты вверх; с губ почти не сходила небольшая улыбка; длинные волосы молодого инока были расчесаны с некоторым кокетством; подрясник на нем, перетянутый кожаным ремнем, был, должно быть, сшит из очень хорошей материи, но теперь значительно поизносился; руки у монаха были белые и очень красивые. Когда Павел вышел из часовни, монах тоже вышел вслед за ним и, к удивлению Павла, надел на голову не клобук, не послушническую шапку, а простую поношенную фуражку.

«Это что такое значит?» — подумал Вихров и пошел вслед за монахом. Тот направился к Александровскому саду и под ближайшим более тенистым деревом сел. Павел тоже поместился рядом с ним. Монах своим кротким и спокойным взором осмотрел его.

— Вы, вероятно, послушник? — спросил его Павел.

— Я? — переспросил, в свою очередь, незнакомец.— Я не монах даже,— прибавил он.

— Но ваша одежда?..— заметил ему Павел.

— Одежду я такую ношу, потому что она мне нравится.

— Но что же в ней может нравиться?

Незнакомец слегка усмехнулся.

— По моему мнению,— начал он неторопливо,— для человеческого тела существуют две формы одежды: одна — испанский колет, обтягивающий все тело, а другая — мешок, ряса, которая драпируется на нем. Я избрал последнюю!

«Да это в самом деле не монах!» — подумал Павел, услыхав такого рода ответ.

— Но какое же собственно ваше звание и фамилия ваша? — спросил он незнакомца с несколько уже провинциальным любопытством.

— Фамилия моя — Неведомов, а звание — дворянин и кандидат здешнего университета; а ваша фамилия?

— Моя фамилия — Вихров. Я тоже поступаю в университет и теперь вот ищу квартиру, где бы я мог остановиться вместе с студентами.

Неведомов несколько времени оставался как бы в размышлении.

— У нас есть несколько пустых номеров,— произнес он.

— Ах, сделайте одолжение, я очень буду рад с вами жить,— подхватил Павел простодушно. Ему начал его новый знакомый уже нравиться.— А скажите, это далеко отсюда?

— Нет, вот тут на Тверской; пойдемте, посмотрите!

— С величайшим удовольствием!

И молодые люди пошли. Войдя на Тверскую, они сейчас повернули в ворота огромного дома и стали взбираться по высочайшей и крутейшей лестнице.

— Лестница ужасная,— произнес Павел.

— Да, порядочная, но она нам заменяет горы; а горы, вы знаете, полезны для развития дыхательных ор-

ганов,— ответил Неведомов.— Вот свободные нумера: один, другой, третий!— прибавил он, показывая на пустые комнаты, в которые Павел во все заглянул; и они ему, после квартиры Макара Григорьева, показались очень нарядными и чистыми.

— Эти комнаты отличные! — проговорил он.

— Ну, в таком случае, пойдемте к хозяйке, и вы переговорите с ней,— сказал Неведомов и, подойдя к дверям крайнего номера, произнес: — Каролина Карловна, можно к вам?

— Можно,— отвечал женский голос с несколько нерусским акцентом.

— Я к вам постояльца привел,— продолжал Неведомов, входя с Павлом в номер хозяйки, который оказался очень пространной комнатой. Часть этой комнаты занимал длинный обеденный стол, с которого не снята еще была белая скатерть, усыпанная хлебными крошками, а другую часть отгораживали ширмы из красного дерева, за которыми Каролина Карловна, должно быть, и лежала в постели.

— Вы мой кушанье будете кушать? — произнесла она из-за своей перегородки и, видимо, относясь к Павлу.

— Ваше, и у меня еще человек со мной будет...— проговорил тот.

— С господином Вихровым человек еще будет жить,— перевел Каролине Карловне Неведомов.

— А, это хорошо! Вам будет тоже мой самовар, свечка, вода?

— Ваш самовар, свечка и вода,— повторил Неведомов.

— Это семьдесят рублей в месяц — не меньше.

— Что же, это не дорого? — спросил Павел простодушно Неведомова.

— Нет, не дорого,— отвечал тот, улыбаясь.

— Я согласен,— сказал Павел.

— Господин Вихров согласен,— перевел опять Неведомов Каролине Карловне.

— Только прошу вас задаток мне дать,— произнесла та.

Павел вынул из кармана пятидесятирублевую и подал ее Неведомову.

— Господин Вихров отдал пятьдесят рублей; куда прикажете их положить? — сказал тот.

— Ах, будьте такой добрый, протяните вашу руку с ними в эту дыру, в ширмы! — проговорила Каролина Карловна, гораздо уже более добрым голосом.

Неведомов просунул за ширму руку с деньгами; она их приняла у него.

— А что, вам не лучше? — спросил он.

— Нет, сегодня опять молочная лихорадка, и грудь очень болит,— отвечала Каролина Карловна, нисколько, как видно, не стесняясь.

— Чем эта хозяйка больна? — спросил Павел, когда они с Неведомовым вышли из ее номера.

— Она недавно родила,— отвечал тот ровным голосом.

— Что же, она замужем?

— Нет,— отвечал Неведомов прежним тоном.

— От кого же она родила? — сказал с удивлением Павел.

— Ну, уж это ее спросите,— произнес Неведомов и улыбнулся.

— А где же у нее ребенок? — продолжал спрашивать Павел.

— В воспитательный дом, кажется, она свезла его,— ответил Неведомов.

В это время в одном из номеров с шумом отворилась дверь, и на пороге ее показалась молодая девушка в одном только легоньком капоте, совершенно не застегнутом на груди, в башмаках без чулок, и с головой непричесанной и растрепанной, но собой она была прехорошенькая и, как видно, престройненькая и преэфирная станом.

— Ах, это вы, Николай Семеныч! — воскликнула она.— Послушайте,— прибавила она каким-то капризным тоном и болтая своей полуобутой ножкой,— пошлите, пожалуйста, мне Марфушу; я целый час кричу ее; она не идет.

— А зачем вам нужна так Марфуша? — спросил Неведомов, с явным удовольствием глядя на молодую девушку.

— А затем, чтобы одеться,— отвечала та, приседая перед ним.

— Зачем же вам одеваться? Вы и так хороши,—

продолжал Неведомов. Глаза его явно уже при этом разгорелись.

— Кроме того, я ужасно чаю хочу, а она мне не подает,— подхватила девушка.

— А, вот это причина уважительная,— сказал Неведомов и, подойдя к двери, ведущей вниз в кухню, крикнул: — Марфуша, ступай к Анне Ивановне!

— Сейчас! — послышался голос из низу, и когда вслед за тем горничная прибежала к Анне Ивановне и обе они захлопнули дверь в их номер, Павел спросил Неведомова:

— Кто это еще такая?

— Это одна девица приезжая,— отвечал Неведомов каким-то уважительным голосом.

— Ну, так я пойду за своими вещами,— сказал ему Павел.

— Ступайте, а потом заходите ко мне.

— Непременно! — отвечал Павел и отправился к себе на Кисловку. Он вышел из номеров m-me Гартунг как бы несколько опешенный: все, что он видел там, его очень удивило и поразило. Воспитанный в благочинии семейной и провинциальной жизни, где считалось, что если чиновник — так чиновник, монах — так монах, где позволялось родить только женщинам замужним, где девушек он привык видеть до последнего крючка застегнутыми,— тут он вдруг встретил бог знает что такое! Но как бы то ни было — такая свобода нравов ему была не неприятна!

Заморив наскоро голод остатками вчерашнего обеда, Павел велел Ваньке и Огурцову перевезти свои вещи, а сам, не откладывая времени (ему невыносимо было уж оставаться в грязной комнатишке Макара Григорьева), отправился снова в номера, где прямо прошел к Неведомову и тоже сильно был удивлен тем, что представилось ему там: во-первых, он увидел диван, очень как бы похожий на гроб и обитый совершенно таким же малиновым сукном, каким обыкновенно обивают гроба; потом, довольно большой стол, покрытый уже черным сукном, на котором лежали: череп человеческий, несколько ручных и ножных костей, огромное евангелие и еще несколько каких-то больших книг в дорогом переплете, а сзади стола, у стены, стояло костяное распятие.

— Какое у вас символическое убранство комнаты,—

сказал Павел, не утерпев, хозяину, спокойно сидевшему на гробовом диване.

— Д-да,— протянул тот.— Убранство комнат,— продолжал он с обычной своей мягкой улыбкой,—тоже, как и одежда, может быть двоякое: или очень богатое и изящное — ну, на это у меня денег нет; а потом другое, составленное только с некоторым смыслом, или, как вы очень ловко выразились, символическое.

— Решительно символическое! — повторил Павел, довольный тем, что Неведомов похвалил его выражение.— Череп, вероятно, означает напоминание о смерти?

Неведомов слегка улыбнулся.

— Отчасти; кроме того, я и анатомией люблю немного заниматься,— отвечал он.

— Ну, а евангелие?

Неведомов при этом вопросе уже нахмурился.

— Евангелие,— начал он совершенно серьезным тоном,— я думаю, должно быть на столе у каждого.

— А распятие, конечно, как распятая мысль на кресте,— подхватил Павел.

— Как распятая мысль на кресте,— повторил и Неведомов.

— И наконец Шекспир,— заключил Павел, взглядывая на книгу в дорогом переплете.

— Шекспир,— повторил еще раз Неведомов.

Павлу, по преимуществу, в новом его знакомом нравилось то, что тот, как ему казалось, ни одного шагу в жизни не сделал без того, чтобы не дать себе отчету, зачем и почему он это делает.

— Из Шекспира много ведь есть переводов,— полуспросил, полупросто сказал он, сознаваясь внутренне, к стыду своему, что он ни одного из них не знал и даже имя Шекспира встречал только в юмористических статейках Сенковского, в «Библиотеке для чтения».

— Есть, кажется, перевод Висковатова, потом перевод Карамзина «Юлия Цезаря», и, наконец, Полевой перевел, или, лучше сказать, переделал «Гамлета» Шекспира!..— Последние слова Неведомов произнес уже несколько с насмешкой.

— Шекспир должен быть весь переведен самым точным и добросовестным образом,— проговорил Павел.

Неведомов при этом задумался на довольно продолжительное время.

— Его трудно переводить,— начал он неторопливо.— Я, впрочем,— продолжал он с полуулыбкой и потупляя несколько глаза,— думаю заняться теперь этим и перевести его «Ромео и Юлию».

— Что же, это лучшая его пьеса?— спросил Павел.

— Да, это одно из самых пылких и страстных его произведений, но меня, кроме уж главного ее сюжета — *любви...* а кому же любовь не нравится? (Неведомов при этом усмехнулся.) Меня очень манят к ней,— продолжал он,— некоторые побочные лица, которые выведены в ней.

— А именно?— сказал Павел, желая поддержать этот весьма приятный для него разговор.

— А именно — например, Лоренцо, монах, францисканец, человек совершенно уже бесстрастный и обожающий одну только природу!.. Я, пожалуй, дам вам маленькое понятие, переведу несколько намеками его монолог...— прибавил Неведомов и, с заметным одушевлением встав с своего дивана, взял одну из книг Шекспира и развернул ее. Видимо, что Шекспир был самый любимый поэт его.

— Лоренцо выходит ранним утром и говорит!..

И Неведомов, вслед за тем, смотря в книгу, стал немножко даже декламировать:

«Уже рассвет сквозь бледный пар тумана приветствует убегающую ночь!.. Но прежде, чем взойдет солнце, я должен корзину эту наполнить полезными и вредными травами! Все предметы в мире различны и все равно прекрасны, и каждому дан свой закон, и в каждом благодать и польза есть; но если предмет, изменив своему назначению, изберет себе иной путь, вдруг из добра он обращается во зло. Вот этот цветок, употреби его для обоняния — он принесет пользу; вкуси его — и он — о, чудо перемены! — смертью тебя обледенит, как будто в нем две разнородные силы: одна горит живительным огнем, другая веет холодом могилы; такие два противника и в нас: то — благодать и гибельные страсти, и если овладеют страсти нашею душой, завянет навсегда пленительный цветок».

— Превосходно! — воскликнул Павел, которому сам Неведомов показался в эти минуты таким же монахом-францисканцем, обнимающим своим умом и сердцем всю природу, и особенно его приятно поразили черты лица того, которые загорались какою-то восторженностью и вдохновением, когда он произносил некоторые слова монолога.

— Да-с, недурно,— подтвердил и Неведомов.— Шекс-

пир есть высочайший и, в то же время, реальнейший поэт — в этом главная сила его!

— И Виктор Гюго тоже один из чрезвычайно сильных поэтов! — подхватил Павел. Когда он учился для Мари французскому языку, он все читал Виктора Гюго, потому что это был любимый поэт Мари.

— Это совсем другое! — произнес Неведомов, как бы даже удивленный этим сравнением.— Виктор Гюго больше всего обязан своей славой тому, что явился тотчас после бесцветной, вялой послереволюционной литературы и, действительно, в этом бедном французском языке отыскал новые и весьма сильные краски.

— Как это, например, хорошо его стихотворение,— подхватил Павел, желавший перед Неведомовым немножко похвастаться своим знакомством с Виктором Гюго.— *«К красавице»,* где он говорит, что когда б он богом был, то он отдал бы за ее поцелуй власть над ангелами и над дьяволами... У нас де ля Рю, кажется, перевел это и попался за то.

— Это стихотворение совершенная бессмыслица, помоему,— возразил Неведомов,— если б он богом был, то никогда и не пожелал бы ее поцелуя.

— Ну, это что же? — произнес Павел, совершенно, кажется, несогласный с этим.

— Как что же? — перебил его Неведомов.— Поэзия, в самых смелых своих сравнениях и метафорах, все-таки должна иметь здравый человеческий смысл. У нас тоже,— продолжал он, видимо, разговорившись на эту тему,— были и есть своего рода маленькие Викторы Гюго, без свойственной, разумеется, ему силы.

— Кто же такие? — спросил Вихров.

— Да наши Марлинский, Бенедиктов — это тоже поэты весьма громких и трескучих фраз и весьма малого поэтического содержания.

Павлу очень нравились оба эти писателя, но он уже и высказать того не решился, сознавая, что Неведомов дело это гораздо лучше и глубже его понимает.

В такого рода разговорах они, однако, просидели часов до двенадцати. Наконец, Павел, утомленный разного рода событиями дня, встал.

— До свиданья, позвольте мне бывать у вас и пользоваться вашими наставительными и приятными беседами! — проговорил он почтительным голосом.

— Очень рад буду вам всегда,— сказал Неведомов.

Павел пришел в свой номер в весьма миротворном расположении духа. Ванька его встретил также веселый; он очень уж был рад, что они переехали от Макара Григорьева, которого он сразу же стал ненавидеть и бояться.

— Что, Иван, здесь хорошо? — спросил его Павел, раздеваясь и ложась на постель.

— Хорошо-с. Сейчас я ужинать ходил, щей важных дали похлебать,— отвечал тот и бессовестно в этом случае солгал, потому что ему дали совершенно протухлых щей, так что он едва их доел.

V

СТУДЕНТ САЛОВ

Павел, согласно прежнему своему намерению, поступил на математический факультет. Первую лекцию ему пришлось слушать из аналитики. Когда он пришел в университет, его послали в большую математическую аудиторию. Огромная комната, паркетные полы, светлые ясеневые парты, толпа студентов, из коих большая часть были очень красивые молодые люди, и все в новых с иголочки вицмундирах, наконец, профессор, который пришел, прочел и ушел, как будто ему ни до кого и дела не было,— все это очень понравилось Павлу. Профессор для первого раза объяснил, что такое математический анализ, и Вихров все его слова записал с каким-то благоговением. Затем следовала лекция богословия, в большом уже зале. Собрались все четыре факультета, между которыми много было даже немолодых людей и всевозможных, должно быть, наций. Законоучитель, весьма представительной наружности, в протоиерейской камилавке и с докторским наперсным крестом, уселся на кафедре; такого рода зрелище показалось Павлу просто великолепным. Протоиерей говорил о разных языческих религиях и показывал преимущество над ними христианской веры. Вихров все это знал, но, тем не менее, и эту лекцию записал с буквальною точностью. Через несколько времени профессор словесности уничтожил перед своими слушателями все проходимые ими прежде риторики, говоря: «Милостивые государи! Вас учили, что источники изобретения: кто, что, где и при каких обстоятельствах?.. Но я вас спрашиваю, милостивые государи, кто, сев писать сочинение, станет за-

давать себе подобные вопросы, и каково выйдет сочинение, изобретенное подобным образом?.. Источники изобретения, милостивые государи,— это внутренний нравственный мир человека и окружающая его среда: вот что дает вдохновение и материал художнику!»

Молодой студент мой и с этим был совершенно согласен. Когда он возвращался домой из университета, с приобретенным им умственным сокровищем, ему казалось, что все на него смотрят, как на будущего ученого. Дома он сейчас же принимался все записанные лекции переписывать набело, заучивать их наизусть. Недели через две, потом, у него явилось новое занятие или, лучше сказать, увлечение. Тот же профессор словесности задал студентам темы для сочинений. Вихров ужасно этому обрадовался и выбрал одну из них, а именно: *«Поссевин в России»,* и сейчас же принялся писать на нее. Еще и прежде того, как мы знаем, искусившись в писании повестей и прочитав потом целые сотни исторических романов, он изобразил пребывание Поссевина в России в форме рассказа: описал тут и царя Иоанна, и иезуитов с их одеждою, обычаями, и придумал даже полячку, привезенную ими с собой. Целые две недели Вихров занимался над этим трудом и наконец подал его профессору, вовсе не ожидая от того никаких особых последствий, а так только потешил, в этом случае, натуру свою. Невдолге после того профессор стал давать отчет о прочитанных им сочинениях. Он их обыкновенно увозил из университета на ломовом извозчике и на ломовом же извозчике и привозил. Взойдя на кафедру, он был как бы некоторое время в недоумении.

— Милостивые государи,— начал он своим звучным голосом,— я, к удивлению своему, должен отдать на нынешний раз предпочтение сочинению не студента словесного факультета, а математика... Я говорю про сочинение господина Вихрова: *«Поссевин в России».*

У Павла руки и ноги задрожали и в глазах помутилось.

— Господин Вихров! — вызвал уже его профессор.

Павел встал.

Профессор, как бы с большим вниманием, несколько времени смотрел на него.

— В вашем сочинении, не говоря уже о знании факта, видна необыкновенная ловкость в приемах рассказа;

вы как будто бы очень опытны и давно упражнялись в этом.

— Я давно уж пишу! — отвечал Вихров, с дрожащими губами.

— Упражняетесь в этом!.. Прекрасно, прекрасно!.. У вас положительное дарование! — И профессор мотнул Вихрову головой в знак того, чтобы тот садился.

Павел опустился — от волнения он едва стоял на ногах; но потом, когда лекция кончилась и профессор стал сходить по лестнице, Павел нагнал его.

— У меня целая повесть написана,— сказал он,— позвольте вам представить ее!

— Представьте,— сказал профессор, уже с удивлением взглянув на него.

Вихров на следующую же лекцию принес ему свою повесть *«Чугунное кольцо»*.

Профессор взял у него тетрадку.

Целую неделю Вихров горел как на угольях. Профессора он видел в университете, но тот ни слова не говорил с ним об его произведении.

Наконец, после одной лекции он проговорил:

— Господин Вихров здесь?

— Здесь! — отвечал Павел, опять с дрожащими губами.

— Прошу вас сегодня зайти ко мне вечерком; я имею с вами поговорить!

Вихров рад был двадцать — тридцать раз к нему сходить.

«Что-то он скажет мне, и в каких выражениях станет хвалить меня?» — думал он все остальное время до вечера: в похвале от профессора он почти уже не сомневался. Часу в седьмом вечера, он почти бегом бежал с своей квартиры к дому профессора и робкою рукою позвонил в колокольчик. Человек отпер ему и впустил его; Павел сказал ему свою фамилию. Человек повел его сначала через залу, гостиную. Вихров с искреннейшим благоговением вдыхал в себя этот ученый воздух; в кабинете, слабо освещенном свечами с абажуром, он увидел самого профессора; все стены кабинета уставлены были книгами, стол завален кипами бумаг.

— Здравствуйте, садитесь! — сказал он ему ласково.

Вихров сел.

— Я позвал вас,— продолжал профессор,— сказать

вам, чтобы вы бросили это дело, за которое очень рано взялись! — И он сделал при этом значительную мину.

Вихров покраснел.

— Почему же? — спросил он.

— Потому что вы описываете жизнь, которой еще не знаете; вы можете написать теперь сочинение из книг,— наконец, описать ваши собственные ощущения,— но никак не роман и не повесть! На меня, признаюсь, ваше произведение сделало очень, очень неприятное впечатление; в нем выразилась или весьма дурно направленная фантазия, если вы все выдумали, что писали... А если же нет, то это, с другой стороны, дурно рекомендует вашу нравственность!

И профессор опять при этом значительно мотнул Вихрову головой и подал ему его повесть назад. Павел только из приличия просидел у него еще с полчаса, и профессор все ему толковал о тех образцах, которые он должен читать, если желает сделаться литератором,— о строгой и умеренной жизни, которую он должен вести, чтобы быть истинным жрецом искусства, и заключил тем, что «орудие, то есть талант у вас есть для авторства, но содержания еще — никакого!»

Герой мой вышел от профессора сильно опешенный. «В самом деле мне, может быть, рано еще писать!» — подумал он сам с собой и решился пока учиться и учиться!.. Всю эту проделку с своим сочинением Вихров тщательнейшим образом скрыл от Неведомова и для этого даже не видался с ним долгое время. Он почти предчувствовал, что тот тоже не похвалит его творения, но как только этот вопрос для него, после беседы с профессором, решился, так он сейчас же и отправился к приятелю.

— Где вы пропадали? — воскликнул тот ему.

— Все занимался,— отвечал Павел немного сконфуженным голосом.

— Ах, кстати,— продолжал Неведомов,— тут с вами желает очень познакомиться один господин.

— Кто такой?— спросил Вихров.

— Некто Салов — студент; он говорит, что земляк ваш, и просил меня прислать ему сказать, когда вы придете.

— Я очень рад,— отвечал Вихров.

Неведомов встал, вышел в коридор и послал человека к Салову. Через несколько времени, в комнату вошел —

небольшого роста, но чрезвычайно, должно быть, юрковатый студент в очках и с несколько птичьей и как бы проникающей вас физиономией,— это был Салов. Неведомов сейчас же познакомил с ним Вихрова.

— Мне про вас очень много говорили,— начал Салов, устремляя на Павла довольно проницательный взгляд,— а именно — ваш товарищ Живин, с которым я был вместе в Демидовском.

— А! — произнес Вихров. Живин был тот гимназист, который некогда так искренно восхищался игрою Павла на фортепьянах.

— И он-с мне между прочим говорил, что вы великий актер,— продолжал Салов. В голосе его как бы слышалась легкая насмешка.

— Да, я довольно хорошо играю некоторые роли,— сказал Павел, нисколько не сконфузясь.

— Говорил-с! — повторил Салов.— И у него обыкновенно были две темы для разговоров, это — ваше сценическое дарование и еще его серые из тонкого сукна брюки, которые он очень берег и про которые каждое воскресенье говорил сторожу: «Вычисти, пожалуйста, мне мои серые брюки получше, я в них пойду погулять».

Такое сопоставление его дарований с брюками показалось Вихрову несколько обидным, но он, впрочем, постарался придать такое выражение своему лицу, из которого ничего не было бы видно, так, как будто бы он прослушал совершеннейшую чепуху и бессмыслицу. Салов, кажется, заметил это, потому что сейчас же поспешил как бы приласкаться к Павлу.

— Впрочем, то же самое подтверждали и другие ваши товарищи, так что слава эта за вами уже установившаяся,— проговорил он.

Павел и на это ничего ему не сказал.

— А вы давно из Демидовского перешли сюда?— спросил он, в свою очередь, Салова.

— Второй год уж!.. Там профессора или пьянствуют или с женами ссорятся: что же мне было при этом присутствовать?— проговорил поспешно Салов.

— Здесь и не делают этого, да вы немного ими, кажется, интересуетесь,— заметил ему с улыбкой Неведомов.

— Некогда все!— отвечал Салов, в одно и то же время ухмыляясь и нахмуриваясь. Он никогда почти не ходил

в университет и все был на первом курсе, без всякой, кажется, надежды перейти на второй.

— Ну, батюшка,— обратился он как-то резко к Неведомову, ударяя того по плечу,—я сегодня кончил Огюста Конта и могу сказать, что все, что по части философии знало до него человечество, оно должно выкинуть из головы, как совершенно ненужную дрянь.

— Уж будто и совсем выкинуть из головы?— спросил Неведомов несколько насмешливо.

— Выкинуть-с!— повторил Салов резким тоном,— потому что Конт прямо говорит: «Мы знаем одни только явления, но и в них не знаем — каким способом они возникли, а можем только изучать их постоянные отношения к другим явлениям, и эти отношения и называются законами, но сущность же каждого предмета и первичная его причина всегда были и будут для нашего разума — *terra incognita»* [1].

— Кант почти то же самое говорит,— возразил, как бы в некотором недоумении, Неведомов.

— Сделайте милость!— почти закричал на него Салов.— Ваш Кант положительнейшим образом признавал и все эти субстанции, точно так же, как Гегель выдумал какого-то человека как микрокосм,— все это чистейшая чепуха! Помилуйте, одно это,— продолжал кричать Салов, как бы больше уже обращаясь к Павлу: — Конт разделил философию на теологическую, метафизическую и положительную: это верх, до чего мог достигнуть разум человеческий! Теология, говорит, есть форма мышления полудиких народов, метафизика есть переходный период, и наконец позитивизм есть последнее слово здравого, незатуманенного ума человеческого.

Неведомов, при этих словах Салова, усмехнулся.

— Чему вы смеетесь? Чему? — обратился к нему Салов с азартом.

— Тому,— отвечал тот кротко,— что нельзя же, прочитав первую попавшуюся под руку философскую систему, уничтожить и почеркнуть ею все прочие.

— Нет-с, можно, если она удовлетворяет всем требованиям моего ума. Ведь, не правда ли, что я прав? — обратился Салов прямо уже к Павлу.— Вы, конечно, знаете, что отыскивают все философии?

---

[1] неизвестная земля, область *(лат.)*.

— Начало всех начал,— отвечал тот не без улыбки.

— Начало всех начал,— повторил Салов.— А Конт им говорит: «Вы никогда этого начала не знали и не знаете, а знаете только явления,— и явления-то только в отношении к другому явлению, а то явление, в свою очередь, понимаете в отношении этого явления,— справедливо это или нет?

— Это, может быть, и справедливо,— произнес Павел,— но я совершенно несогласен с вами касательно теологии, которая присуща и самым образованным народам.

— Да, ее терпят для мужиков везде — даже и умные англичане,— возразил Салов.

— Кроме того,— продолжал Павел, как бы не слыша его замечания,— ее необходимость доказывается общим верованием всех народов.

— Что-с?— спросил его вдруг Салов.

— Необходимость теологии доказывается общим верованием народов,— повторил Вихров уже сконфуженным голосом.

— Послушайте,— начал Салов тоном явного сожаления,— я буду с вами говорить о философии, а вы будете мне приводить доказательства из катехизиса.

— Что ж такое?..— больше уже бормотал Павел. Он сам очень хорошо понял, что не совсем удачно выразился.

— Это доказательство вовсе не из катехизиса, а, напротив — доказательство истории,— поддержал его Неведомов.— Существование везде и всюду религии есть такой же факт, как вот этот дом, эти деревья, эти облака,— и от него никакому философу отвертеться нельзя.

— Действительно факт,— подхватил Салов,— но только болезненный.

— Не может же болезнь быть всеобщей,— возразил, пожимая плечами, Неведомов,— во всех эпидемиях обыкновенно более половины остается здоровыми, а тут — все...

— А, это уж, видно, такая повальная на всех! — произнес насмешливо Салов.— Только у одних народов, а именно у южных, как, например, у испанцев и итальянцев, она больше развивается, а у северных меньше. Но не в этом дело: не будем уклоняться от прежнего нашего разговора и станем говорить о Конте. Вы ведь его не читали? Так, да?— прибавил он ядовито, обращаясь к Неведомову.

— Нет, не читал,— отвечал тот спокойно,— да и читать не стану.

— Почему же это он лишен будет этой чести?— спросил Салов насмешливо.

— Потому что,— продолжал Неведомов тем же спокойным тоном,— может быть, я, в этом случае, и не прав,— но мне всякий позитивный, реальный, материальный, как хотите назовите, философ уже не по душе, и мне кажется, что все они чрезвычайно односторонни: они думают, что у человека одна только познавательная способность и есть — это разум. Я очень хорошо понимаю, что разум есть одна из важнейших способностей души и что, действительно, для него есть предел, до которого он может дойти; но вот тут-то, где он останавливается, и начинает, как я думаю, работать другая способность нашей души — это фантазия, которая произвела и искусства все и все религии и которая, я убежден, играла большую роль в признании вероятности существования Америки и подсказала многое к открытию солнечной системы.

— Но согласитесь,— опять почти закричал на него Салов,— что у диких народов область этой фантазии гораздо шире и что прогресс человечества и состоит в том, что разум завоевывает у фантазии ее территорию.

— Это, может быть, отчасти есть.

— А в конце концов он завоюет у ней все.

— Ну, этого я не знаю!

— Да как же вы не знаете, Неведомов!.. Это наконец нечестно: когда вас мыслью, как вилами, прижмут к стене, вы говорите, что не знаете,— горячился Салов.

— Что же тут нечестного,— произнес Неведомов,— если я говорю *не знаю* о том, на что сама история не дала ответа?

— Нет-с, дала ответ, дала в том, как думали лучшие умы, как думали Вольтер, Конт.

— К чему вы мне все это говорите!— перебил его уже с некоторою досадой Неведомов.— Вы очень хорошо знаете, что ни вашему уму, ни уму Вольтера и Конта, ни моему собственному даже уму не уничтожить во мне тех верований и образов, которые дала мне моя религия и создало воображение моего народа.

— А к тому, мой миленький, что мне хочется поучить вас; а то вы ведь без меня, моя крошечка, пропадете! —

перебил его насмешливо Салов. Он, кажется, был очень доволен, что порассердил немножко Неведомова.

— Чем вам учить меня, вы гораздо лучше сделаете, если прочтете нам какое-нибудь ваше стихотворение,— возразил тот,— это гораздо приятнее и забавнее от вас слышать.

— Что за вздор такой!— произнес с улыбкой Салов, а сам между тем встал и начал ходить по комнате.

Павел, как мы видели, несколько срезавшийся в этом споре, все остальное время сидел нахмурившись и насупившись; сердце его гораздо более склонялось к тому, что говорил Неведомов; ум же,— должен он был к досаде своей сознаться,— был больше на стороне Салова.

— Какого же рода он стихи пишет?— спросил Вихров Неведомова.

— Я больше перелагаю-с,— подхватил Салов,— и для первого знакомства, извольте, я скажу вам одно мое новое стихотворение. Господин Пушкин, как, может быть, вам небезызвестно, написал стихотворение «Ангел»: «В дверях Эдема ангел нежный» и проч. Я на сию же тему изъяснился так...— И затем Салов зачитал нараспев:

В дверях палат своих надменно
Предстал плешивый откупщик,
А жулик, тощий и смиренный,
Взирал, как жирный временник,
С крыльца напутствуем швейцаром,
В карету модную влезал.
— О Прометей! — в восторге яром
Ему воришка закричал:
Клянусь, что я без всякой злобы,
Без всякой зависти утробы
Смотрю, как ты и ешь, и пьешь,
И жизнь роскошную ведешь.
Нет! Я завидовать не смею.
Я пред тобой благоговею;
Хотя я с детства наметал
Во всякой краже обе руки,
Но ты в сей выспренней науке
Мне будешь вечный идеал!

— Очень хорошо!— похвалил Вихров, но, кажется, больше из приличия.

— Что за глупости такие!— проговорил, как бы невольно, несколько потупляясь, Неведомов.

— Какие же глупости?— воскликнул притворно обиженным голосом Салов.— Пойдемте, Вихров, ко мне в номер: я не хочу, чтобы вас развращал этот скептик,— при-

бавил он и, взяв Павла под руку, насильно увлек его от Неведомова.

— Я-то пуще скептик, а не он!— говорил тот им вслед.

Номер Салова оказался почти богато убранным: толстая драпировка на перегородке и на окне; мягкий диван; на нем довольно искусно вышитые шерстями две подушки. В одном из углов стояли трубки с черешневыми чубуками и с дорогими янтарными мундштуками. На окне виднелась выпитая бутылка шампанского; на комоде был открыт богатый несессер и лежала целая дюжина, должно быть еще не игранных карт. Вообще, в убранстве комнаты Салова было больше офицерского, нежели студенческого. Книг почти совсем не было видно, кроме Огюста Конта, книжка которого, не вся еще разрезанная, валялась на столе.

— Садитесь, пожалуйста!— сказал Салов, любезно усаживая Вихрова на диван и даже подкладывая ему за спину вышитую подушку. Сам он тоже развалился на другом конце дивана; из его позы видно было, что он любил и умел понежиться и посибаритничать.

— А вот и Конт! — сказал Павел, показывая на лежавшую на столе книжку.

— Да-с, я его нарочно купил, и, вообразите, он теперь у меня — у одного в Москве... Они все ведь тут студенты — гегелисты... Только вдруг я раз в кондитерской, в которую хожу каждый день пить кофе, читаю в французской газете, что, в противоположность всем немецким философам, в Париже образуется школа позитивистов, и представитель ее — Огюст Конт... Я сейчас к книгопродавцу: «Давайте Конта!» — «Нет еще у нас...» — «Выпишите!» Выписал: тридцать рублей содрал за одну книжку, потому что запрещена она у нас... Вот я теперь и подчитал ее, и буду их всех резать!— заключил Салов, с удовольствием потирая себе руки.

— Ну, вам Неведомова, кажется, не срезать этим,— возразил Павел.

— Неведомова-то!— воскликнул Салов.— Да разве вы не видите, что он сумасшедший... Одежда-то его, а!.. Как одежда-то его вам нравится?

— Одежда у него действительно странная,— произнес Павел.

— Вы знаете, он за нее в остроге сидел,— продолжал Салов с видимым уже удовольствием.— Приехал он там в Тулу или Калугу... Подрясник этот у него еще тогда был

новый, а не провонялый, как теперь... Он выфрантился в него, взял в руки монашеские четки, отправился в церковь — и там, ставши впереди всех барынь и возведя очи к небу, начинает молиться. Все, разумеется, спрашивают: «Кто такой, кто такой этот интересный монах?» Заинтересовалась сим и полиция также... Он из церкви к себе в гостиницу, а карташки за ним... «Кто, говорят, такой этот господин у вас живет? Покажите его паспорт!» — Показывают... Оказывается, что совершенно не монах, а светский человек. Они сначала — в часть его, а потом — и в острог, да сюда в Москву по этапу и прислали, как в показанное им место жительства.

— Негодяи!— произнес Вихров с негодованием.— Зачем он носит еще это одеяние?

— Носит, чтобы нравиться женщинам,— отвечал ядовито Салов.

— О, полноте!.. Он, кажется, совсем не такой.

— Он-то!.. Он и тут вон влюблен в одну молоденькую девочку: она теперь чистенькая, конечно, но, разумеется, того только и ждет, чтобы ее кто-нибудь взял на содержание, а он ей, вместо того, Шекспира толкует и стихи разные читает. Глупо это, по-моему.

— Почему глупо?— спросил Павел.

— Потому что, если он научить ее этому хочет, так зачем это ей? На кой черт?.. Если же соблазнить только этим желает, то она всего скорей бы, вероятно, соблазнилась на деньги.

— Но, может быть, он думает жениться на ней и образовывает ее для этого.

— Как же ему жениться, когда он сам один едва с голоду не умирает?

— Разве у него нет состояния?

— Никакого!.. Так себе перебивается кой-какими урочишками, но и тех ему мало дают: потому что, по костюму, принимают его — кто за сумасшедшего, а кто и за бродягу.

— Разве такой умный и образованный человек может быть бродягой!— воскликнул Вихров.

— Отчего же нет? Я видал бродяг и мошенников пообразованнее его,— возразил наивно Салов; вообще, тоном голоса своего и всем тем, что говорил о Неведомове он, видимо, старался уронить его в глазах Павла.

— А что, вы не обедаете в общей зале, с нами?— прибавил он после некоторого молчания.

— Я обедаю обыкновенно у себя в комнате,— отвечал Павел.

— Ну что, нет! Будемте обедать там!.. Петр!..— крикнул Салов.

На этот зов необыкновенно поспешно и с заметным почтением явился номерной лакей.

— А что обедать?— спросил его Салов почти повелительно.

— Обедать готово, если прикажете,— отвечал тот.

— Да, вели! Кстати, скажите,— прибавил Салов, обращаясь к Павлу,— что, вы играете в карты?

— Нет,— отвечал тот.

— Как же это — нет? Надо учиться,— произнес Салов.

— Как-нибудь выучусь,— проговорил Павел.

— Непременно-с, непременно,— повторил Салов.

Вскоре они оба вошли в обеденную залу. M-me Гартунг по-прежнему лежала за ширмами. Номера ее еще не все были заняты; а потому общество к обеду собралось не весьма многочисленное: два фармацевта, которые, сидя обыкновенно особняком, только между собою и разговаривали шепотом и, при этом, имели такие таинственные лица, как будто бы они сейчас приготовились составлять самый ужасный яд. Неведомов пришел под руку с известной уже нам девицей, которая оттого, в одно и то же время, конфузилась и смеялась. Будучи на этот раз в платье, а не в блузе, она показалась Вихрову еще интереснее. Это было какое-то по природе своей грациозное существо; все в ней было деликатно: губки, носик, ножки, талия; она весело и простодушно улыбалась. Неведомов между тем усадил свою спутницу рядом с собой и по временам, несмотря на свои мягкие голубые глаза, взглядывал на нее каким-то пламенным тигром. Салов сел рядом с Павлом. M-me Гартунг несколько раз и каким-то заметно нежным голосом восклицала: «Салов, подите сюда!». И Салов, делая явно при всех гримасу, ходил к ней, а потом, возвращаясь и садясь, снова повторял эту гримасу и в то же время не забывал показывать головой Павлу на Неведомова и на его юную подругу и лукаво подмигивать.

— Что это хозяйка все зовет к себе Салова?— спросил Павел после обеда Неведомова.

— Вероятно, как старшего постояльца своего,— отвечал тот, и, видимо, больше всего занятый своею собеседницей, снова подал ей руку, и они отправились в ее номер.

«Тут, должно быть, амуретов пропасть!» — подумал про себя Павел.

VI
КАНДИДАТ МАРЬЕНОВСКИЙ И СТУДЕНТЫ ПЕТИН И ЗАМИН

Через несколько дней, общество m-me Гартунг за ее табльдотом еще увеличилось: появился худощавый и с весьма умною наружностью молодой человек в штатском платье. Салов сначала было адресовался к нему весьма дружественно, но вновь прибывший как-то чересчур сухо отвечал ему, так что Салов, несмотря на свой обычно смелый и дерзкий тон, немного даже сконфузился и с разговорами своими отнесся к сидевшей в уединении Анне Ивановне. Она, как показалось Павлу, была с ним нисколько не менее любезна, чем и с Неведомовым, который был на уроке и позапоздал прийти к началу обеда, но когда он пришел, то, увидев вновь появившегося молодого человека, радостно воскликнул: «Боже мой, Марьеновский! Кого я вижу?» — И затем он подошел к нему, и они дружески расцеловались. Потом, Неведомов сел рядом с Марьеновским и продолжал любовно смотреть на него; они перекинулись еще несколькими словами. Неведомов, после того, взглянул на прочих лиц, помещавшихся за табльдотом, и увидел, что Анна Ивановна сидит с Саловым и, наклонившись несколько в его сторону, что-то такое слушает не без внимания, что Салов ей говорит. Неведомов при этом побледнел немного, стал кусать себе губы и с заметною рассеянностью отвечал на вопросы Марьеновского. К концу обеда он, впрочем, поуспокоился — может быть потому, что Салова вызвал кто-то приехавший к нему, и тот, уходя, объявил, что больше не воротится. Два фармацевта, попрежнему обедавшие особняком, тоже ушли вскоре за ним.

Неведомов в это время обратился к Марьеновскому с вопросом:

— А что, скажите, нового в мире юриспруденции?

— Теперь напечатан процесс madame Лафарж,— отвечал тот.

Павел нарочно пересел с своего стула на ближайший к ним, чтобы лучше слышать их разговор.

— Это, что убила мужа,— подхватил Неведомов.

— Да, и тут замечательно то, что, по собранным справкам, она ему надавала до полфунта мышьяку, а при анатомировании нашли самый вздор, который мог к нему войти в кровь при вдыхании, как железозаводчику.

— Однакож ее обвинили?— вмешался в разговор Вихров.

— Ее обвинили,— отвечал как-то необыкновенно солидно Марьеновский,— и речь генерал-прокурора была, по этому делу, блистательна. Он разбил ее на две части: в первой он доказывает, что *m-me Лафарж могла сделать это преступление,*— для того он привел почти всю ее биографию, из которой видно, что она была женщина нрава пылкого, порывистого, решительного; во второй части он говорит, что она *хотела сделать это преступление,*— и это доказывает он ее нелюбовью к мужу, ссорами с ним, угрозами...

— Логично,— произнес Неведомов.

— Удивительно просто, точно задачу какую математическую решил,— сказал Марьеновский.

— Скажите, присяжные ее осудили? — спросил Павел, отнесясь к нему опять со всевозможною вежливостью.

— Разумеется,— отвечал ему тоже вежливо и Марьеновский.

— Факты дела напечатаны все? — спросил его Неведомов.

— Все, до самых мельчайших подробностей.

— А к чему бы присудили ее по нашим законам? — прибавил Неведомов.

Марьеновский пожал плечами.

— Самое большее, что оставили бы в подозрении,— отвечал он с улыбкой.

— Значит, уголовные законы наши очень слабы и непредусмотрительны,— вмешался опять в разговор Вихров.

— Напротив! — отвечал ему совершенно серьезно Марьеновский.— Наши уголовные законы весьма недурны, но что такое закон?.. Это есть формула, под которую не могут же подойти все случаи жизни: жизнь слишком разнообразна и извилиста; кроме того, один и тот же факт может иметь тысячу оттенков и тысячу разных при-

чин; поэтому-то и нужно, чтобы всякий случай обсудила общественная совесть или выборные из общества, то есть присяжные.

— Отчего у нас не введут присяжных?.. Кому они могут помешать? — произнес Павел.

Марьеновский усмехнулся.

— Очень многому! — отвечал он.— Покуда существуют другие злоупотребительные учреждения, до тех пор о суде присяжных и думать нечего: разве может существовать гласный суд, когда произвол административных лиц доходит бог знает до чего,— когда существует крепостное право?.. Все это на суде, разумеется, будет обличаться, обвиняться...

— Главным образом, достоинство и беспристрастие суда, я полагаю, зависит от несменяемости судей,— заметил Неведомов.

— И то ничего не значит,— возразил ему Марьеновский.— Во Франции так называемые les tribunaux ordinaires[1] были весьма независимы: король не мог ни сменять, ни награждать, ни перемещать даже судей; но зато явился особенный суд, le tribunal exceptionnel[2], в который мало-помалу перенесли все казенные и общественные дела, а затем стали переносить и дела частных лиц. Если какой-нибудь господин был довольно силен, он подавал прошение королю, и тот передавал дело его в административный суд,— вот вам и несменяемость судей!

Весь этот разговор молодые люди вели между собой как-то вполголоса и с явным уважением друг к другу. Марьеновский по преимуществу произвел на Павла впечатление ясностью и простотой своих мыслей.

— Кто это такой? — спросил он потихоньку Неведомова, когда Марьеновский встал, чтобы закурить сигару.

— Это кандидат юридического факультета,— отвечал тот.— Он нынче только кончил курс.

— Что же, он — в профессора хочет?

— Не знаю. Он теперь продал все свое маленькое состояньице и с этими деньгами едет за границу, чтобы доканчивать свое образование.

Марьеновский снова подошел к ним и сел.

---

[1] обыкновенные суды *(франц.)*

[2] суд для рассмотрения дел, изъятых из общего судопроизводства, *(франц.)*

Во все это время Анна Ивановна, остававшаяся одна, по временам взглядывала то на Павла, то на Неведомова. Не принимая, конечно, никакого участия в этом разговоре, она собиралась было уйти к себе в комнату; но вдруг, услышав шум и голоса у дверей, радостно воскликнула:

— Ах, это, должно быть, Петин и Замин!

Вошли шумно два студента: один — толстый, приземистый, с курчавою головой, с грубыми руками, с огромными ногами и почти оборванным образом одетый; а другой — высоконький, худенький, с необыкновенно острым, подвижным лицом, и тоже оборванец.

— Вот они где тут! — воскликнул толстяк и, потом, пошел со всеми здороваться: у каждого крепко стискивал руку, тряс ее; потом, с каждым целовался, не исключая даже и Вихрова, которого он и не знал совсем. Анне Ивановне он тоже пожал руку и потряс ее так, что она даже вскрикнула: «Замин, больно!». Тот, чтобы вознаградить ее, поцеловал у нее руку; она поцеловала его в макушку. Петин, худощавый товарищ Замина, тоже расцеловался со всеми, а перед Анной Ивановной он, сверх того, еще как-то особенно важно раскланялся, отчего та покатилась со смеху.

— Приехали из деревни? — сказал новоприбывшим Неведомов.

— Приехали! — отвечал толстяк, шумно усаживаясь. Петин поместился тоже рядом с ним и придал себе необыкновенно прямую и солидную фигуру, так что Анна Ивановна взглянуть на него не могла без смеху: это, как впоследствии оказалось, Петин англичанина представлял.

— Чей это там такой курчавый лакей? — продолжал толстый.

— Это, должно быть, мой Иван,— сказал с улыбкой Павел.

— Какой славный малый, какой отличный, должно быть! — продолжал Замин совершенно искренним тоном.— Я тут иду, а он сидит у ворот и песню мурлыкает. Я говорю: «Какую ты это песню поешь?» — Он сказал; я ее знаю. «Давай, говорю, вместе петь».— «Давайте!» — говорит... И начали... Народу что собралось — ужас! Отличный малый, должно быть... бесподобный!

— Замин, это вы? — раздался вдруг из-за перегородки довольно неблагосклонный голос хозяйки.

— Я,— отвечал Замин, подмигнув товарищам.

— Вы опять тут будете кричать! Уйдите, прошу вас, в какой другой номер,— продолжала m-me Гартунг.

— А вы все больны? — спросил ее довольно добродушно Замин.

— Больна! Прошу вас, уйдите,— повторила она настойчиво.

M-me Гартунг была сердита на Замина и Петина за то, что они у нее около года стояли и почти ни копейки ей не заплатили: она едва выжила их из квартиры.

— Надо уйти куда-нибудь,— сказал добродушно Замин.

— Иесс! — произнес за ним его товарищ с совершенно английским акцентом, так что все расхохотались.

— Милости прошу, господа, ко мне; у меня номер довольно большой,— сказал Павел: ему очень нравилось все это общество.

— А этот Ваня ваш — будет у вас? — спросил Замин.

— Непременно! — отвечал Павел, улыбаясь.

— И отлично! Пойдемте! — сказал Замин, поднимаясь.

Товарищ тоже за ним поднялся.

— Позвольте и вас просить посетить меня! — обратился Павел к Марьеновскому.

— Очень рад! — отвечал тот.

— А как же я — где же вас послушаю? — сказала горестным голосом Анна Ивановна, обращаясь к Замину и Петину.

— А, да с нами же пойдемте! — воскликнул Замин.

— А мне можно к вам? — обратилась Анна Ивановна, слегка покраснев, к Павлу.

— Сделайте милость! — отвечал тот.

— Можно, пойдемте! — разрешил ей и Неведомов, а потом взял ее под руку, и все прочие отправились за ними гурьбой.

Когда проходили по коридору, к Вихрову подошел Замин.

— Нет ли там у вас какого беспорядка в комнате? Вы приберите: она девушка славная! — проговорил он шепотом, показывая головой на Анну Ивановну.

— У меня совершенно все в порядке,— отвечал Вихров.

Анна Ивановна была дочь одного бедного чиновника,

и приехала в Москву с тем, чтобы держать в университете экзамен на гувернантку. Она почти без копейки денег поселилась в номерах у m-me Гартунг и сделалась какою-то дочерью второго полка студентов: они все почти были в нее влюблены, оберегали ее честь и целомудрие, и почти на общий счет содержали ее, и не позволяли себе не только с ней, но даже при ней никакой неприличной шутки: сама-то была она уж очень чиста и невинна душою!

Павел велел Ивану подать чаю и трубок. Анну Ивановну, как самую почетную гостью, посадили на диване; около нее сел почти с каким-то благоговением Неведомов.

— Вот он идет, отличный малый! — воскликнул Замин, увидев вошедшего Ивана.— Ты недавно ведь, чай, из деревни?

— Нет-с, давно! —отвечал Иван почти обиженным голосом.

— Ведь, в деревне лучше? — спросил Замин.

— Чем лучше? Пустое дело деревня,— отвечал Иван и, заметно по-лакейски модничая, подал всем трубки.

— Отличный малый! — продолжал свое Замин, хотя последний ответ разочаровал его много в Иване.

— Как у нас в Погревском уезде,— продолжал он, когда все начали курить,— мужички отлично исправника капустой окормили!..

— Как капустой окормили? — спросил с удивлением Марьеновский.

— Да так, капустой... Он приехал, знаете, в дальнюю одну деревню, а народ-то там дикий был, духом вольный. Он и стал требовать, с похмелья — видно, капусты себе кислой, а капусты-то как-то в деревне не случилось. Он одного за это мужичка поколотил, другого, третьего... Мужички-то и осерчали; съездили сейчас в другую деревню, привезли целый ушат капусты. «Кушай, говорят, барин, на здоровье, сколько хочешь». Он тарелочку съел было, да и — будет. А они: «Нет, еще кушай: ты нас тревожил этим; а коли кушать не станешь, так мы и в плети тебя примем». И плети уже было принесли. Он, делать нечего, начал. До пол-ушата они таким манером и скормили ему!.. Приехал, брат, домой, лопнул, помер: не выдержало того его мироедское брюхо!

— А у нас в Казани,— начал своим тоненьким голосом Петин,— на духов день крестный ход: народу собралось тысяч десять; были и квартальные и вздумали было

унимать народ: «Тише, господа, тише!» Народ-то и начал их выпирать из себя: так они у них, в треуголках и со шпагами-то, и выскакивают вверх! — И Петин еще более вытянулся в свой рост, и своею фигурой произвел совершенно впечатление квартального, которого толпа выпихивает из себя вверх. Все невольно рассмеялись.

— Какой, должно быть, актер превосходный — ваш приятель! — сказал Павел Замину.

— Мастерина первого сорта! — отвечал тот.— Вот, мы сейчас вам настоящую комедию с ним сломаем. Ну, вставай,— знаешь! — прибавил он Петину.

Тот сейчас же его понял, сел на корточки на пол, а руками уперся в пол и, подняв голову на своей длинной шее вверх, принялся тоненьким голосом лаять — совершенно как собаки, когда они вверх на воздух на кого-то и на что-то лают; а Замин повалился, в это время, на пол и начал, дрыгая своими коротенькими ногами, хрипеть и визжать по-свинячьи. Зрители, не зная еще в чем дело, начали хохотать до неистовства.

— Что такое это, что такое! — восклицал громким голосом даже Неведомов, утирая выступившие от хохота слезы.

Павел, не отставая и не помня себя, хохотал. Анна Ивановна лежала уже вниз лицом на диване.

— Это, изволите видеть,— начал Петин какою-то почти собачьей фистулой,— свинью режут, а собака за нее богу молится.

Смех между зрителями увеличился почти до болезненного состояния. Актеры, между тем, видимо поутомившись, приостановили свое представление и только с удовольствием посматривали на своих зрителей.

— Миленькие, душеньки! — кричала им Анна Ивановна, все еще от смеха не поднимая лица с дивана.— Представьте гром и молнию!

— Можем! — произнес Петин, и оба они сели с Заминым друг против друга за маленький столик.

— Я — заходящее солнце! — сказал Замин и, в самом деле, лицо его сделалось какое-то красное, глупое и широкое.

— А я — любящий любоваться на закат солнца! — произнес Петин — и сделал вид, как смотрит в лорнет какой-нибудь франтоватый молодой человек.

— Солнце село! — воскликнул Замин, закрыв глаза, и

в самом деле воображению зрителей представилось, что солнце село.

— Тучи надвигаются! — восклицал между тем Замин, и лицо его делалось все мрачнее и мрачнее.

— Молния! — воскликнул он, открыв для этого на мгновение глаза, и, действительно, перед зрителями как бы сверкнула молния.

— А человек, в это время, спит; согласитесь, что он спит? — произнес Петин и представил точь-в-точь спящего и немного похрапывающего человека.

— Издали погремливает! — продолжал Замин и представил гром.— Молния все чаще и чаще! — и он все чаще и чаще стал мигать глазами.— Тучи совсем нависли! — и лицо его сделалось совсем мрачно.

— Молния и гром! — проговорил он, вскрыл глаза и затрещал, затем, на всю комнату.

— А человек, в это время, проснулся и крестится! — воскликнул Петин и представил мгновенно проснувшегося и крестящегося человека.

Зрители уже не смеялись, а оставались в каком-то приятном удивлении; так это тонко и художественно все было выполнено!

— Это лучше всякого водевиля, всякой комедии! — восклицал Павел.

— Превосходно, превосходно! — повторял и Неведомов, как бы утопавший в эстетическом наслаждении. — Вот вам и английские клоуны: чем хуже их?

Когда приятели наши, наконец, разошлись и оставили Павла одного, он все еще оставался под сильным впечатлением всего виденного.

«Да, это смех настоящий, честный, добрый, а не стихотворное кривляканье Салова!» — говорил он в раздумье.

VII

ПРОДОЛЖЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЖИЗНИ

Ничто, кажется, так быстро не проходит, как время студенческого учения. Вихров почти и не заметил, как он очутился на третьем курсе. Естественные науки открыли перед ним целый мир новых сведений: он *уразумел и трав прозябанье,* и с ним *заговорила морская волна.* Он узнал жизнь земного шара,— каким образом он образовался,—

как на нем произошли реки, озера, моря; узнал, чем люди дышат, почему они на севере питаются рыбой, а на юге — рисом. Словом, вся эта природа, интересовавшая его прежде только каким-нибудь очень уж красивым местоположением, очень хорошей или чрезвычайно дурной погодой, каким-нибудь никогда не виданным животным,— стала теперь понятна ему в своих причинах, явилась машиной, в которой все было теснейшим образом связано одно с другим. Из изящных собственно предметов он, в это время, изучил Шекспира, о котором с ним беспрестанно толковал Неведомов, и еще Шиллера, за которого он принялся, чтобы выучиться немецкому языку, столь необходимому для естественных наук, и который сразу увлек его, как поэт человечности, цивилизации и всех юношеских порывов. Вне этой сферы, в практической жизни, с героем моим в продолжение этого времени почти ничего особенного не случилось, кроме разве того, что он еще больше возмужал и был из весьма уже немолодых студентов. У Еспера Иваныча он продолжал бывать очень редко, но и то делал с величайшим усилием над собой — до того ему там было скучно.

Анна Гавриловна, впрочем, раз рассказала ему несколько заинтересовавший его случай:

— Клеопатра-то Петровна, слышали, опять сошлась с мужем, приехала к нему: недолго, видно, продержал ее господин Постен.

— Я уж ничего тут и не понимаю,— сказал Павел.

— Поймешь этакую лукавицу... Смела ли бы другая, после этого, приехать к мужу!..

— Что же муж-то сам?.. — возразил Павел.

— Что муж-то?.. Он добрый; пьяный только... Пишет, вон, к Есперу Иванычу: «Дяденька, Клеопаша опять ко мне приехала; я ей все простил, потому что сам неправ против нее был»,— проговорила Анна Гавриловна: она все еще продолжала сердиться на Фатееву за дочь.

С Мари Павел больше уже не видался. Вскоре после его первого визита к ней муж ее, г. Эйсмонд, приезжал к нему, но не застал его дома, а потом через полгода они уехали с батареей куда-то в Малороссию. Любовь к Мари в герое моем не то чтобы прошла совершенно, но она както замерла и осталась в то же время какою-то неудовлетворенною, затаенною и оскорбленною, так что ему вспоминать об Мари было больно, грустно и досадно; он луч-

ше хотел думать, что она умерла, и на эту тему, размечтавшись в сумерки, писал даже стихи:

Мой милый друг, с тобой схоронены
Всех лучших дней моих воспоминанья,
И в сердце, как в гробу, затаены
Речей твоих святые обаянья.

В номерной жизни тоже не произошло ничего особенного; постояльцы были те же, и только Анна Ивановна выдержала экзамен на гувернантку и поступила уже на место. Неведомов, расставшись, таким образом, с предметом своей страсти, впал в какую-то грустную меланхолию и часто, сидя в обществе своих молодых товарищей, по целым часам слова не проговаривал. M-me Гартунг давным-давно уже, разумеется, поправилась в своем здоровье, и Павел познакомился с нею лично; оказалось, что это была довольно еще молодая, не слишком дурная собой и заметно начинающая полнеть немка. От Ваньки своего Павел узнал, что m-me Гартунг была любовница Салова, и что прежде она была blanchisseuse[1] и содержала прачечное заведение; но потом, когда он сошелся с ней, то снял для нее эти номера и сам поселился у ней. Макар Григорьев тоже иногда заходил к Павлу в номера, принося к нему письма от полковника, который почему-то все-таки считал вернее писать к Макару Григорьеву, чем прямо на квартиру к сыну. Макар Григорьев видал всех, бывавших у Павла студентов, и разговаривал с ними: больше всех ему понравился Замин, вероятно потому, что тот толковал с ним о мужичках, которых, как мы знаем, Замин сам до страсти любил, и при этом, разумеется, не преминул представить, как богоносцы, идя с образами на святой неделе, дикими голосами поют: «Христос воскресе!»

— Так, точь-в-точь, глупый народ этакий, лопалы! — подтвердил и Макар Григорьев.

Петин тоже попробовал было представить Макару Григорьеву змею, переползавшую через пеньки, и при этом сам переполз через стул, но как-то не угодил этим Макару Григорьеву, потому что тот впоследствии отзывался о нем Павлу: «Нет, барин этот хоть и длинен, но без рассудка!» Неведомов, в свою очередь, тоже немало его удивил:

— Почто это он в подряснике-то ходит? — спросил он после Павла.

[1] прачка *(франц.)*.

— Так, ходит,— отвечал тот.

— Как ходит? Ведь, грех, чай! — продолжал Макар Григорьев с крайним удивлением.

— Что ж за грех? — спросил в свою очередь Павел.

— Как же не грех? Ризу бы еще он надел! — возражал Макар Григорьев.

Впрочем, при дальнейшем знакомстве с Неведомовым, тот, кажется, ему понравился.

— Барин-то добрый, надо быть, и умный, а поди как прокуратит,— говорил он все-таки с удивлением.

Но Салова он решительно возненавидел. Тот, увидев его в первый раз у Павла, взглянул на него сначала чересчур свысока, а потом, узнав, что он богатый московский подрядчик, стал над ним подтрунивать.

— Что, кармашек толст, толст от бочек-то? — спрашивал он его насмешливо, показывая на карман.

— Не толще, чем у вашего папеньки. Я бочки делаю, а он в них вино сыропил, да разбавлял,— отвечал Макар Григорьев, от кого-то узнавший, что отец Салова был винный откупщик,— кто почестнее у этого дела стоит, я уж и не знаю!..— заключил он многознаменательно.

— Оба честны, должно быть, оба честны! — произнес, нисколько не смутившись, Салов.

Вообще, он был весьма циничен в отзывах даже о самом себе и, казалось, нисколько не стыдился разных своих дурных поступков. Так, в одно время, Павел стал часто видать у Салова какого-то молоденького студента, который приходил к нему, сейчас же садился с ним играть в карты, ерошил волосы, швырял даже иногда картами, но, несмотря на то, Салов без всякой жалости продолжал с ним играть.

— Вы его почти наверное обыгрываете,— заметил ему как-то раз Павел, когда студент, совсем уже проигравшись, ушел.

— Совершенно наверное: сколько хочу у него, столько и выиграю,— отвечал Салов.

— Но, как же? Ведь, это нечестно! — возразил ему Павел.

— Чем же нечестно? Отец-дурак дает этому мальчишке столько денег, что он бы разврату на них мог предаваться, а я оберу их у него и по крайней мере для нравственной жизни его сберегу!

Невдолге после того, Салов не преминул и с самим

Павлом сыграть небольшую плутовскую штучку. Однажды тот, придя к нему, увидел на столе шашки и шашешницу.

— Это вы зачем себе приобрели? — спросил Павел.

— Да так, кое-кто из знакомых играют в шашки, а у меня их не было; вот я их и приобрел.

— А сами вы играете? — спросил Вихров.

— Почти нет,— отвечал Салов совершенно искренним голосом.— А вы играете?

— Я играю,— отвечал Павел. Он, в самом деле, недурно играл.— Давайте, сыграем! — прибавил он.

— Что? Нет! Вы меня обыграете,— возразил Салов, однако сел.— Что же, мы даром будем играть?

— Разумеется,— отвечал Павел.

— Ну, я ни во что и никогда не игрывал даром. Давайте, сыграемте на обед у Яра.

— Хорошо! — сказал Павел.

Они сыграли. Павел проиграл и тотчас же повел Салова к Яру. Когда они, после вкусных блюд и выпитой бутылки хорошего вина, вышли на улицу, то Салов, положив Павлу руку на плечо, проговорил:

— Я, душенька, может быть, первый игрок в Москве, как же вы смели со мной сесть играть?

— Зачем же вы сказали, что вы не умеете совсем играть?

— Понадуть вас хотел. По крайней мере, на обед у Яра выиграть желал,— отвечал с удовольствием Салов.

— Черт знает что такое! — произнес Павел, не могший хорошенько понять, ложь ли это, или чистая монета.

В Новый год, в васильев день, Салов обыкновенно справлял свои именины. M-me Гартунг, жившая, как мы знаем, за ширмами, перебиралась в этот день со всем своим скарбом в кухню. Из столовой, таким образом, являлась очень обширная комната, которую всю уставляли принесенною из других номеров мебелью; приготовлялись два — три карточных стола, нанимался нарочно официант, который приготовлял буфет и ужин. В последние именины повторилось то же, и хотя Вихров не хотел было даже прийти к нему, зная наперед, что тут все будут заняты картами, но Салов очень его просил, говоря, что у него порядочные люди будут; надобно же, чтоб они и порядочных людей видели, а то не Неведомова же в подряснике им показывать. Павел согласился и пришел,

и первых, кого он увидел у Салова, это двух молодых людей: одного — в щеголеватом штатском платье, а другого — в новеньком с иголочки инженерном мундире. Он развел руками от удивления: это были два брата Захаревские.

— Вот, уж никак не ожидал вас встретить здесь,— заговорил он, здороваясь с обоими братьями.

— И мы уж никак не ожидали,— отвечали они оба в один голос.

— Но давно ли вы в Москве и откуда?

— Мы из Петербурга и едем на службу, а здесь — проездом,— отвечал правовед.

— Но куда же и чем?

— Оба в один город: я назначен товарищем председателя, а брат прикомандирован к округу.

— И, вероятно, тоже скоро получу назначение на дистанцию,— подхватил не без важности инженер.

— Но как же вы сюда-то попали? — продолжал расспрашивать Павел.

— Ну, вот этого мы и сами не знаем — как,— отвечал инженер и, пользуясь тем, что Салов в это время вышел зачем-то по хозяйству, начал объяснять.— Это история довольно странная. Вы, конечно, знакомы с здешним хозяином и знаете, кто он такой?

— Он студент,— отвечал Павел.

— Если студент, так еще ничего, а то и жулик какой-нибудь мог быть. Вообразите: мы вчера с братом поехали к Сретенским воротам — понимаете? Нельзя же такой первопрестольной столице, как Москве, не оказать этой чести! Вошли и видим: в общей зале один господин, без верхнего платья, танцует с девицами, сам пьет и их поит шампанским, потом бросился и к нам на шею: «Ах, очень рад!.. Шампанского!» — почти насильно заставил нас выпить... Мы тоже с своей стороны, разумеется, поставили бутылку, и пошла потеха, да так всю ночь... Когда расставались, то обнимались и целовались, и он нас просил сегодня непременно приехать к нему, потому что он именинник. Мы с братом, так как нечего делать было нынче вечером, взяли да и приехали.

Инженер рассказал все это очень простодушным тоном, как будто это была самая обычная форма жизни человеческой. Правовед же, напротив того, поморщивался.

— К чему все эти подробности? — произнес он с укором брату.

К Салову, между тем, пришел еще гость — какой-то совершенно черный господин, с черными, но ничего не выражающими глазами, и весь в брильянтах: брильянты были у него в перстнях, брильянты на часовой цепочке и брильянтовые запонки в рубашке.

— А что, господа, пока никто еще не приехал, не сыграть ли нам в карты? — спросил Салов совершенно легким и непринужденным голосом, обращаясь к братьям Захаревским.

— Я совершенно не играю,— отвечал правовед.

— А вы? — спросил Салов инженера.

— Я играю-с,— отвечал тот.

— Ну, так сыграемте! А вы, Николай Гаспирович, хотите? — отнесся он к черноволосому господину.

— Хорошо,— отвечал тот, и на грубом лице его заметно отразилось удовольствие.

— По чем же мы играем? — спросил Салов — и опять каким-то легким и ветреным голосом.

— Я играю от одной до пяти копеек,— отвечал инженер.

— Ну, так мы и будем играть по пяти,— сказал Салов и написал на столе 100 ремизов.

— Нет, вы потрудитесь поставить только 50,— сказал инженер.

— Почему же только? — спросил с удивлением Салов.

— Потому что нам с братом надо еще в другое место ехать, а игра может затянуться.

— В какое место еще ехать? — спросил правовед с удивлением, вслушавшись в их разговор.

— Ну, как же, ведь разве ты не знаешь? — сказал инженер с ударением.

Правовед замолчал и уже больше ничего не возражал. Салов, черный господин и инженер стали играть. Прочие посетители, о которых говорил Салов, что-то не приезжали, а потому Павел все время разговаривал с правоведом.

— Как велика и грязна ваша Москва сравнительно с Петербургом,— это деревня какая-то! — сказал правовед.

— Почему же уж и деревня? — возразил Павел.

— Эти деревянные дома, кривые улицы,— продолжал правовед.

— В Москве надобно искать не того, а историю русского народа и самый народ!.. Видеть, наконец, святыню!..— говорил Павел.

— Да, прекрасно, но надобно, чтобы одно при другом было. Нельзя же, чтоб столица была без извозчиков! Мы с братом взяли дрожки здешние, и едва живые приехали сюда.

Инженер в это время встал из-за стола и, выкинув на стол двадцатипятирублевую бумажку, объявил, что он больше играть не будет.

— Да полноте, припишемте еще! — уговаривал его Салов.

— Нет-с, я не расположен больше играть,— отвечал инженер явно насмешливым голосом.

Черноволосый господин сидел молча — и как-то мрачно сопел.

— Отчего ты не хочешь больше играть? — спросил правовед брата, когда тот подошел к нему.

— Этот господин въявь передергивает и подтасовывает карты,— сказал инженер, вовсе не женируясь и прямо указывая на черного господина, так что тот даже обернулся на это. Павел ожидал, что между ними, пожалуй, произойдет история, но черноватый господин остался неподвижен и продолжал мрачно сопеть.

— Может быть, тебе это так показалось,— возразил правовед брату.

— Какое показалось! Сделай милость, я вольты-то сам умею передергивать,— объяснил тот.— Наконец, у него все брильянты фальшивые.

— Как фальшивые? — спросил Павел.

— Поддельные, ничего не стоят. Я настоящие брильянты за версту отличу,— отвечал инженер.

— В таком случае, уедем отсюда поскорее,— сказал ему вполголоса брат.

— Зачем? — возразил тот.— Он ужинать оставлял! У этаких господ ужин всегда бывает отличный.

Вихров начал уже со вниманием слушать этого молодого человека; он по преимуществу удивил его своей житейской опытностью. Салов, заметно сконфуженный тем, что ему не удалось заманить молодого Захаревского в игру, сидел как на иголках и, чтоб хоть сколько-нибудь позамять это, послал нарочно за Петиным и Заминым, чтоб они что-нибудь представили и посмешили. Те, очень

довольные таким приглашением, сейчас же явились и представили сначала возвращающееся с поля стадо или, по крайней мере, все бывающие при этом звуки. Кроме того, Замин представил нищую старуху и лающую на нее собаку, а Петин передразнил Санковскую и особенно живо представил, как она выражает ужас, и сделал это так, как будто бы этот ужас внушал ему черноватый господин: подлетит к нему, ужаснется, закроет лицо руками и убежит от него, так что тот даже обиделся и, выйдя в коридор, весь вечер до самого ужина сидел там и курил. В оставленном им обществе, между тем, инженер тоже хотел было представить и передразнить Каратыгина и Толченова, но сделал это так неискусно, так нехудожественно, что даже сам заметил это и, не докончив монолога, на словах уже старался пояснить то, что он хотел передать. Ужин последовал, как и ожидал инженер, почти роскошный, с отличным вином, с фруктами. Петин опять принялся дурачиться и представлять баядерку, которая подносит султану различные вкусные блюда. Султаном, разумеется, был выбран тот же черноватый господин, и при этом Петин кланялся ему не головой, а задом. Черноватый господин, в свою очередь, сделал вид, что как будто бы все это ему очень нравилось, и хохотал от души. Но Павел во весь вечер был мрачен и сердит. Подлость Салова и желание его заманить и обыграть инженера были уже слишком явны; но ему тяжело было убедиться в этом, потому что Салов все-таки был его приятель. На другой день, он обо всем этом происшествии рассказал Неведомову; но того, кажется, нисколько это не поразило и не удивило.

— Да, господин, развращенный в корень! — произнес он.— Натура страстная и даже даровитая, но решительно принявшая одно только дурное направление.

— Вы знаете, с этаким господином и знакомому быть не совсем приятно,— проговорил Павел.

— Конечно! — подтвердил Неведомов.— А какую он теперь еще, кажется, затевает штуку — и подумать страшно! — прибавил он и мотнул с грустью головой.

— Какую же? — спросил было Павел.

— И говорить пока не хочу! — отвечал Неведомов и затем погрузился в глубокую задумчивость.

Вскоре после того Салов, видимо уже оставивший m-me Гартунг, переехал даже от нее на другую квартиру.

Достойная немка перенесла эту утрату с твердостью, и, как кажется, более всего самолюбие ее, в этом случае, было оскорблено.

— Пускай поищет себе другую такую!.. Пускай! — говорила она.

Вихров, через несколько месяцев, тоже уехал в деревню — и уехал с большим удовольствием. Во-первых, ему очень хотелось видеть отца, потом — посмотреть на поля и на луга; и, наконец, не совсем нравственная обстановка городской жизни начинала его душить и тяготить!

VIII

РАЗНЫЕ МОТИВЫ ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ

У полковника с год как раскрылись некоторые его раны и страшно болели, но когда ему сказали, что Павел Михайлович едет, у него и боль вся прошла; а потом, когда сын вошел в комнату, он стал даже говорить какие-то глупости, точно тронулся немного.

— Что тебе к ужину велеть приготовить? — произнес он, стоя посередине комнаты с каким-то растерявшимся взором.— Погоди, постой, я пошлю сейчас в Клецково и оттуда отличнейших фруктов из оранжереи велю тебе привезти.

— Не нужно, папаша; я, ей-богу, фруктов не ем,— урезонивал его Павел.

— Ну, так вот что!.. Афимья! — крикнул полковник.

Он за последнее время сильно постарел, и Афимья, тоже уже совсем сделавшаяся старушонкой, явилась.

— У тебя некоторые наливки не подварены. Мы не знаем, какие еще Павлу Михайловичу понравятся и какие он будет кушать, так подвари все, чтобы все были подслащены.

Павел при этом несколько даже удивился; отец прежде всегда терпеть не мог, чтобы он хоть каплю какого-нибудь вина перед ним пил, а тут сам поить хочет: видно, уж очень обрадовался ему!

Полковник после этого зачем-то ушел к себе в спальню и что-то очень долго там возился, и потом, когда вышел оттуда, лицо его и вообще вся фигура приняли какой-то торжественный вид.

— Павел Михайлович,— начал он, становясь перед сыном,— так как вы в Москве очень мало издерживали де-

нег, то позвольте вот вам поклониться пятьюстами рублями.— И, поклонившись сыну в пояс, полковник протянул к нему руку, в которой лежало пятьсот рублей.

— Зачем, папаша, это совершенно не нужно! — говорил Павел, не беря сначала денег.

— Ни-ни! Извольте брать и слушаться! — прикрикнул полковник.

Павел, нечего делать, взял и горячо поцеловал у отца руку.

— Теперь пошлите Ивана ко мне! — крикнул полковник.

Иван, разумеется, сейчас же явился.

— Так как вы, Иван, сберегли барина и привезли его мне жива и невредима, то вот вам за это двадцать пять рублей награды!..

И полковник, в самом деле, подал Ивану двадцать пять рублей.

— Они сами себя берегли-с без меня-с, что — я? — отвечал на этот раз Иван почему-то с совершенно несвойственным ему смирением.

— Спать вы можете, если хотите, в сенях, в чулане, на наших даже перинах,— разрешил ему полковник.

— Нет, уж я у мамоньки ночую,— отвечал Ванька.

— Да ведь жарко там, дурак! — возразил полковник.

— Я — на сеновале. Там важно!

— Там важно! — подтвердил и полковник.

Ванька ушел.

Михаил Поликарпович после того, подсел к сыну и — нет-нет, да и погладит его по голове. Все эти нежности отца растрогали, наконец, Павла до глубины души. Он вдруг схватил и обнял старика, начал целовать его в грудь, лицо, щеки.

— Вот как, а! — отвечал ему на это полковник.— Ах, миленький мой! Ах, чудо мое! Ах, птенчик мой! — продолжал вскрикивать старик и, схватив голову сына, стал покрывать ее поцелуями.

Павел, наконец, вырвался из отцовских объятий, разрыдался и убежал к себе в комнату. Полковник, тоже всхлипывая, остался на своем месте.

— А, каков шельмец, а! — говорил он, пришедши в комнату к Афимье.

— Ну, батюшка, известно! — сказала ему что-то такое та.

Вследствие разного рода гуманных идей и мыслей, которыми герой мой напитался отовсюду в своей университетской жизни, он, в настоящий приезд свой в деревню, стал присматриваться к быту народа далеко иначе, чем смотрел прежде. Он, например, очень хорошо знал, что кучер Петр мастерски ездит и правит лошадьми; Кирьян, хоть расторопен и усерден, но плут: если пошлют в город, то уж, наверно, мест в пять заедет по своим делам. Мужик Семен — и добрый, и старательный, а все как-то у него не спорится: каждый год хлеба у него не хватает! Стряпуха Пестимея верна — и самой себе никогда ничего не возьмет; но другие, из-под рук ее, что хочешь бери — никогда не скажет и не пожалуется.

Словом, он знал их больше по отношению к барям, как полковник о них натолковал ему; но тут он начал понимать, что это были тоже люди, имеющие свои собственные желания, чувствования, наконец, права. Мужик Иван Алексеев, например, по одной благородной наружности своей и по складу умной речи, был, конечно, лучше половины бар, а между тем полковник разругал его и дураком, и мошенником — за то, что тот не очень глубоко вбил стожар и сметанный около этого стожара стог свернулся набок.

— Ведь, на своей работе, каналья, не сделаешь этого! Ведь, нарочно — чтобы барину повредить!

— Ей-богу, сударь, невзначай, и на своей работе бывает это,— отвечал Иван совершенно искренним голосом.

— Не бывает у вас — у мошенников! — продолжал на него кричать полковник.

— За неволю вам люди будут худо делать, если вы их, когда они даже не виноваты, так браните,— заметил ему Павел.

— А вот — сам побольше поживешь с ними, да поуправляешь ими — и увидишь, как они не виноваты! — возразил ему на это полковник.

— А хоть бы и виноваты они были, мы не можем их бранить,— возразил ему в свою очередь Павел и ушел.

— Что это такое, что он говорит? — спрашивал полковник все еще продолжавших стоять перед ним Ивана и старосту Кирьяна.

Те на это ничего не отвечали и потупили только глаза.

Главным образом, Павла беспокоила мысль — чем же, наконец, эти люди за свои труды в пользу господ, за свое

раболепство перед ними, вознаграждены: одеты они были почти в рубища, но накормлены ли они, по крайней мере, досыта — в чем ни один порядочный человек собаке своей не отказывает? Павел, после одного знойного трудового дня, нарочно зашел посмотреть, что едят дворовые люди и задельные мужики. Он в ужас пришел: они ели один хлеб, намешанный в квас, и в квас очень плохой и только приправленный немного солью и зеленым луком, и тот не у всех был. Павел сам видел, как полковник прогнал одну девочку, забравшуюся в его огород — нарвать этого луку. Он сгорел со стыда при виде этой нищеты и, поспешив поскорей уйти из избы, прямо прошел к отцу.

— Батюшка! — начал он слегка дрожащим голосом.— У нас очень дурно едят люди.

— Чем же дурно? — спросил полковник, удивленный этим замечанием сына.— Так же, как и у других. Я еще больше даю, супротив других, и месячины, и привара, а мужики едят свое, не мое.

— Я не знаю, как у других едят и чье едят мужики — свое или наше,— возразил Павел,— но знаю только, что все эти люди работают на пользу вашу и мою, а потому вот в чем дело: вы были так милостивы ко мне, что подарили мне пятьсот рублей; я желаю, чтобы двести пятьдесят рублей были употреблены на улучшение пищи в нынешнем году, а остальные двести пятьдесят — в следующем, а потом уж я из своих трудов буду высылать каждый год по двести пятидесяти рублей,— иначе я с ума сойду от мысли, что человек, работавший на меня — как лошадь,— целый день, не имеет возможности съесть куска говядины, и потому прошу вас завтрашний же день велеть купить говядины для всех.

— Да они завтра и не станут есть говядины, потому что — пост,— проговорил полковник, совершенно опешенный этим монологом сына.

— Ну, так, гороху и крупы, а главное, я забыл, гречневой каши, потому что она очень много азоту в себе заключает и, таким образом, почти заменяет мясо.

— И ты думаешь, что они будут благодарны тебе за то? Как же, жди! Полебезят немного в глаза, а за глаза все-таки станут бранить и жаловаться.

— Батюшка, вы подарили мне эти деньги, и я их мог профрантить, прокутить, а я хочу их издержать таким образом, и вы, я полагаю, в этом случае не имеете уж

права останавливать меня! Вот вам деньги-с! — прибавил он и, проворно сходя в свою комнату, принес оттуда двести пятьдесят рублей и подал было их отцу.— Прошу вас, сейчас же на них распорядиться, как я вас просил!

— Да, полно, бог с тобой! Я и без твоих денег это сделаю,— проговорил полковник, отстранясь от денег.

— Я хочу это на свои деньги сделать, поймите вы меня! — убеждал его Павел.

— А я хочу — на свои! — прикрикнул полковник. Он полагал, что на сына временно нашла эта блажь, а потому он хотел его потешить.— Кирьян! — крикнул он.

Кирьян пришел.

— Вот, Павел Михайлович желает, чтобы людям выдана была провизия — пока гороху, грибов, сколько там их есть.

— Главное, каши гречневой,— повторил Павел,— да чтобы и мужикам задельным то же самое было выдано.

— Ну, и мужикам чтобы задельным,— подтвердил полковник, решившийся, кажется, слепо повиноваться во всем сыну.

— Зачем же мужикам-то задельным? — спросил даже Кирьян с удивлением.

— А затем, что нужно,— отвечал ему резко Павел.

— И скажи, чтобы за барчика бога молили: это по его желанию делается,— прибавил полковник.

— Слушаю-с,— отвечал Кирьян и пошел исполнять приказание барина.

Вечером, бабы и мужики, дворовые и задельные, подошли поблагодарить Павла и хотели было поцеловать у него руку, но он до этого их не допустил и перецеловался со всеми в губы.

— И вы будете постоянно получать такую пищу, а в мясоед вам мясо будет выдаваться.

— Ой, батюшки, милости какие! — проговорили больше бабы.

— Благодарствуем на том! — проговорили некоторые из мужиков.

— Водочки бы приказали поднести: рабочему человеку это нужней всего,— произнес один мозглявый мужичонка.

— Тебе бы еще и водочки! — остановили его другие.

— Водочки я никогда не велю вам летом давать, потому что она содержит в себе много углероду, а углерод

нужен, когда мы вдыхаем много кислороду; кислород же мы больше вдыхаем зимой, когда воздух сжат.

— Это точно-с! — почему-то согласились с ним и некоторые мужики.

Полковник смотрел на всю эту сцену, сидя у открытого окна и улыбаясь; он все еще полагал, что на сына нашла временная блажь, и вряд ли не то же самое думал и Иван Алексеев, мужик, столь нравившийся Павлу, и когда все пошли за Кирьяном к амбару получать провизию, он остался на месте.

— А ты отчего не идешь? — спросил его Павел.

— Нет, бог с ним! Что, я и свое ем,— сказал он, улыбнувшись, и затем, поклонясь господам, отправился к себе в избу.

Павла это тронуло до глубины души.

«И этот гордый и грандиозный народ,— думал он,— находится до сих пор еще в рабстве!»

Когда Павел возвратился в комнаты, полковник подозвал его к себе и погладил по голове.

— Добрый ты у меня будешь, добрый. Это хорошо! — произнес старик.— А вот богу так мало молишься, мало — как это можно: ни вставши поутру, ни ложась спать, лба не перекрестишь!

— Отвычка! — отвечал Павел.

Религиозное чувство, некогда столь сильно владевшее моим героем, в последнее время, вследствие занятий математическими и естественными науками, совсем почти пропало в нем. Самое большое, чем он мог быть в этом отношении, это — пантеистом, но возвращение его в деревню, постоянное присутствие при том, как старик отец по целым почти ночам простаивал перед иконами, постоянное наблюдение над тем, как крестьянские и дворовые старушки с каким-то восторгом бегут к приходу помолиться,— все это, если не раскрыло в нем религиозного чувства, то, по крайней мере, опять возбудило в нем охоту к этому чувству; и в первое же воскресенье, когда отец поехал к приходу, он решился съездить с ним и помолиться там посреди этого простого народа. Полковник ездил к приходу на низеньких дрожках, на смирной и старой лошади. Павел велел себе оседлать лошадь, самую красивую из всей конюшни: ему хотелось возобновить для себя также и это некогда

столь любимое им удовольствие. Полковник еле уселся на свой экипаж, а когда поехал, то совсем сгорбился и начал трястись, как старушонка какая-нибудь.

— Папаша, вам беспокойно ездить на этих дрожках,— сказал Павел.

К чести его, надо сказать, что во весь свой последний приезд он относился к отцу с какою-то почтительной нежностью.

— Что делать! На всем другом — боюсь.

— Папаша, старый кавказец,— не стыдно ли вам!

— Да, кавказец! — воскликнул полковник с удовольствием.— Укатали, брат, бурку крутые горки.

Павел, к удивлению своему, не чувствовал никакого особенного удовольствия от верховой езды: напротив, ему было и скучно, и неловко. Мостик, столь пугавший его некогда своею дырой, он проехал, не заметив даже; а шумевшая и пенившаяся речонка, на этот раз, пересохла и была почти без воды.

«Нет, эти детские ощущения миновали для меня навсегда!» — подумал Павел,— и тут же, взглянув несколько в сторону, увидел поляну, всю усеянную незабудками.— «Как бы хорошо гулять по этой поляне с какою-нибудь молоденькою и хорошенькою девушкой, и она бы сплела из этих незабудок венок себе и надела бы его на голову»,— думалось ему, и почему-то вдруг захотелось ему любить; мало того, ему уверенно представилось, что в церкви у этого прихода он и встретит любовь! Но кого же? — Павел перебирал в уме всех, могущих там быть лиц, но ни на кого, хоть сколько-нибудь подходящего к тому, не напал, а уверенность между тем росла все больше и больше, так что ему сделалось даже это смешно.

По приезде к приходу, на крыльце и на паперти храма Павел увидал множество нищих, слепых, хромых, покрытых ранами; он поспешил раздать им все деньги, какие были при нем. Стоявший в самой церкви народ тоже кинулся ему в глаза тем, что мужики все были в серых армяках, а бабы — в холщовых сарафанах, и все почти — в лаптях, но лица у всех были умные и выразительные.

«Не лучше ли бы было,— думал Павел с горечью в сердце, глядя, как все они с усердием молились,— чем возлагать надежды на неведомое существо, они выдума-

ли бы себе какой-нибудь труд поумней или выбили бы себе другое социальное положение!»

Между тем двери в церковь отворились, и в них шумно вошла — только что приехавшая с колокольцами — становая. Встав впереди всех, она фамильярно мотнула головой полковнику но, увидев Павла, в студенческом, с голубым воротником и с светлыми пуговицами, вицмундире, она как бы даже несколько и сконфузилась: тот был столичная штучка!

Вслед за становой вошел высокий мужчина с усами и бородой, в длиннополом синем сюртуке и нес на руке какое-то легонькое манто. Он прошел прямо на клирос и, установясь в очень, как видно, для него привычной позе, сейчас же принялся густым басом подпевать дьячкам.

После обедни становая, подошедшая первая к кресту, сейчас же отнеслась к полковнику:

— Михаил Поликарпыч, надеюсь, что вы у меня откушаете! — произнесла она, заметно жеманясь.

— Да вот, как — он,— сказал полковник, указывая на сына.

— Надеюсь и прошу вас! Вам совершенно мимо наших ворот домой ехать,— прибавила она, обращаясь к Павлу, уже с опущенными глазами.

Становая своею полною фигурой напомнила ему г-жу Захаревскую, а солидными манерами — жену Крестовникова. Когда вышли из церкви, то господин в синем сюртуке подал ей манто и сам уселся на маленькую лошаденку, так что ноги его почти доставали до земли. На этой лошаденке он отворил для господ ворота. Становая, звеня колокольцами, понеслась марш-марш вперед. Павел поехал рядом с господином в синем сюртуке.

— Барыня-то какая лошадинница — все бы ей на курьерских летать,— проговорил тот, показывая головой на становую.

— А вы человек ихний? — спросил его Павел.

— Нет,— отвечал синий господин, как бы несколько сконфуженный этим вопросом,— я нанят у них при стане.

— Что́ же вы — письмоводитель? — спросил опять Павел.

— Нет,— отвечал синий господин,— словно бы пони-

же — рассыльный. Прежде служитель алтаря был! — прибавил он и, заметив, что становая уехала далеко от них, проговорил: — Поехать — барыне ворота отворить, а то ругаться после станет! — И вслед затем, он стал изо всей силы колотить свою лошаденку находящейся у него в руках хворостиной; лошаденка поскакала. Когда Павел приехал к становой квартире (она была всего в верстах в двух от села) и вошел в небольшие сенцы, то увидел сидящего тут человека с обезображенным и совершенно испитым лицом, с кандалами на ногах; одною рукой он держался за ногу, которую вряд ли не до кости истерло кандалою.

— Кто это такой? — спросил он у рассыльного, который успел уже приехать и отворил ему дверь в комнаты.

— Это беглого солдата пересылают,— отвечал тот совершенно спокойно.

— Зачем же ноги у него так обтерты? — спросил Павел, отворачиваясь и не могши почти видеть несчастливца.

— У нас трут, не смазывают: благо народу-то много! — проговорил каким-то грустно-насмешливым голосом рассыльный.

Войдя в комнаты, Павел увидел, кроме хозяйки, еще одну даму, или, лучше сказать, девицу, стоявшую к нему спиной: она была довольно стройна, причесана по-модному и, видимо, одета не в деревенского покроя платье.

«Уж не та ли эта особа, в которую мне сегодня предназначено влюбиться?» — подумал Павел, вспомнив свое давешнее предчувствие, но когда девица обернулась к нему, то у ней открылся такой огромный нос и такие рябины на лице, что влюбиться в нее не было никакой возможности.

По простоте деревенских нравов, хозяйка никого никому не представляла. Девица, впрочем, сама присела Павлу и, как кажется, устремила на него при этом довольно внимательный взгляд.

Обед сейчас же почти последовал после приезда. За столом, кроме четырех приборов для полковника и сына, самой хозяйки и девицы, поставлен был еще пятый прибор.

Становая, как села за стол, так сейчас же крикнула:

— Добров, где ж ты?

На этот зов вошел рассыльный, стоявший до того в передней.

— Садись обедать-то, Михаил Поликарпыч позволит,— сказала становая, указав ему головой на пустой прибор.

— Позволите, ваше высокородие? — спросил Добров полковника.

— Садись — мне что́? — разрешил тот.

Добров сел, потупился и начал есть, беря рукою хлеб — как берут его обыкновенно крестьяне. Все кушанья были, видимо, даровые: дареная протухлая соленая рыба от торговца съестными припасами в соседнем селе, наливка, настоенная на даровом от откупщика вине, и теленок от соседнего управляющего (и теленок, должно быть, весьма плохо выкормленный), так что Павел дотронуться ни до чего не мог: ему казалось, что все это так и провоняло взятками!

Барышня между тем, посаженная рядом с ним, проговорила вслух, как бы ни к кому собственно не относясь, но в то же время явно желая, чтобы Павел это слышал:

— Я, так досадно, сегодня проспала; проснулась и спрашиваю: где Маша? — «Да помилуйте, говорят, она с час как уехала к обедне». Так досадно.

Но Павел не поддержал этого разговора и с гораздо большим вниманием глядел на умную фигуру Доброва.

— Отчего же вы из служителей алтаря очутились в рассыльных? — спросил он его.

— Расстрижен из своего сана,— отвечал тот, сейчас же вставая на ноги.

— За что же? Сидите, пожалуйста!

Добров сел.

— По несчастию своему,— отвечал он.

— Ну, не столько, чай, по несчастию, сколько за пьянство свое,— подхватила становая.

— Не я один пью, Пелагея Герасимовна, и другие прочие тоже пьют.

— Пьют, да все, видно, поумней и поскладней твоего, не так уже очень безобразно,— проговорила становая.

— Он, вероятно, теперь не пьет,— заметил Павел, желая хоть немного смягчить эти грубые слова ее.

— Не пьет, как денег нет, да и кочерги Петра Матвеича побаивается.

(Петр Матвеич был муж становой).

— Какой кочерги? — спросил ее Павел.

— Тот его — кочергой сейчас, как заметит, что от рыла-то у него пахнет. Где тут об него руки-то марать; проберешь ли его кулаком! Ну, а кочерги побаивается, не любит ее!

— Кто ж ее любит, сударыня? — произнес рассыльный и весь покраснел при этом, как вареный рак.

Барышня же (или m-lle Прыхина, как узнал, наконец, Павел) между тем явно сгорала желанием поговорить с ним о чем-то интересном и стала уж, кажется, обижаться немножко на него, что он не дает ей для того случая.

После обеда, наконец, когда Павел вместе с полковником стали раскланиваться, чтобы ехать домой, m-lle Прыхина вдруг обратилась к нему:

— Monsieur Вихров, — начала она немного лукавым голосом, — меня не знает, а я его знаю очень хорошо.

— Меня? — спросил Павел.

— Да, вас. Мне про вас очень много рассказывала одна моя соседка и приятельница.

— Кто такая? — спросил Павел.

— Madame Фатеева, — отвечала многознаменательно m-lle Прыхина.

— Ах, боже мой! — воскликнул Павел. — Она опять сюда приехала?

— Да, она опять приехала — возвратилась к мужу, — продолжала m-lle Прыхина тем же знаменательным тоном.

— И, что же, ладит с ним? — спросил Павел.

— Ладит, по возможности, что же делать? Не имея состояния, надо ладить!

— Поклонитесь ей, пожалуйста, от меня, когда ее увидите, — проговорил Павел.

— И только? — спросила m-lle Прыхина опять уже лукаво.

— Только, разумеется, — отвечал Павел.

— Странно! — проговорила m-lle Прыхина, и на некрасивом лице ее изобразилось удивление.

Павел, в свою очередь, тоже посмотрел на нее с некоторым вниманием.

Вскоре потом он выехал с отцом.

Когда Павел садился на лошадь, которую подвел ему Добров и подержал даже ему стремя, он не утерпел и спросил его:

— Отчего вы служите в рассыльных и не приищете себе более приличного места?

— Мне нельзя, сударь, — отвечал тот ему своим басом, — я точно что человек слабый — на хороших местах меня держать не станут.

Павел дал шпоры своей лошади и поехал. Вся жизнь, которую он видел в стану, показалась ему, с одной стороны, какою-то простою, а с другой — тяжелою, безобразною и исковерканною, точно кривулина какая.

IX

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОПТИН

Желая развлечь сына, полковник однажды сказал ему:

— А что́, не хочешь ли, поедем к Александру Ивановичу Коптину?

Павел некоторое время думал.

— К Коптину? — повторил он.

Ему и хотелось съездить к Коптину, но в то же время немножко и страшно было: Коптин был генерал-майор в отставке и, вместе с тем, сочинитель. Во всей губернии он слыл за большого вольнодумца, насмешника и даже богоотступника.

— А что́, он не очень важничает своим генеральством и сочинительством? — спросил Павел отца.

— Нет, не очень!.. Когда трезв, так напротив весьма вежлив и приветлив; ну, а как выпьет, так занесет немного... Со мной у него тоже раз, — продолжал полковник, — какая стычка была!.. Рассказывает он про Кавказ, про гору там одну, и слышу я, что врет; захотелось мне его немножко остановить. «Нет, говорю, ваше превосходительство, это не так; я сам чрез эту гору переходил!» — «Где, говорит, вам переходить; может быть, как-нибудь пьяный перевалились через нее!» Я говорю: «Ваше превосходительство, я двадцать лет здесь живу, и меня, благодаря бога, никто еще пьяным не видал; а вас — так, говорю, слыхивал, как с праздника из Кузьминок, на руки подобрав, в коляску положили!» Засмеялся... «Было, говорит, со мной, полковник, это, было!.. Не выдержало мое генеральское тело и сомлело перед очьми народными!» По-славянски, знаешь, этак заговорил — черт его знает что такое!

Павел однако решился съездить к Коптину.

В день отъезда, полковник вырядился в свой новый вицмундир и во все свои кресты; Павлу тоже велел одеться попараднее.

— Нельзя, братец, все-таки генерал! — сказал он ему по этому поводу,— и презамечательный на это, бестия!.. Даром что глядит по сторонам, все в человеке высмотрит.

Дорогой Павел продолжал спрашивать отца о Коптине.

— Скажите, папаша, ведь он сослан был?

— Как же, при покойном еще государе Александре Павловиче, в деревню свою, чтобы безвыездно жил в ней.

— За что же?

Полковник усмехнулся.

— Песню он, говорят, какую-то сочинил с припевом этаким. Во Франции он тоже был с войсками нашими, ну и понабрался там этого духу глупого.

— Какая же это песня, папаша?

— Не знаю, — отвечал полковник. Он знал, впрочем, эту песню, но не передал ее сыну, не желая заражать его вольнодумством.

— А как же его простили?

— Простили его потом, когда государь проезжал по здешней губернии; ну, и с ним Вилье всегда ездил, по левую руку в коляске с ним сидел... Только вот, проезжая мимо этого Семеновского, он и говорит: «Посмотрите, говорит, ваше величество, какая усадьба красивая!.. (прошен уж тоже заранее был). Это, говорит, несчастного Коптина, который в нее сослан!» — «А, говорит государь, разрешить ему въезд в Петербург!»

— А скажите, папаша, — продолжал Павел, припоминая разные подробности, которые он смутно слыхал в своем детстве про Коптина, — декабристом он был?

— Нет, не был! Со всеми с ними дружен был, а тут как-то перед самым их заговором, на счастье свое, перессорился с ними! Когда государю подали список всех этих злодеев, первое слово его было: «А Коптин — тут, в числе их?» — «Нет»,— говорят.— «Ну, говорит, слава богу!» Любил, знаешь, его, дорожил им. Вскоре после того в флигель-адъютанты было предложено ему — отказался: «Я, говорит, желаю служить отечеству, а не на паркете!» Его и послали на Кавказ: на, служи там отечеству!

— Все это однако показывает, что он человек благородный.

— О, поди-ка — с каким гонором, сбрех только: на Кавказе-то начальник края прислал ему эту, знаешь, книгу дневную, чтобы записывать в нее, что делал и чем занимался. Он и пишет в ней: сегодня занимался размышлением о выгодах моего любезного отечества, завтра там — отдыхал от сих мыслей,— таким шутовским манером всю книгу и исписал!.. Ему дали генерал-майора и в отставку прогнали.

— Что́ же он делает тут, чем занимается?

— Чем заниматься-то? Сидит, разглагольствует, в коляске четверней ездит, сам в черкеске ходит; людей тоже всех черкесами одел.

Когда Вихровы приехали в усадьбу Александра Ивановича и подъехали к его дому, их встретили два — три очень красивых лакея, в самом деле одетые в черные черкеские чепаны.

— Его превосходительство дома? — спросил не без уважения полковник.

— У себя-с! — отвечал один из лакеев.

Павел почувствовал, что от всех от них страшно воняло водкой.

Самого генерала Вихровы нашли в высокой и пространной зале сидящим у открытого окна. Одет он был тоже в черкеске, но только — верблюжьего цвета, отороченной настоящим серебряным позументом и с патронташами на груди. Он был небольшого роста, очень стройный, с какой-то ядовито-насмешливой улыбкой и с несколько лукавым взглядом. В одной руке он держал газету, а в другой — трубку с длиннейшим черешневым чубуком и с дорогим янтарным мундштуком. Невдалеке от него сидел, как-то навытяжке и с почтительною физиономией, священник из его прихода.

— Здравствуйте, Михайло Поликарпыч! — воскликнул Коптин довольно дружелюбно. Полковник опять-таки с уважением расшаркался перед ним и церемонно представил ему сына, пояснив с некоторым ударением: «Студент Московского университета!»

На Александра Ивановича этот титул произвел, кажется, весьма малое впечатление.

— Садитесь! — продолжал он, показывая обоим гостям на стулья.

Те сели.

— Потрудитесь отдохнуть, как говорят, а?.. Хорошо?..

Мило?.. — произносил он, как-то подчеркивая каждое слово и кидая вместе с тем на гостей несколько лукавые взгляды.

Павел догадался, что это была сказана острота: *потрудитесь отдохнуть.*

— Часто употребляют такие несообразности! — пояснил он.

— Нет-с, не часто!.. Вовсе не часто!.. — возразил генерал, как бы обидевшись этим замечанием.— Вон у меня брат родной действительно подписывался в письмах к матушке: *«Примите мое глубочайшее высокопочитание!»* — так что я, наконец, говорю ему: «Мой милый, то, что *глубоко,* не может быть *высоко!..»* Ах, да, полковник! — прибавил вдруг Коптин, обращаясь уже прямо к Михайлу Поликарповичу.— Я опять к вам с жалобой на обожаемое вами правительство!.. Смотрите, чтó оно пишет: *«Признавая в видах благоденствия...»* Да предоставило бы оно нам знать: благоденствие это или нет.

— Разумеется, благоденствие, — подтвердил полковник.

— Вы думаете? — спросил его ядовито Коптин.

— Думаю, —отвечал сердито полковник.

— Ну, а я признаюсь, *немножко* в этом сомневаюсь... Сомневаюсь *немножко!* — повторил Александр Иванович, произнося насмешливо слово *немножко.* И, вслед затем, он встал и подошел к поставленной на стол закуске, выпил не больше четверти рюмочки водки и крикнул: «Миша!». На этот зов вбежал один из юных лакеев его. Не ожидая дальнейших приказаний барина, он взял у него из рук трубку, снова набил ее, закурил и подал ему ее. Александр Иванович начал ходить по зале и курить. Всеми своими словами и манерами он напомнил Павлу, с одной стороны, какого-то умного, ловкого, светского маркиза, а с другой — азиатского князька.

— Куда же вы думаете из университета поступить-с? — обратился он, наконец, к Павлу, и с заметно обязательным тоном.

— Вероятно, в штатскую службу, — отвечал тот.

— Чтó нынче военная-то служба, — подтвердил и полковник, — пустой только блеск она один!

— А вот чтó такое военная служба!.. — воскликнул Александр Иванович, продолжая ходить и подходя по временам к водке и выпивая по четверть рюмки. — Я-с был

девятнадцати лет от роду, титулярный советник, чиновник министерства иностранных дел, но когда в двенадцатом году моей матери объявили, что я поступил солдатом в полк, она встала и перекрестилась: «Благодарю тебя, боже, — сказала она, — я узнаю в нем сына моего!»

Проговоря это, Александр Иванович значительно мотнул головой полковнику, который, с своей стороны, ничего, кажется, не нашел возразить против того.

Александр Иванович обратился после того к священнику.

— Поведайте вы мне, святый отче, хорошо ли вы съездили с вашей иконой за озеро?

— Слава богу-с, — отвечал тот, сейчас же вставая на ноги.

— Это, изволите видеть, — обратился Коптин уже прямо к Павлу, — они с своей чудотворной иконой ездят каждый год зачем-то за озеро!

— Народ усердствует и желает того, — отвечал священник, потупляя свои глаза.

— И много вы исцелили слепых, хромых, прокаженных? — спросил его Коптин.

— Исцеления были-с, — отвечал священник, не поднимая глаз и явно недовольным голосом.

Александр Иванович в это время на мгновение и лукаво взглянул на Павла.

— У меня написана басня-с, — продолжал он, исключительно уже обращаясь к нему, — что одного лацароне подкупили в Риме англичанина убить; он раз встречает его ночью в глухом переулке и говорит ему: «Послушай, я взял деньги, чтобы тебя убить, но завтра день святого Амвросия, а патер наш мне на исповеди строго запретил людей под праздник резать, а потому будь так добр, зарежься сам, а ножик у меня вострый, не намает уж никак!..» Ну, как вы думаете — наш мужик русский побоялся ли бы патера, или нет?.. Полагаю, что нет!.. Полагаю!.. Если нужно, так и под праздник бы зарезал! — заключил Александр Иванович.

Священник слушал его, потупив голову. Полковник тоже сидел, нахмурившись: он всегда терпеть не мог, когда Александр Иванович начинал говорить в этом тоне. «Вот за это-то бог и не дает ему счастия в жизни: генерал — а сидит в деревне и пьет!» — думал он в настоящую минуту про себя.

— Что же я, господа, вас не угощаю!.. — воскликнул вдруг Александр Иванович, как бы вспомнив, наконец, что сам он, по крайней мере, раз девять уж прикладывался к водке, а гостям ни разу еще не предложил.

Священник отказался. Полковник тоже объявил, что он пьет только перед обедом.

— Дурно-с вы делаете! — произнес Александр Иванович. — У нас еще Владимир, наше красное солнышко, сказал: «Руси есть веселие пити!» Я не знаю — я ужасно люблю князя Владимира. Он ничего особенно путного не сделал, переменил лишь одно идолопоклонство на другое, но — красное солнышко, да и только!

— У вас даже есть прекрасное стихотворение о Владимире — *Кубок,* кажется, называется,— подхватил Павел с полною почтительностью и более всего желая поговорить с Александром Ивановичем о литературе.

— Есть!.. Есть!.. — отвечал тот, ходя по комнате и закидывая голову назад.

— В Москве, та́к это досадно, — продолжал Павел, — почти совсем не дают на театре ваших переводов из Корнеля и Расина.

— И в Петербурге тоже-с, и в Петербурге!.. По крайней мере, когда я в последний раз был там, — говорил Александр Иванович явно грустным тоном, — Вася Каратыгин мне прямо жаловался, что он играет всякую дребедень, а что поумней — ему не позволяют играть.

— Нынче Гоголя больше играют! — произнес Павел, вовсе не ожидая — какая на него из-за этого поднимется гроза.

Александра Ивановича точно кто ущипнул или даже ужалил.

— Боже мой, боже мой! — воскликнул он, забегав по комнате.— Этот Гоголь ваш — лакей какой-то!.. Холоп! У него на сцене ругаются непристойными словами!.. Падают!.. Разбивают себе носы!.. Я еще Грибоедову говорил: «Для чего это ты, мой милый, шлепнул на пол Репетилова — разве это смешно?» Смешно разве это? — кричал Александр Иванович.

Павел очень этим сконфузился.

— В комедии-с, — продолжал Александр Иванович, как бы поучая его, — прежде всего должен быть ум, острота, знание сердца человеческого, — где же у вашего Гоголя все это, где?

— У него юмору очень много, — юмор страшный, — возразил скромно Павел и этим опять рассердил Александра Ивановича.

— Да что́ такое этот ваш юмор — скажите вы мне, бога ради! — снова закричал он. — Но фраз мне не смейте говорить! Скажите прямо, что́ вы этим называете?

— Юмор — слово английское, — отвечал Павел не совсем твердым голосом, — оно означает известное настроение духа, при котором человеку кажется все в более смешном виде, чем другим.

— Значит, он сумасшедший! — закричал Александр Иванович. — Его надобно лечить, а не писать ему давать. В мире все имеет смешную и великую сторону, а он там, каналья, навараксал каких-то карикатур на чиновников и помещиков, и мой друг, Степан Петрович Шевырев, уверяет, что это *поэма,* и что тут *вся Россия*! В кривляканьи какого-то жаргондиста — *вся Россия!*

Павел решился уж лучше не продолжать более разговора о Гоголе, но полковник почему-то вдруг вздумал заступиться за сего писателя.

— Не знаю, вот он мне раз читал, — начал он, показывая головой на сына, — описание господина Гоголя о городничем, — прекрасно написано: все верно и справедливо!

— Это вам потому, полковник, понравилось, — подхватил ядовито Александр Иванович, — что вы сами были комендантом и, вероятно, взя́точки побирали.

Михаил Поликарпович весь вспыхнул.

— Это вы, может быть, побирали, а я — нет-с! — возразил он с дрожащими щеками и губами.

Александр Иванович засмеялся.

— Знаю, мой милый ветеран, что — нет!.. — подхватил он, подходя и трепля полковника по плечу. — Потому-то и шучу с вами так смело.

Павел между тем опять поспешил перевести разговор на литературу.

— Я читал в издании «Онегина», что вы Пушкину делали замечание насчет его Татьяны, — отнесся он к Александру Ивановичу. Лицо того мгновенно изменилось. Видимо, что речь зашла о гораздо более любезном ему писателе.

— Делал-с! — отвечал он самодовольно. — Прямо писал ему: «Как же это, говорю, твоя Татьяна, выросшая в *деревенской глуши* и начитавшаяся только *Жуковского чертовщины,* вдруг, выйдя замуж, как бы по щучьему велению делается светской женщиной — холодна, горда,

неприступна?..» Как будто бы светскость можно сразу взять и надеть, как шубу!.. Мы видим этих выскочек из *худородных*. В какой мундир или роброн ни наряди их, а все сейчас видно, что — мужик или баба. Госпожа Татьяна эта, я уверен, в то время, как встретилась с Онегиным на бале, была в замшевых башмаках — ну, и ему она могла показаться и светской, и неприступной, но как же поэт-то не видел тут обмана и увлечения?

Павел был почти совершенно согласен с Александром Ивановичем.

— А правда ли, Александр Иванович, что вы Каратыгина учили? — спросил он уже более смелым голосом.

— Немножко-с! — отвечал Александр Иванович, лукаво улыбаясь.—Вы видали самого Каратыгина на сцене? — спросил он Павла.

— Сколько раз, когда он приезжал в Москву, — отвечал тот поспешно.

— Погодите, я вам несколько напомню его, книжку только возьму, — сказал Александр Иванович и поспешно ушел в свою комнату.

Оставшиеся без него гости некоторое время молчали. Полковник, впрочем, не утерпел и отнесся к священнику.

— Что врет-то, экой враль безумный! — проговорил он.

Священник на это в раздумье покачал только головой и вздохнул.

— Ужасно как трудно нам, духовенству, с ним разговаривать, — начал он, — во многих случаях доносить бы на него следовало!.. Теперь-то еще несколько поунялся, а прежде, бывало, сядет на маленькую лошаденку, а мужикам и бабам велит платки под ноги этой лошаденке кидать; сначала и не понимали, что такое это он чудит; после уж только раскусили, что это он патриарха, что ли, из себя представляет.

— Как патриарха? — воскликнул Павел.

— Так-с, — отвечал с грустью священник.

— Спьяну все ведь это творил! — подхватил полковник.

— Конечно, что уж не в полном рассудке,— подтвердил священник. — А во всем прочем — предобрый! — продолжал он. — Три теперь усадьбы у него прехлебороднейшие, а ни в одной из них ни зерна хлеба нет, только на семена велит оставить, а остальное все бедным раздает!

На этих словах священника Александр Иванович вы-

шел с книжкою в руках своего перевода. Он остановился посредине залы в несколько трагической позе.

— Вы знаете сцену Федры с Ипполитом? — спросил он Павла..

Тот поспешил сказать, что знает.

Александр Иванович зачитал: в дикции его было много декламации, но такой умной, благородной, исполненной такого искреннего неподдельного огня, что — дай бог, чтобы она всегда оставалась на сцене!.. Произносимые стихи показались Павлу верхом благозвучия; слова Федры дышали такою неудержимою страстью, а Ипполит — как он был в каждом слове своем, в каждом движении, благороден, целомудрен! Такой высокой сценической игры герой мой никогда еще не видывал.

— Что, похоже? — спросил Александр Иванович, останавливаясь читать и утирая с лица пот, видимо выступавший у него от задушевнейшего волнения.

— Похоже, только гораздо лучше,— произнес задыхающимся от восторга голосом Павел.

— Я думаю — немножко получше!—подхватил Александр Иванович, без всякого, впрочем, самохвальства,— потому что я все-таки стою ближе к крови царей, чем мой милый Вася! Я — барин, а он — балетмейстер.

— Вот это и я всегда говорю! — подхватил вдруг полковник, желавший на что бы нибудь свести разговор с театра или с этого *благованья,* как называл он сие не любимое им искусство.— Александра Ивановича хоть в серый армяк наряди, а все будет видно, что барин!

— Будет видно-с, будет! — согласился и Александр Иванович.

— Какой у вас перевод превосходный,—говорил между тем ему Павел.

— Вам нравится? — спросил с явным удовольствием Александр Иванович.

— Очень! — отвечал Павел совершенно искренно.

— В таком случае, позвольте вам презентовать сию книжку! — проговорил Александр Иванович и, подойдя к столу, написал на книжке: *Павлу Михайловичу Вихрову, от автора,*— и затем подал ее Павлу.

Полковник наконец встал, мигнул сыну, и они стали раскланиваться.

— На этой же бы неделе был у вас, чтобы заплатить визит вам и вашему милому юноше,— говорил любезно

Александр Иванович,— но — увы! — еду в губернию к преосвященному владыке.

— Это зачем? — спросил полковник.

— Испрашивать разрешения быть строителем храма божия,— отвечал Александр Иванович.— И, может быть, он мне даже, святый отче, не разрешит того? — обратился он к священнику.

— Отчего же-с,— отвечал тот, опять потупляясь.

— Оттого, что я здесь слыву богоотступником. Уверяю вас! — отнесся Александр Иванович к Павлу.— Когда я с Кавказа приехал к одной моей тетке, она вдруг мне говорит: — «Саша, перекрестись, пожалуйста, при мне!» Я перекрестился.— «Ах, говорит, слава богу, как я рада, а мне говорили, что ты и перекреститься совсем не можешь, потому что продал черту душу!»

— Ну, вы наскажете, вас не переслушаешь! — произнес полковник и поспешил увести сына, чтобы Александр Иванович не сказал еще чего-нибудь более резкого.

Когда они сели в экипаж, Павел сейчас же принялся просматривать перевод Коптина.

— Папаша, папаша! — воскликнул он.— Стихи Александра Иваныча, которые мне так понравились в его чтении, ужасно плохи.

— Ну, вот видишь! — подхватил как бы даже с удовольствием полковник.— Мне, братец, главное, то понравилось, что ты ему во многом не уступал: нет, мол, ваше превосходительство, не врите!

— Что ж ему было уступать,— подхватил не без самодовольства Павел,— он очень много пустяков говорил, хотя бы про того же Гоголя!

— Ну да! — согласился полковник.

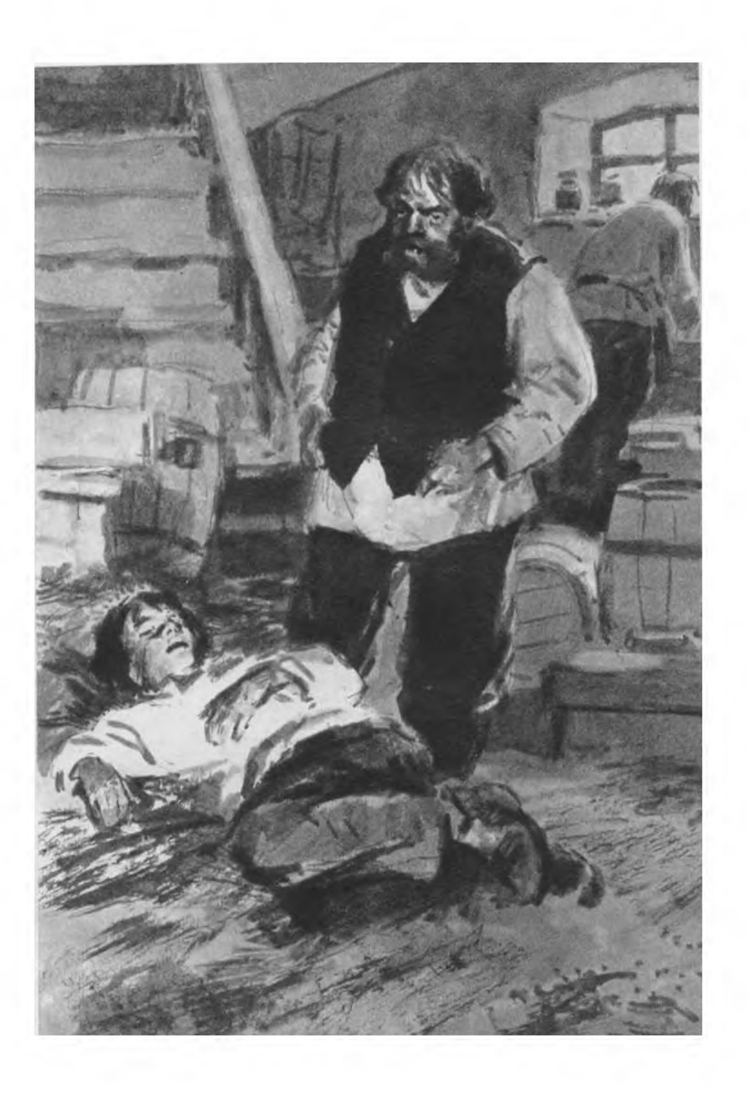
— Как у него сегодня все эти любимцы-то его перепились,— вмешался в разговор кучер Петр.— Мы поехали, а они драку промеж собой сочинили.

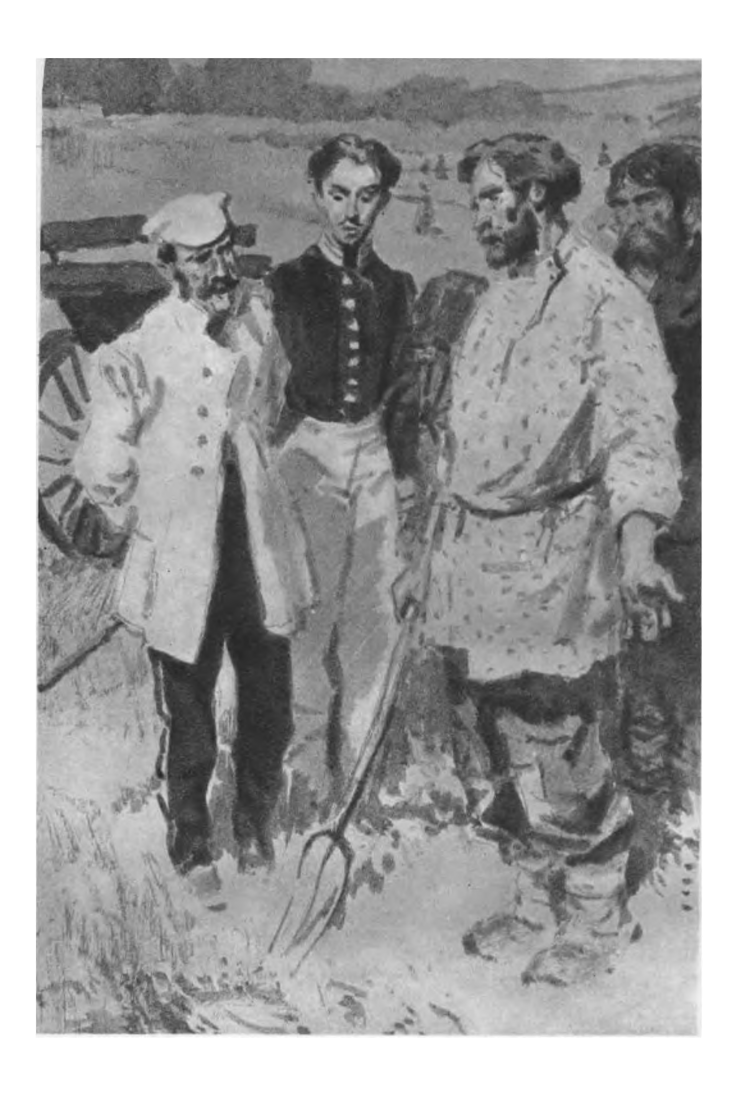
— Чего уж тут ждать! — сказал на это что-то такое Михаил Поликарпович.

X

НЕОЖИДАННЫЕ ГОСТИ

Вакация Павла приближалась к концу. У бедного полковника в это время так разболелись ноги, что он и из комнаты выходить не мог. Старик, привыкший целый





день быть на воздухе, по необходимости ограничивался тем, что сидел у своего любимого окошечка и посматривал на поля. Павел, по большей части, старался быть с отцом и развеселял его своими разговорами и ласковостью. Однажды полковник, прищурив свои старческие глаза и посмотрев вдаль, произнес:

— А, ведь, с Сивцовской горы, должно быть, экипаж какой-то едет.

— Где, папаша? — спросил Павел и, взглянув по указанию полковника, в самом деле увидел, что по едва заметной вдали дороге движется какая-то черная масса.

— Кто ж это такие?—спросил он довольным голосом: ему уж сильно поприскучило деревенское уединение, и он очень желал, чтобы кто-нибудь к ним приехал.

— Не знаю! — отвечал протяжно полковник, видимо, недоумевая.— Это к нам! — прибавил он, когда экипаж, выехав из леска, прямо повернул на дорогу, ведущую к ним в усадьбу.

— А есть ли запас у нас, и будет ли чем накормить гостей? — спросил с беспокойством Павел.

— Есть, будет! Это две какие-то дамы,—говорил полковник, когда экипаж стал приближаться к усадьбе.

— Какие же это могут быть дамы? — спросил Павел с волнением в голосе и, не утерпев долее дожидаться, вышел на крыльцо, чтобы поскорее увидеть, кто такие приехали.

Коляска, запряженная четвернею, вкатилась на двор. В одной из дам Павел узнал m-me Фатееву, а в другой — m-lle Прыхину.

— Боже мой! — говорил он радостно, и сам отпер у коляски дверцу, когда экипаж остановился перед крыльцом.

— Вот, вы не хотели ко мне приехать, так я к вам приехала,— говорила Фатеева, слегка опираясь на руку Павла, когда выскакивала из коляски, а потом дружески пожала ему руку.

Он почувствовал, что рука ее сильно при этом дрожала. Что касается до наружности, то она значительно похорошела: прежняя, несколько усиленная худоба в ней прошла, и она сделалась совершенно бель-фам, но грустное выражение в лице по-прежнему, впрочем, оставалось.

— Monsieur Вихров не хотел меня пригласить к себе, но я сама к нему тоже приехала! — повторила за своей

приятельницей и m-lle Прыхина с своею обычно развязною манерой.

— Познакомьте меня с вашим отцом,— сказала m-me Фатеева торопливо Павлу. Голос ее при этом был неровен.

— Непременно! — отвечал он и торопливо повел обеих дам к полковнику.

— Это madame Фатеева! — сказал он отцу.

— Очень рад,— отвечал полковник, привставая со своего места.

— Я давно, Михаил Поликарпович, желала быть у вас,— начала как бы совершенно искренним голосом m-me Фатеева,— и муж мой тоже, но он теперь уехал в вологодское имение свое и — как воротится, так непременно будет у вас.

— Благодарю покорно! — говорил полковник, стоя перед нею, немного наклонившись и растопырив руки.

— Да вы сядьте, пожалуйста,— проговорила m-me Фатеева, слегка дотрогиваясь до полковника и усаживая его,— вас, я слышала, очень тревожат раны ваши несносные.

— Не столько, я полагаю, раны, сколько лета мои.

— А с сыном вашим мы давно друзья,— продолжала Фатеева.

— Слышал это,— произнес полковник с улыбкой.

— И мы с вами — соседи весьма недальние: не больше тридцати верст.

— Ну, будут и все сорок,— сказал полковник. По его тону весьма было заметно, что у него некоторый гвоздь сидел в голове против Фатеевой. «Барыня шалунья!» — думал он про себя.

M-lle Прыхина, все время стоявшая перед полковником, точно солдат, навытяжке и дожидавшаяся, когда придет ее очередь рекомендоваться Михаилу Поликарповичу, воспользовавшись первой минутой молчания Фатеевой, сейчас же отнеслась к нему:

— А мне позвольте представиться... я — Прыхина.

— Дочь казначея, вероятно, нашего? — произнес, и перед нею склоняя голову, полковник.

— Точно так. Отец мой тридцать лет казначеем! — проговорила она с какою-то гордостью, обращаясь к Павлу, и затем, поведя как-то носом по воздуху, прибавила: — Какой вид тут у вас прекрасный — премиленький!

— Да, недурной,— отвечал полковник, несколько пораженный ее бойкостью.

M-me Фатеева между тем села с Павлом несколько в стороне на диване. Он был почти в лихорадке: пожатие прелестной ручки m-me Фатеевой пронзило как бы электрическими иглами все тело его.

— Что же, ваша история с Постеном кончилась? — спросил он ее вполголоса.

— Давно,— отвечала она ему тоже тихо.

— Как же вы приехали к вашему мужу?

— Я сначала написала к нему... Я года полтора жила уже у матери и оттуда написала ему, что — если он желает, то я к нему приеду. Он отвечал мне, чтобы я приезжала, но только с тем, чтобы вперед ничего подобного не повторялось. В письмах, разумеется, я ничего не говорила против этого, но когда приехала к нему, то сказала, что с моей стороны, конечно, никогда и ничего не повторится, если только с его стороны не повторится.

— Что же, с его стороны и не повторялось? — спросил Павел.

— С его стороны и не прекращалось никогда,— отвечала m-me Фатеева с грустною усмешкой.

— И пьет он также по-прежнему?

— Еще больще, кажется; но, по крайней мере, я рада тому, что он соберет к себе разных дряней приятелей, играет, пьет с ними на своей половине, и не адресуется уж ко мне ни с разговорами, ни с нежностями.

M-me Фатеева остановилась и вздохнула.

— Но ведь нельзя же так жить вечно? — заметил ей Павел.

— Да, трудно,— произнесла m-me Фатеева.— Но вы, однако, я надеюсь, заедете ко мне! — прибавила она вдруг.

— Непременно! — отвечал Павел.— Но только как досадно: вакации мои кончаются, и мне надо будет ехать в Москву — когда же мне это сделать?

— Но вы должны же, однакож, это сделать? — произнесла m-me Фатеева уже с укором.

— Конечно, сделаю! Вы позволите мне, совсем уже ехавши, заехать к вам?

— Хорошо, но скоро ли это будет: мне все-таки хочется поскорее вас видеть у себя!

— Через два — три дня.

— Хорошо!—проговорила m-me Фатеева и так взглянула на Павла, что он даже сконфузился немного.

M-lle Прыхина, в это время, вздумавшая или, может быть, принявшая на себя обязанность занимать полковника, несла ему бог знает какую чушь.

— Были у нас в городе вольтижеры,— говорила она ему,— только у них маленький этот мальчик, который прыгает сквозь обручи и сквозь бочку, как-то в середину-то бочки не попал, а в край ее головой ударился, да так как-то пришлось, что прямо теменным швом: череп-то весь и раскололся, мозг-то и вывалился!..

— Господи помилуй! — произнес полковник.

— Ужасно! — подтвердила и m-lle Прыхина. У них в городе никаких вольтижеров не было и никто себе не раскраивал головы. Это все она выдумала, чтоб только заинтересовать полковника.

— А то знаете еще что,— продолжала она, расходившись,— у папаши работал плотник и какой ведь неосторожный народ! — рубил да топором себе все четыре пальца и отрубил; так и валяются пальцы-то в песке! Я сама видела.

— Что такое? — произнес полковник, начинавший уже недоумевать.

— А то у священника у нашего соборного, вы слышали, утонули два сына...

— Да, слышал; но ведь это — года три тому назад.

— Может быть, но вообразите себе: их вынули из воды и видят, что они, мертвые-то, целуются друг с другом.

— Как целуются? — спросил с удивлением полковник.

— Ах, нет! Что я, тьфу! — обнимаются,— поправилась m-lle Прыхина.

Полковник наконец понял, что все это она ему врала, но так как он терпеть не мог всякой лжи, то очень был рад, когда их позвали обедать и дали ему возможность отделаться от своей собеседницы. За обедом, впрочем, его вздумала также занять и m-me Фатеева, но только сделала это гораздо поумнее, чем m-lle Прыхина.

— Я как-то тут читала,— начала она своим тихим и скромным голосом,— одну старинную историю Кавказа и там прочла, что жена какого-то грузинского царя, непокорная нам...

— Да, знаю-с, знаю! — подхватил лукаво Михаил Поликарпович.

— Что когда наш полковник стал брать ее в плен, то она убила его.

Обе дамы, как мы видим, заговаривали с полковником все о страшном: они, вероятно, его самого считали немножко за тигра кровожадного.

— Вот-с, как это было,—начал Михаил Поликарпович,— не полковник, а майор подошел к ней, и только было наклонился, чтобы руку ей подать и отвести в карету, она выхватила из-под фартука кинжал да и пырнула им его.

— И, говорят, тут был,— продолжала Фатеева,— какой-то еще ординарец Вихров: вы это были или нет?

— Я-с, я самый! — отвечал полковник с самодовольством.

— Я вот никак не могу себе представить, как это женщина может решиться на убийство? — вмешалась в разговор m-lle Прыхина.

— Э, азиатки! — подхватил полковник.— На другое что у них ума и толку не станет, а на это — пырнуть кого-нибудь кинжалом — каждая из них, бестия, сумеет.

— Но черкешенки, говорят, очень пылко и страстно любят,— проговорила Фатеева и при этом мельком взглянула на Павла.

— Что они любят? — возразил полковник.— Нет, я думаю, ни одной из них, чтобы червонцев за сто ее нельзя было купить.

— И ревнивы, наконец, ужасно! — прибавила m-me Фатеева, отламывая кусочки хлеба и продолжая взглядывать на Павла.

— Да, вот на это они тоже мастерицы: мужу как раз глаза выцарапают,— это их дело! — подхватил полковник. Вообще он был о всех женщинах не слишком высокого понятия, а об восточных — и в особенности.

После обеда, когда дамы вышли в задние комнаты поправить свой туалет и пораспустить несколько свои шнуровки, полковник заметил сыну:

— Какая, брат, эта Фатеиха умная баба и собою-то какая красивая: за неволю этакая убежит от мужа, не станет ему подставлять шеи.

— Муж ее совсем негодяй,— проговорил как бы совершенно равнодушно Павел.

— Слышал это я... Прекрасная барыня, прекрасная! —

повторил полковник.— Но зато другая-то, брат, так — полохоло, я тебе скажу.

— Другая — дрянь!

— Носище-то, брат, какой у нее, носище-то! Точно рулем каким-то ворочает,— говорил полковник и захохотал.

Дамы между тем возвратились и объявили, что они желают прогуляться в поле.

— Ступайте, бог с вами! А я покамест сосну,— разрешил им полковник.

Выйдя на двор, гостьи и молодой хозяин сначала направились в яровое поле, прошли его, зашли в луга, прошли все луга, зашли в небольшой перелесок и тот весь прошли. В продолжение всего этого времени, m-lle Прыхина беспрестанно уходила то в одну сторону, то в другую, видимо, желая оставлять Павла с m-me Фатеевой наедине. Та вряд ли даже, в этом случае, делала ей какие-либо особенные откровенности, но она сама догадалась о многом: о, в этом случае m-lle Прыхина была преопытная и предальновидная!

M-me Фатеева и Павел, каждоминутно взглядывавшие друг на друга, оставаясь вдвоем, почти не разговаривали между собой и только как-то (и то, должно быть, больше нечаянно) проговорили:

— Вы, я думаю, во все время нашей разлуки и не вспомнили меня? — спросила его m-me Фатеева.

— Напротив, беспрестанно! А вы меня вспоминали ли? — спросил ее и Павел.

— О, как еще часто! — воскликнула m-me Фатеева.

Когда, наконец, они прошли и перелесок, m-me Фатеева остановилась.

— Где мы это теперь? — спросила она, поводя кругом черными глазами.

— Довольно далеко от дома; надобно вернуться назад! — проговорил Павел.

Все повернули назад. В перелеске m-lle Прыхина опять с каким-то радостным визгом бросилась в сторону: ей, изволите видеть, надо было сорвать росший где-то вдали цветок, и она убежала за ним так далеко, что совсем скрылась из виду. M-me Фатеева и Павел, остановившись как бы затем, чтобы подождать ее, несколько времени молча стояли друг против друга; потом, вдруг Павел зачем-то, и сам уже не отдавая себе в том отчета, протянул руку и проговорил:

— Так вот как-с, а?

— Да,— отвечала Фатеева и тоже, неизвестно зачем, в его руку положила свою руку и крепко ее пожала.

Павел с дрожащими губами потянул к себе и поцеловал эту руку. Затем к нему притянулось лицо m-me Фатеевой, и они поцеловались, и Павел еще было раз хотел ее поцеловать, но m-me Фатеева тихо его отстранила.

— Наша спутница скоро вернется: я слышу шелест ее платья,— проговорила она.

И спутница, действительно, показалась из-за кустов.

— Какой, однако, у вас отличный слух,— проговорил Павел, обращаясь к m-me Фатеевой и задыхаясь от волнения.

— У меня слух отличный,— отвечала она. Лицо ее тоже пылало.

M-lle Прыхина нарочно глазела по сторонам, чтобы не сконфузить еще более молодых людей. О, она была преопытная в этом случае! Когда молодые люди возвратились домой, полковник уже проснулся. По необходимости пришлось сидеть с ним и занимать его. Павел выходил из себя и начинал уже грубо говорить с отцом, вдруг m-lle Прыхина (выдумай-ка кто-нибудь другой, не столь опытный в этом деле!) предложила в горелки побегать. Павел, разумеется, сейчас же принял это с восторгом, m-me Фатеева — с явным удовольствием: даже полковнику это было приятно.

— Побегайте, побегайте! — произнес он и велел на кресле вынесть себя на галерею, чтобы посмотреть на бегающих.

Чтобы больше было участвующих, позваны были и горничные девушки. Павел, разумеется, стал в пару с m-me Фатеевой. M-lle Прыхина употребляла все старания, чтобы они все время оставались в одной паре. Сама, разумеется, не ловила ни того, ни другую, и даже, когда горничные горели, она придерживала их за юбки, когда тем следовало бежать. Те, впрочем, и сами скоро догадались, что молодого барина и приезжую гостью разлучать между собою не надобно; это даже заметил и полковник.

— Ишь, как эта пара сбегалась и разлучить их никак не могут! — проговорил он, разумея сына и Фатееву.

Пожатие рук, между Павлом и его дамою, происходило беспрерывное. Убегая от ловящего, они стремительно кидались друг к другу почти в объятия, Павел при

этом хватал ее и за кисть руки, и за локоть, а потом они, усталые и тяжело дышавшие, возвращались к бегающим и все-таки продолжали держать друг друга за руки.

— Как мне хочется поцеловать еще раз вашу ручку,— проговорил Павел.

— Терпенье! Вот, вы приедете ко мне, тогда можно будет,— отвечала Фатеева.

— Непременно буду! Но вы разве не ночуете у нас? — спросил Павел.

— Нет, вашему отцу и без того немножко странен мой приезд. Мы поедем, когда взойдет луна.

— Но зачем же это? — возразил Павел.

— Так нужно, а то очень бросится всем в глаза. Приезжайте лучше к нам скорее!

Когда взошла луна, m-me Фатеева, в самом деле, велела закладывать коляску.

— Но куда же вы? Отчего же вы не ночуете? — заметил было ей и полковник.

— Мы уже так решили, что по холодку доедем,— объяснила ему Фатеева.

— Ну, как знаете! — согласился полковник.

— Вот, как я, по милости вашей, платье-то себе истрепала,— сказала бойко m-lle Прыхина Павлу, показывая ему на заброженный низ своего платья.

— Очень жаль! — отвечал тот механически, а сам в это время не спускал глаз с m-me Фатеевой, которая, когда надела шляпку, показалась ему еще прелестнее.

Когда они уехали, он остался в каком-то угаре и всю ночь почти не спал и метался из стороны в сторону.

XI

VENIT, VIDIT, VICIT![1]

У Павла, как всегда это с ним случалось во всех его увлечениях, мгновенно вспыхнувшая в нем любовь к Фатеевой изгладила все другие чувствования; он безучастно стал смотреть на горесть отца от предстоящей с ним разлуки... У него одна только была мысль, чтобы как-нибудь поскорее прошли эти несносные два-три дня — и скорее ехать в Перцово (усадьбу Фатеевой). Он по нескольку раз

[1] Пришел, увидел, победил! (*лат.*).

в день призывал к себе кучера Петра и расспрашивал его, знает ли он дорогу в эту усадьбу.

— С кучером ихним разговаривал: сказывал он, как они ехали,— отвечал тот.

— Как же они ехали? — спрашивал Павел.

— Да через Афанасьево надо; потом — в Пустые Поля, в село Горохово и к ним уж.

— Нет ли поворотов тут?

— Ну, да поворотов как не быть — есть. Главная причина тут лес Зенковский, верст на пятнадцать идет; грязь там, сказывают, непроходимая.

— Да грязь что! Проедем.

— На Горохово не надо ехать,— вмешался стоявший тут Иван.

— Как не надо? — возразил ему с удивлением кучер.— Горохово — приход ихний, всего в двух верстах от них.

— Мало ли где какой приход; не в каждое селение через приход надо ехать! — возразил ему Ванька.

Павел убежден был, что Иван сказал это, вовсе не зная хорошенько, а так только, чтоб поумничать. Это вывело его из терпения.

— Ты говоришь вздор и меня только вводишь в смущение,— сказал он ему.

— Да мне что! Поезжайте, как хотите,— произнес Иван бахваловато и ушел.

— Дурак! — проговорил ему Павел вслед.

— Именно дурак, только барина тревожит,— повторил за ним и кучер.

Накануне отъезда, Павел снова призвал Петра и стал его Христом богом упрашивать, чтобы он тех лошадей, на которых они поедут, сейчас бы загнал из поля, а то, обыкновенно, их ловить ходят в день отъезда и проловят целый день.

— Ужо загоню вечером,— успокоивал его кучер.

— Нет, ты теперь же, сейчас застань их! — настаивал Павел.

— Да теперь пошто! Пусть еще погуляют и поедят,— возражал ему кучер.

— Успеешь еще, братец, уедешь! — вмешался в разговор, уже обиженным голосом, полковник.

— Я непременно к двадцать пятому числу должен

быть в Москве,— сказал Павел, чтобы только на что-нибудь свернуть свое нетерпение.

— Не в Москву тебе, кажется, надобно, шельмец ты этакий! — сказал ему полковник и погрозил пальцем. Старик, кажется, догадывался о волновавших сына чувствованиях и, как ни тяжело было с ним расстаться, однако не останавливал его.

«Пусть себе заедет к барыне и полюбезничает с ней»,— думал он.

В день отъезда, впрочем, старик не выдержал и с утра еще принялся плакать. Павел видеть этого не мог без боли в сердце и без некоторого отвращения. Едва выдержал он минуты последнего прощания и благословения и, сев в экипаж, сейчас же предался заботам, чтобы Петр не спутался как-нибудь с дороги. Но тот ехал слишком уверенно: кроме того, Иван, сидевший рядом с ним на козлах и любивший, как мы знаем, покритиковать своего брата, повторял несколько раз:

— Это вот так, сюда надо ехать!

И все это Иван говорил таким тоном, как будто бы и в самом деле знал дорогу. Миновали, таким образом, они Афанасьево, Пустые Поля и въехали в Зенковский лес. Название, что дорога в нем была грязная, оказалось слишком слабым: она была адски непроходимая, вся изрытая колеями, бакалдинами; ехать хоть бы легонькою рысью было по ней совершенно невозможно: надо было двигаться шаг за шагом!

Павел выходил из себя: ему казалось, что он никак не приедет к пяти часам, как обещал это m-me Фатеевой. Она будет ждать его и рассердится, а гнев ее в эту минуту был для него страшнее смерти.

Лесу, вместе с тем, как бы и конца не было, и, к довершению всего, они подъехали к такому месту, от которого шли две дороги, одинаково торные; куда надо было ехать, направо или налево? Кучер Петр остановил лошадей и недоумевал.

— Что ты остановился? — спросил с ужасом Павел и уж заранее предугадывал, что тот ему ответит.

Петр был слуга усердный и не любил без толку беспокоить бар.

— А вот тут поглядеть надо, как ехать! — сказал он уклончиво.— Сбегай, поди-ка,— сказал он Ивану,— посмотри, где дорога побойчее идет.

Иван тоже, как и путный, соскочил с козел и сначала пробежал по одной дороге, а потом — по другой.

— Поезжай направо! — сказал он утвердительно и почти повелительно.

Своим искренним голосом он даже Павла обманул на этот раз.

— Направо надо! — повторил и тот за ним.

Петр подумал немного и взял направо; через несколько времени, дорога пошла еще хуже: кроме грязи, там была такая теснота, что четверка едва проходила.

— Мы сбились с дороги! — произнес отчаянным голосом Павел.— Поворачивайте назад!

— Как тут поворотишь! И поворотить-то нельзя,— произнес мрачно Петр.— Смотрел тоже! — прибавил он Ивану укоризненно.

— Чего смотрел! — проворчал тот, как бы ни в чем неповинный.

— Чего смотрел! Не за кусты только посмотреть тебя посылали, подальше бы пробежал! — говорил Петр и сам продолжал ехать.

— Куда же вы едете? Вы меня черт знает куда завезете! — воскликнул Павел.

Петр остановил лошадей. Павел готов был расплакаться; поворотить лошадей, в самом деле, не было никакой возможности.

— Что теперь делать, что теперь делать? — кричал он, колотя себя в грудь.

— Да полноте, батюшка, беспокоиться; выедем как-нибудь!

— Когда выедем, когда выедем? — кричал Павел. На часах у него было около пяти часов.

— Поедем — и в какую-нибудь деревню выберемся,— сказал ему Петр и опять тронул лошадей.

— Это все этот мерзавец, этот негодяй, научил направо ехать! — кричал Павел, грозя на Ивана кулаками.

Иван, в свою очередь, струсил, присмирел и сидел воды не замутя.

Прошло еще для Павла страшных, мучительных полчаса.

— Надо поворотить назад! — произнес, наконец, Петр.

— А разве возможно? — воскликнул обрадованный уже и этим Павел.

— Поворотим как-нибудь,— ответил Петр и начал по-

ворачивать лошадей; но при этом одна из пристяжных забежала за куст и оборвала постромки. Коляску так качнуло, что Иван даже не удержался на козлах и полусвалился-полусоскочил с них.

— Ну, не стыдно ли тебе, не стыдно ли — куда завез нас! — стыдил его Павел.

— Кто ж ее знает! — отвечал Иван, в самом деле, устыдившимся голосом и усаживаясь снова на козлы.

Проехали почти половину до того места, от которого они сбились. Вдруг послышался треск и как бы шлепанье лошадиных ног, и в то же время между кустами показался ехавший верхом мужик.

— Стой, стой! — закричал ему Павел.

Мужик остановился.

— Ты дорогу в Перцово знаешь? — спросил Павел с первого же слова.

— Знаю,— отвечал мужик.

— Я тебе дам десять рублей — брось свое дело и провожай нас в эту усадьбу.

— Десять рублей? — повторил мужик как бы с удивлением.

— Да, десять! — повторил Павел.— Веди только нас, как надо ехать.

— Ехать — что за хитрость! — сказал мужик и через несколько минут вывел их совсем из лесу.— А вот тут все прямо,— сказал он, показывая на дорогу.

— Веди нас до самой усадьбы, тогда десять рублей и получишь,— сказал ему Павел.

Мужик не очень охотно поехал; он, кажется, не совсем доверял, что ему отдадут обещанные деньги.

— Скачите теперь! Марш-марш, валяйте! — закричал Павел.

Петр погнал лошадей. Мужичок поскакал на своей лошаденке. Иван едва удерживался на козлах.

— Скорей! Скорей! — кричал Павел.

Береженые лошадки полковника, я думаю, во всю жизнь свою не видали такой гоньбы.

— Вот и Перцово! — сказал мужик, безбожно припрыгивая на своей лошади и показывая снятою им шляпой на видневшуюся невдалеке усадьбу.

Павел поуспокоился и захотел привесть несколько в порядок свой туалет. Он велел остановиться, вышел из экипажа и приказал Ивану себя почистить, а сам отдал

мужику обещанную ему красненькую; тот, взяв ее в руки, все еще как бы недоумевал, что не сон ли это какой-нибудь: три-четыре версты проводив, он получил десять рублей! Он вовсе не понимал того огня, которым сгорал мой герой. Когда Павел снова уселся в коляску и стал уже совсем подъезжать к усадьбе, им снова овладели опасения: ну, если m-me Фатеева куда-нибудь уехала или больна, или муж ее приехал и не велел его принимать,— любовь пуглива и мнительна!

Наконец, он подъехал к крыльцу. Мелькнувшее в окне лицо m-me Фатеевой успокоило Павла — она дома. С замирающим сердцем он начал взбираться по лестнице. Хозяйка встретила его в передней.

— Здравствуйте! — проговорила она приветливым и тихим голосом и в то же время была как бы немного сконфужена.

В следующей комнате Вихров слышал чьи-то женские голоса. Клеопатра Петровна провела его в гостиную.

— Никак уж, вероятно, не ожидали меня встретить, никак! — оприветствовала его там толстая становая, вставая перед ним и потрясая головой.

«О, черт бы тебя подрал! — подумал Павел.— Как это она тут очутилась?»

— И как это случилось,— продолжала становая, видимо, думавшая заинтересовать своим рассказом Павла,— вы этого совершенно ничего не знаете и не угадываете! — прибавила она, грозя ему своим толстым пальцем.— Вчерашнего числа (она от мужа заимствовала этот несколько деловой способ выражения)... вчерашнего числа к нам в село прибежал ваш крестьянский мальчик — вот этакий крошечка!..— и становая, при этом, показала своею рукою не более как на аршин от земли,— звать священника на крестины к брату и, остановившись что-то такое перед нашим домом, разговаривает с мальчиками. Я говорю: «Душенька, что ты такое это рассказываешь?» — «А наш молодой балин,— говорит,— завтла едет в гости в Пелцово. Пелцовские бали к нам плиезжали и звали его». Дай-ка, я думаю, нашего молодого соседа удивлю и съезжу тоже! — заключила становая и треснула при этом рукой по столу.

«Что же это такое?» — думал Павел, стоя перед ней и решительно не находя — что отвечать ей.

А m-lle Прыхина, молча подавшая при его приходе ему

руку, во все это время смотрела на него с таким выражением, которым как бы ясно говорила: «О, голубчик! Знаю я тебя; знаю, зачем ты сюда приехал!»

Павел решительно не знал куда девать себя; Клеопатра Петровна тоже как будто бы пряталась и, совершенно как бы не хозяйка, села, с плутоватым, впрочем, выражением в лице, на довольно отдаленный стул и посматривала на все это. Павел поместился наконец рядом с становою; та приняла это прямо за изъявление внимания к ней.

— Так так-то-с, молодой сосед! — воскликнула она и ударила уже Павла рукою по ноге, так что он поотстранился даже от нее несколько.— Когда же вы к нам опять приедете? Мальчик ваш сказал, что вы совсем уже от нас уезжаете.

— Не знаю-с! — ответил ей сухо Павел и, повернувшись к хозяйке, спросил ее:

— А ваш супруг?

— Он завтра вечером или послезавтра приедет,— отвечала та каким-то ровным голосом.

«Так, значит, сегодня вечером только и много завтра утром можно будет пробыть у ней!» — подумал Павел и с грустью склонил голову. Встретиться с самим господином Фатеевым он как бы даже побаивался немного.

Подали чай. M-me Фатеева, видимо, не совладела уже более с собой и вдруг отнеслась к Павлу:

— Monsieur Вихров, вы, кажется, охотник до музыки; у меня довольно недурное фортепьяно,— в зале оно,— прибавила она, показывая головой на залу.

— Ах, сделайте одолжение,— сказал Павел и сейчас же пошел в залу.

— Сыграйте, пожалуйста, monsieur Вихров; мне сказывали, что вы отлично играете!..— кричала ему вслед m-lle Прыхина, напирая при этом преимущественно на слово *сказывали.*

— Ему трудно, может быть, будет отворить фортепьяно,— сказала Фатеева и вышла вслед за Павлом.

Он уже сидел за инструментом и перелистывал ноты. Она потихоньку подошла к нему и села сбоку фортепьян.

— Вы каких-нибудь нот ищете? — спросила она его.

— Я ничего не ищу,— отвечал ей Павел.— По милости ваших гостей, мне не только что ручки вашей

не удастся поцеловать, но даже и сказать с вами двух слов.

— Становая эта приехала; я никак ее не ожидала! — проговорила m-me Фатеева.— Прыхина, та — ничего; при той стесняться особенно нечего.

— Та — ничего! — согласился и Павел, ударяя слегка по клавишам.— И что же, они у вас и завтра все утро пробудут?

— Может быть!

— А завтра я должен буду уехать.

M-me Фатеева сначала на это ничего не сказала, но потом, помолчав немного, проговорила:

— Разве вот что: приходите после ужина, когда все улягутся, посидеть в чайную; я буду там.

— А где же эта чайная? — спросил, наклоняя свое лицо к нотам, Павел.

— Я, в продолжение вечера, постараюсь вам как-нибудь показать ее,— отвечала, тоже не глядя на него, m-me Фатеева.

В гостиной, в это время, просто происходила борьба: становая так и рвалась в залу.

— Что же он не играет? Пойду и заставлю его! — говорила она.

— Ах, нет! Погодите, посидите, он сейчас будет играть! — уговаривала и останавливала ее m-lle Прыхина.

— Но, однакож, он не играет! — возразила становая, подождав еще немного и обращая почти сердитое лицо к m-lle Прыхиной.

— Заиграет, погодите! — успокоивала ее та и при этом чему-то усмехнулась.

— Нет, я пойду! — воскликнула становая и поднялась было с дивана.

— Нет, посидите со мной! — останавливала ее m-lle Прыхина и, взяв ее за руку, почти насильно посадила ее на прежнее место.

— Да что же мне сидеть с вами, зачем я вам нужна? — спрашивала становая удивленным голосом.

— Нужны! У вас есть очень хороший жених, и мне за него замуж хочется,— убеждала ее m-lle Прыхина.

— Ах, какие вы глупости говорите! Никаких у меня женихов нет,— продолжала становая, уже рассердясь.

Но Павел в это время заиграл.

— Ну, вот вам — он и заиграл,— сказала ей m-lle Прыхина.

— Да, но он все не то играет, что я люблю; я люблю больше русские песни! — воскликнула становая и, вскочив с дивана, выбежала в залу.

— Нет, нет! Не то извольте играть, а нашу — русскую! — кричала она Павлу.

Хорошо, что m-me Фатеева, смотревшая почти страстно на Павла, услыша ее медвежью походку, успела мгновенно опустить глаза в землю.

— Русскую, русскую извольте сыграть! — продолжала становая и оперлась при этом на стул, на котором сидел Павел.

Какой-то неприятной теплотой так и обдало его при этом.

— Вы задавите меня совсем,— сказал он, почти готовый встать с своего места.

— Ах, какой неженка, скажите, пожалуйста! — воскликнула становая и села на стул, но все-таки напротив него.

Зачем эта г-жа становая так яростно кидалась в этот вечер на моего героя — объяснить трудно: понравился ли он ей очень, или она только хотела показать ему, что умеет обращаться с столичными мужчинами...

M-lle Прыхина тоже, делать нечего, вышла в залу и села около хозяйки.

— Какая несносная женщина! — сказала она, показывая глазами на становую.

— А что же? — спросила ее, как бы совершенно невинным голосом, Клеопатра Петровна.

— Ты видишь! — сказала Прыхина с обычным своим ударением.

— Ничего не вижу,— произнесла с улыбкой Фатеева.

— Ну, не видишь, так и прекрасно! — проговорила обиженная этим m-lle Прыхина,— и, в самом деле, досадно: за все участие ее хоть бы малою откровенностью ее вознаградили!

Павел, под влиянием мысли о назначенном ему свидании, начал одну из самых страстных арий, какую только он знал, и весь огонь, которым горела душа его, как бы перешел у него в пальцы: он играл очень хорошо!

M-me Фатеева, забыв всякую осторожность, впилась в него своими жгучими глазами, а m-lle Прыхина, закинув голову назад, только восклицала:

— Чудно, бесподобно!

— Да, недурно! — одобрила и становая. Ей все больше хотелось русского.

Окончив играть, Павел встал и, осмотревшись кругом, сказал:

— Какой дом, однако, у вас оригинальный!

— Ах! Он очень старинный! Вы, однако, не видали его всего. Хотите взглянуть? — подхватила m-me Фатеева, понявшая его мысль.

— Очень рад-с!

M-me Фатеева пошла показывать ему дом.

— Вот это — зала, это — гостиная!

— А это — портрет ваш?

— Да, это — в первый год, как я вышла замуж!

Она нарочно говорила громко, чтобы ее слышали в зале.

— А это вот — угольная, или чайная, как ее прежде называли,— продолжала хозяйка, проводя Павла через коридор в очень уютную и совершенно в стороне находящуюся комнату.— Смотрите, какие славные диваны идут кругом. Это любимая комната была покойного отца мужа. Я здесь буду вас ожидать! — прибавила она совершенно тихо и скороговоркой.

— А когда же мне приходить сюда? — спросил ее замирающим от восторга голосом Павел.

— Когда все улягутся. Вот это окошечко выходит в залу; на него я поставлю свечу: это будет знаком, что я здесь,— продолжала она по-прежнему тихо и скороговоркой.— А вот-с это — библиотека мужа! — произнесла она опять полным голосом.

Когда они проходили маленький коридор, Павел не утерпел и, взяв за талию m-me Фатееву, проговорил:

— Милая моя, бесценная!

M-me Фатеева обернула к нему свое лицо, сияющее счастьем и страстью.

Павел поцеловал ее.

— Тсс! Нельзя этого! — проговорила она, погрозив ему пальчиком.

После такого осмотра дома, Павел возвратился в залу в очень веселом расположении духа и вздумал немного по-

шутить над становой за все те мучения, которые она заставила его терпеть.

— Скажите вы мне, моя почтенная соседка,— начал он в тон ей,— в кого вы влюблены?

— Я? — спросила она, уставив на него немного сердитые глаза.

Она такого вопроса при всех никак не ожидала от него.

— Да, вот mademoiselle Прыхина и Клеопатра Петровна сказали мне — в кого они влюблены, и вы мне должны сказать то же самое.

— Им — как угодно, а я не скажу,— ответила становая.

— Отчего же?

— А оттого, что, может быть, я в вас влюблена,— отвечала приставша и уставила на него пристальный взгляд.

— Ну, полноте, зачем я вам?..— возразил Павел (он чувствовал, что от переживаемого счастия начинает говорить совершенно какие-то глупости).— Зачем я вам?.. Я человек заезжий, а вам нужно кого-нибудь поближе к вам, с кем бы вы могли говорить о чувствах.

Становая вдруг вспыхнула и обиделась.

Павел попал прямо в цель. Приставша действительно любила очень близкого к ней человека — молодого письмоводителя мужа, но только о чувствах с ним не говорила, а больше водкой его поила.

— Пожалуйста, без насмешек!.. Пожалуйста!.. Сама умею отсмеяться,— проговорила она.

— Господь с вами, кто над вами смеется; с вами говорить после этого нельзя! — возразил Павел и, отойдя от становой, сел около Прыхиной.

— А с вами так вот, вероятно, мы будем друзьями, настоящими,— проговорил он уже не шутя.

— Надеюсь! — произнесла та многознаменательно.

Хозяйка между тем встала, вышла на минуту и, возвратясь, объявила, что «le souper est servi» [1].

Все пошли за ней, и — чем ужин более приближался к концу, тем Павел более начинал чувствовать волнение и даже какой-то страх, так что он почти не рад был, когда встали из-за стола и начали прощаться.

— До свидания,— сказала ему хозяйка не совсем тоже спокойным голосом и крепко пожимая его руку.

---

[1] «ужин подан» *(франц.)*.

— До свидания,— пробормотал он ей.

— Вам приготовлено в кабинете, рядом с залой,— прибавила она.

— Слушаю-с,— произнес Павел и затем, проходя залу, он взглянул на маленькое окошечко, и оно неизгладимыми чертами врезалось у него в памяти. Пришедшего его раздевать Ивана он сейчас же отослал, сказав ему, что он сам разденется, а что теперь еще будет читать. Тот ушел с большим удовольствием, потому что ему с дороги давным-давно хотелось спать. Оставшись один, Павел почти в лихорадке стал прислушиваться к раздававшемуся — то тут, то там — шуму в доме; наконец терпения у него уж больше недостало: он выглянул в залу — там никого не было, а в окошечке чайной светился уже огонек. «Она там»,— подумал Павел и с помутившейся почти совсем головою прошел залу, коридор и вошел в чайную. Там он увидел m-me Фатееву — уже в блузе, а не в платье.

— Ах, это вы,— сказала она, как бы не ожидая его и как бы даже несколько испугавшись его прихода.

— Я,— отвечал Павел дрожащим голосом; потом они сели на диван и молчали; Павел почти что глупо смотрел на Фатееву, а она держала глаза опущенными вниз.

— Послушайте! — начала наконец Фатеева.— Я давно хотела вас спросить: Мари вы видаете в Москве?

— Один раз всего видел,— отвечал неторопливо Павел.

— И что же, любовь ваша к ней прошла в вас совершенно? — продолжала Фатеева.

— Прошла,— отвечал Павел искренним тоном.— Однако послушайте,— прибавил он, помолчав,— сюда никто не взойдет из людей?..

— Нет, никто; все преспокойно спят!..— отвечала протяжно m-me Фатеева.

На другой день, Павел проснулся довольно поздно и спросил Ивана: встали ли все?

— Давно уж все в столовой чай кушают! — объяснил тот.

Павел оделся и пошел туда. Окошечко — из залы в блаженнейшую чайную — опять на минуту промелькнуло перед ним; когда он вошел в столовую, сидевшая там становая вдруг вскрикнула и закрыла обеими руками грудь

свою. Она, изволите видеть, была несколько в утреннем дезабилье и поэтому очень устыдилась Павла.

«Дрянь этакая,— подумал он.— Я обладаю прелестнейшею женщиною, а она воображает, что я на нее взгляну...»

M-me Фатеева, при появлении Павла, заметно сконфузилась. Она стала ему наливать чай.

— Как бы я желала каждое утро разливать вам чай,— шепнула она ему.

— Может быть, это когда-нибудь и будет,— ответил ей тихо Павел.

— Может быть!.. Однако, я вижу, ваших лошадей хотят закладывать,— прибавила она вслух и взглянув в окно.

— Да, уж мне позвольте!

— Только я вас попрошу — в Москве одно поручение мое исполнить.

— Сделайте милость, приказывайте!

— Мне это надобно по секрету вам передать. Угодно вам уделить мне две минуты?— проговорила Клеопатра Петровна и пошла.

— Хоть десять!— отвечал Павел, идя за нею.

В гостиной они остановились.

— Послушайте,— начала Фатеева (на глазах ее появились слезы),— вы можете теперь меня не уважать, но я, клянусь вам богом, полюбила вас первого еще настоящим образом. В прежнем моем несчастном увлечении я больше обманывала самое себя, чем истинно что-нибудь чувствовала.

— Ангел мой, как же мне вас не уважать! — говорил Павел.

— И поверьте мне,— продолжала Фатеева, как бы не слушая его,— я несчастная, но не потерянная женщина. Тогда вы не хотели замечать меня...

— Но когда же мы увидимся, чудо мое, сокровище мое?

— Я употреблю все силы — приехать в Москву, но когда это будет — не могу сказать теперь.

— По крайней мере, будете ли вы писать ко мне?— спрашивал Павел.

— Писать я буду к вам часто, и вы пишите ко мне; но только — не на мое имя.

— А на чье?

— На Катишь Прыхину. Она хоть и недальняя, но чрезвычайно мне предана; а теперь я вас не задерживаю. Может быть, что к обеду приедет муж.

— Так я сейчас же и поеду.

— Сейчас же и поезжайте!

Они еще раз поцеловались и возвратились в столовую. Через полчаса Павел уехал из Перцова.

XII
ЖОРЖ-ЗАНДИЗМ

Никакое сильное чувство в душе героя моего не могло оставаться одиночным явлением. По самой натуре своей он всегда стремился возвести его к чему-нибудь *общему*. Оно всегда порождало в нем целый цикл понятий и, воспринятое в плоть и кровь, делалось его *убеждением*. M-me Фатеева, когда он сблизился с ней, напомнила ему некоторыми чертами жизни своей героинь из романов Жорж Занд, которые, впрочем, он и прежде еще читал с большим интересом; а тут, как бы в самой жизни, своим собственным опытом, встретил подтверждение им и стал *отчаянным Жорж-Зандистом*. Со всею горячностью юноши он понял всю справедливость и законность ее протестов. «Женщина в нашем обществе угнетена, женщина лишена прав, женщина бог знает за что обвиняется!» — думал он всю дорогу, возвращаясь из деревни в Москву и припоминая на эту тему различные случаи из русской жизни.

Жить в Москве Вихров снова начал с Неведомовым и в тех же номерах m-me Гартунг. Почтенная особа эта, как жертва мужского непостоянства, сделалась заметно предметом внимания Павла.

— Что же, вы не скучаете о Салове?— говорил он ей с участием.

— Что скучать? Уж не воротишь! — отвечала m-me Гартунг.— Он ужасный человек! Ужасный!— прибавляла она потом как-то уж таинственно.

— Ну и бог с ним!— утешал ее Павел.— Теперь вам надобно полюбить другого.

— Ни-ни-ни!.. Ни-ни-ни!— почти с ужасом воскликнула m-me Гартунг.

— Стало быть, вы его еще любите?

— О, нисколько!..— воскликнула с благородным него-

дованием Гартунг.— Но и другие мужчины — все они плуты!.. Я бы взяла их всех да так в ступке и изломала!..

И она представила даже рукой, как бы она изломала всех мужчин в ступке.

— Совершенно справедливо, все они — дрянь!— подтвердил Павел и вскоре после того, по поводу своей новой, как сам он выражался, *религии,* имел довольно продолжительный спор с Неведомовым, которого прежде того он считал было совершенно на своей стороне. Он зашел к нему однажды и нарочно завел с ним разговор об этом предмете.

— А что, скажите,— начал он,— какого вы мнения о Жорж Занд? Мне никогда не случалось с вами говорить о ней.

Неведомов некоторое время молчал, а потом заговорил, слегка пожав плечами:

— Я... французских писателей, как вообще всю их нацию, не очень люблю!.. Может быть, французы в сфере реальных знаний и много сделали великого; но в сфере художественной они непременно свернут или на бонбоньерку, или на водевильную песенку.

— Как на бонбоньерку или на водевильную песенку?— воскликнул Павел.— И у Жорж Занд вы находите бонбоньерку или водевильную песенку?

— И у ней нахожу нечто вроде этого; потому что, при всем богатстве и поэтичности ее воображения, сейчас же видно, что она сближалась с разными умными людьми, наскоро позаимствовала от них многое и всеми силами души стремится разнести это по божьему миру; а уж это — не художественный прием!

— Как, Жорж Занд позаимствовалась от умных людей?! — опять воскликнул Павел.— Я совершенно начинаю не понимать вас; мы никогда еще с вами и ни в чем до такой степени не расходились во взглядах наших! Жорж Занд дала миру новое евангелие или, лучше сказать, прежнее растолковала настоящим образом...

Неведомов при этом потупился и несколько времени ничего не отвечал. Он, кажется, совершенно не ожидал, чтобы Павел когда-нибудь сказал подобный вздор.

— Вы читали ее «Лукрецию Флориани»?— продолжал тот, все более и более горячась.

— Читал,— отвечал Неведомов.

— Какая же, по-вашему, главная мысль в этом произведении?

Неведомов опять пожал немного плечами.

— Я думаю, та мысль,— отвечал он,— что женщина может любить несколько раз и с одинаковою пылкостью.

— Нет-с, это — не та мысль; тут мысль побольше и поглубже: тут блудница приведена на суд, но только не к Христу, а к фарисею, к аристократишке; тот, разумеется, и задушил ее. Припомните надпись из Дантова «Ада», которую мальчишка, сынишка Лукреции, написал: «Lasciate ogni speranza, voi che entrate»[1]. Она прекрасно характеризует этот мирок нравственных палачей и душителей.

— Может быть, и это,— отвечал Неведомов,— но, во всяком случае,— это одно из самых капризнейших и неудачнейших произведений автора.

— Почему же — капризнейших и неудачнейших?— спросил Павел.

— Потому что, как хотите, возвести в идеал актрису, авантюристку, имевшую бог знает скольких любовников и сколько от кого детей...

— Но, что вам за дело до ее любовников и детей? — воскликнул Павел.— Вы смотрите, добрая ли она женщина или нет, умная или глупая, искренно ли любит этого скота-графа.

— Как мне дела нет? По крайней мере, я главным достоинством всякой женщины ставлю целомудрие,— проговорил Неведомов.

— Ну, я на это не так смотрю,— сказал Павел, невольно вспомнив при этом про m-me Фатееву.

— Нет, и вы в глубине души вашей так же смотрите,— возразил ему Неведомов.— Скажите мне по совести: неужели вам не было бы тяжело и мучительно видеть супругу, сестру, мать, словом, всех близких вам женщин — нецеломудренными? Я убежден, что вы с гораздо большею снисходительностью простили бы им, что они дурны собой, недалеки умом, необразованны. Шекспир прекрасно выразил в «Гамлете», что для человека одно из самых ужасных мучений — это подозревать, например, что мать небезупречна...

— Ну, что ж — Шекспир ваш? Согласитесь, что в его

[1] «Оставь надежду навсегда каждый, кто сюда входит» (*итал.*).

взгляде на женщину могло и должно было остаться много грубого, рыцарского понимания.

— Да, но бог знает — это понимание не лучше ли нынешнего городско-развратного взгляда на женщину. Пушкин очень любил и знал хорошо женщин, и тот, однако, для романа своего выбрал совершенно безупречную женщину!.. Сколько вы ни усиливайте вашего воображения, вам выше Татьяны — в нравственном отношении — русской женщины не выдумать.

— Позвольте-с! Но чем же она верна мужу?.. Только телом, а никак не мыслью.

— Чем бы там она ни была верна, но она все-таки, любя другого, не изменила своему долгу — и не изменила вследствие прирожденного ей целомудрия; намеками на такого рода женщин испещрены наша история и наши песни.

— В нашем споре о Жорж Занд,— перебил Павел Неведомова,— дело совсем не в том,— не в разврате и не в целомудрии; говорить и заботиться много об этом — значит, принимать один случайный факт за сущность дела... Жорж Занд добивается прав женщинам!.. Как некогда Христос сказал рабам и угнетенным: «Вот вам религия, примите ее — и вы победите с нею целый мир!»,— так и Жорж Занд говорит женщинам: «Вы — такой же человек, и требуйте себе этого в гражданском устройстве!» Словом, она представительница и проводница в художественных образах известного учения эмансипации женщин, которое стоит рядом с учением об ассоциации, о коммунизме, и по которым уж, конечно, миру предстоит со временем преобразоваться.

— Все это я очень хорошо знаю!— возразил Неведомов.— Но она требования всех этих прав женских как-то заявляет весьма односторонне — в одном только праве менять свои привязанности.

— А вы думаете, это безделица!— воскликнул Павел.— Скажите, пожалуйста, что бывает последствием, если женщина так называемого дворянского круга из-за мужа, положим, величайшего негодяя, полюбит явно другого человека, гораздо более достойного,— что, ей простят это, не станут ее презирать за то?

— Лично я,— отвечал Неведомов,— конечно, никогда такой женщины презирать не стану; но, все-таки всегда предпочту ту, которая не сделает этого.

— Это почему?

Неведомов усмехнулся.

— Потому что еще покойная Сталь говаривала, что она много знала женщин, у которых не было ни одного любовника, но не знала ни одной, у которой был бы всего один любовник.

— Да что ж из этого? Хоть бы двадцать их было.

— Нет, этого не следует,— продолжал Неведомов своим спокойным тоном,— вы сами мне как-то говорили, что физиологи почти законом признают, что если женщина меняет свои привязанности, то первей всего она лишается одного из величайших и драгоценнейших даров неба — это способности деторождения! Тут уж сама природа как будто бы наказывает ее.

— Точно так же и мужчину, и мужчину тоже!— подхватил Павел.

— И для мужчин тоже это нехорошо! — проговорил с улыбкою Неведомов.

— Чем же нехорошо? Не все ж такие постники в этом отношении, как вы.

— Да я и вас не замечал особенно в этом!

— Я — что! Нет! Я не очень строг уж нынче,— произнес Павел и покраснел.

Развивая и высказывая таким образом свою теорию, Вихров дошел наконец до крайностей; он всякую женщину, которая вышла замуж, родит детей и любит мужа, стал презирать и почти ненавидеть,— и странное дело: кузина Мари как-то у него была больше всех в этом случае перед глазами!

С Фатеевой у Павла шла беспрерывная переписка: она писала ему письма, дышащие страстью и нежностью; описывала ему все свои малейшие ощущения, порождаемые постоянною мыслью об нем, и ко всему этому прибавляла, что она больше всего хлопочет теперь как-нибудь внушить мужу мысль отпустить ее в Москву. Павел с неописанным и бешеным восторгом ждал этой минуты...

Двадцатого декабря было рождение Еспера Иваныча. Вихров поехал его поздравить и нарочно выбрал этот день, так как наверное знал, что там непременно будет Мари, уже возвратившаяся опять из Малороссии с мужем в Москву. Павлу уже не тяжело было встретиться с нею: самолюбие его не было уязвляемо ее равнодушием; его

любила теперь другая, гораздо лучшая, чем она, женщина. Ему, напротив, приятно даже было показать себя Мари и посмотреть, как она *добродетельничает*.

У Еспера Иваныча он застал, как и следует у новорожденного, в приемных комнатах некоторый парад. Встретивший его Иван Иваныч был в белом галстуке и во фраке; в зале был накрыт завтрак; но видно было, что никто ни к одному блюду и не прикасался. Тут же Павел увидел и Анну Гавриловну; но она до того постарела, что ее узнать почти было невозможно!

— Где же я увижу новорожденного?— спросил он ее.

— Наш новорожденный едва дышит,— отвечала Анна Гавриловна почти спокойным голосом; она ко всему уж, видно, была готова.

— Можно его, однако, видеть?

— Пожалуйте!

И она привела Павла в спальную Еспера Иваныча, окна которой были закрыты спущенными зелеными шторами, так что в комнате царствовал полумрак. На одном кресле Павел увидел сидящую Мари в парадном платье, приехавшую, как видно, поздравить новорожденного. Она похудела очень и заметно была страшно утомлена. Еспер Иваныч лежал, вытянувшись, вверх лицом на постели; глаза его как-то бессмысленно блуждали по сторонам; самое лицо было налившееся, широкое и еще более покосившееся.

Для дня рождения своего, он был одет в чистый колпак и совершенно новенький холстинковый халат; ноги его, тоже обутые в новые красные сафьяновые сапоги, стояли необыкновенно прямо, как стоят они у покойников в гробу, но больше всего кидался в глаза — над всем телом выдавшийся живот; видно было, что бедный больной желудком только и жил теперь, а остальное все было у него парализовано. Павла вряд ли он даже и узнал.

Он только взглянул на него ненадолго, а потом и отвел от него в сторону свои глаза.

— С ним, вероятно, удар повторился?— спросил Павел у Мари, садясь около нее.

— Это уж, кажется, десятый,— отвечала она и вздохнула.— Как мы, однако, с тобою давно не видались,— прибавила она.

— Да, давно,— отвечал ей равнодушно Павел и продолжал смотреть на больного.

В это время в комнату вошел очень осторожными шагами маленький, толстенький и довольно еще благообразный из себя артиллерийский полковник.

— Это муж мой!.. Вы, кажется, еще и не знакомы,— сказала Мари Павлу.

— Я заезжал к вам,— отнесся к нему и сам полковник, видимо, стараясь говорить тише,— но не застал вас дома; а потом мы уехали в Малороссию... Вы же, вероятно, все ваше время посвящаете занятиям.

На все это Павел ответил полковнику только пожатием руки и небольшою улыбкою.

— Ну, так я, ангел мой, поеду домой,— сказал полковник тем же тихим голосом жене.— Вообразите, какое положение,— обратился он снова к Павлу, уже почти шепотом,— дяденька, вы изволите видеть, каков; наверху княгиня тоже больна, с постели не поднимается; наконец у нас у самих ребенок в кори; так что мы целый день — то я дома, а Мари здесь, то я здесь, а Мари дома... Она сама-то измучилась; за нее опасаюсь, на что она похожа стала...

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойся, мне положительно ничего не будет,— подхватила Мари, видимо, желавшая успокоить мужа.

— Ну-с, так до свиданья!— сказал полковник и нежно поцеловал у жены руку.— До скорого свиданья!— прибавил он Павлу и, очень дружески пожав ему руку, вышел тою же осторожною походкой.

Вся эта несколько нежная сцена между мужем и женою показалась Павлу противною.

— Батюшка, не пора ли вам принять лекарство?— сказала затем Мари, подходя и наклоняясь к больному, как бы для того, чтобы он лучше ее слышал.

Еспер Иваныч смотрел на нее, но ничего не говорил.

— Пора вам, родной, принять!— повторила Мари и, взяв со стола микстуру, налила ее на ложку, осторожно поднесла к больному и вылила ему в рот.

Он начал как бы смаковать выпитое лекарство губами и ртом. Стоявшая тут же в комнате, у ног больного, Анна Гавриловна ничем уже и не помогала Марье Николаевне и только какими-то окаменелыми глазами смотрела на своего друга. Любящее сердце говорило ей, что для него теперь все бесполезно. С этой, как бы омертвившей все ее существо, тоской и с своей наклоненной несколько вниз головой, она показалась Павлу восхитительною и

великолепною; а Мари, в своем шелковом платье и в нарукавничках, подающая отцу лекарство, напротив того, возмущала и бесила Павла. К Анне Гавриловне вскоре подошел на цыпочках Иван Иваныч и сказал:

— Священники вас спрашивают.

Та вышла, но вскоре воротилась.

— Причастить его надо,— сказала она почти суровым голосом Марье Николаевне, показывая на больного.

— Да,— подтвердила та.

— Вы выйдите, батюшка,— обратилась Анна Гавриловна к Павлу.

— Войдите!— прибавила она священникам, которые вошли и начали облачаться.

Вихров и Мари вышли в залу.

Вскоре раздалось довольно нестройное пение священников. Павла точно ножом кольнуло в сердце. Он взглянул на Мари; она стояла с полными слез глазами, но ему и это показалось притворством с ее стороны.

— Люди все, кажется, выдумали, чтобы терзать человека перед смертью,— проговорил он вслух.

Мари посмотрела на него, еще не понимая — что такое он говорит.

— Умирает человек: кажется, серьезное и великое дело совершается... Вдруг приведут к нему разных господ, которые кричат и козлогласуют около него,— проговорил он.

— Каких господ?— спросила Мари, уставив на него уже окончательно удивленные глаза.

— Таких,— отвечал Павел и не кончил своей мысли.

Мари покачала головой.

— Вот уж — как в басне,— сказала она,— понес студент обычный бред.

Павел начал кусать с досады губы.

Вскоре священники снова запели.

— Нет, кузина, я решительно не в состоянии этого слышать!— воскликнул он.— Дядя, вероятно, не заметит, что я уйду. До свиданья!— проговорил он, протягивая ей руку.

— Что, тебя опять года два мы не увидим?— сказала она ему.

— Может быть,— отвечал Павел и поторопился проворнее уйти, чтобы не встретиться с Анной Гавриловной.

У него было очень скверно на душе: он как-то сознавал

в своей совести, что он что-то такое думал и делал нехорошо.

«Ох уж эти мне нравственные люди!.. А посмотришь, так вся их жизнь есть не что иное, как удовлетворение потребностям тела и лицемерное исполнение разных обрядов и обычаев»,— думал он, и ему вдруг нестерпимо захотелось пересоздать людские общества, сделать жизнь людей искренней, приятней, разумней. Но *как* — он и сам не мог придумать, и наконец в голове его поднялась такая кутерьма: мысль за мыслью переходила, ощущение за ощущением, и все это связи даже никакой логической не имело между собою; а на сердце по-прежнему оставалось какое-то неприятное и тяжелое чувство.

В такого рода размышлениях Павел, сам того не замечая, дошел с Дмитровки на Тверскую и, порядком устав, запыхавшись, подошел к своему номеру, но когда отворил дверь, то поражен был: у него перед письменным столом сидела, глубоко задумавшись, m-me Фатеева в дорожном платье. При его приходе она вздрогнула и обернулась.

— Боже мой! Вы ли это?— говорил Павел, подходя к ней.

— Ах, это вы?— произнесла она с своей стороны голосом, в котором были как бы слышны рыдания.— Вы были у Мари?— прибавила она.

— Я был у дяди. Его сейчас приобщают; он, вероятно, сегодня или завтра умрет. Но как же это вы здесь? Я не верю еще все глазам моим,— говорил Павел. Он несколько даже и поиспугался такого нечаянного появления m-me Фатеевой.

— Приехала вот, сделала эту глупость!..— сказала она.

Павел посмотрел на нее с удивлением.

— Я скакала к нему, как сумасшедшая; а он сидит все у своей Мари,— прибавила она и вслед затем, истерически зарыдав, начала ходить по комнате.

Павел обмер.

— Друг мой, помилуй, я всего у них в первый раз, и даже сегодня разбранился с Мари окончательно.

— Я не хотела, чтобы вы вовсе с ней видались, понимаете!.. Вы мне сказали, что совсем не видаетесь с ней. Кого-нибудь одну любить: ее или меня!..

— Я не ее и видеть ездил, а дядю, которого рожденье сегодня.

— Разве сегодня его рожденье?—протянула m-me Фатеева несколько уже более спокойным голосом.

— Сегодня, 20 декабря.

— Вы не должны никогда более встречаться с этой противной Мари!.. Ну, подите сюда, я вас поцелую.

Павел с восторгом подошел к ней. Она его начала страстно целовать.

— Друг мой, я тебя безумно, до сумасшествия люблю,— шептала она ему.

— Ангел мой, я сам не меньше тебя люблю,— говорил Павел, тоже обнимая и крепко целуя ее,— но кто же тебе рассказал — где я?

— Твой человек, Иван; я его нарочно обо всем расспросила,— я ведь очень ревнива!

— Бог с тобой, ревнуй меня, сколько хочешь; я перед тобой чист, как солнце; но скажи, как ты мужа убедила отпустить тебя сюда?

— Ничего я его не убедила... Он последнее время так стал пить, что с ним разговаривать даже ни о чем невозможно было,— я взяла да и уехала!..

— И прекрасно сделала; но где ты остановилась?

— Недалеко тут. В «Париже», в гостинице.

— Переезжайте лучше сюда в нумера. Здесь есть свободные комнаты.

— Очень рада,— отвечала Фатеева.

— Я тебе сейчас это устрою,— сказал Павел и, не откладывая времени, пошел к m-me Гартунг.

— Давайте-ка мне, мадам, нумер самый лучший,— сказал он каким-то необыкновенно радостным голосом,— ко мне приехала сестра.

— Ну, уж знаю я, сестра! — возразила, погрозив ему пальцем, m-me Гартунг.

— Уверяю вас — сестра! — повторил Павел.

— Смотрите, и вы так же измените и бросите, как Салов,— сказала m-me Гартунг уже серьезно.

— Ну, уж я не изменю,— отвечал ей Павел.

— Да, не измените! — произнесла она недоверчиво и пошла велеть приготовить свободный нумер; а Павел отправил Ивана в гостиницу «Париж», чтобы тот с горничной Фатеевой привез ее вещи. Те очень скоро исполнили это. Иван, увидав, что горничная m-me Фатеевой была нестарая и недурная собой, не преминул сейчас же начать с нею разговаривать и любезничать.

— Что это ваша барыня к нашему барину, что ли, приехала? — спрашивал он ее, осклабляясь.

— Надо быть. Она уж не к первому приезжает так,— отвечала та.

— А вы к кому приехали? — спросил ее Иван.

— К черту Иванычу Веревкину,— отвечала горничная бойко.

— Знаем, хоть и не видывали.

— Да вы не прижимайте так уж очень,— говорила горничная, когда Иван, внося с нею чемодан, совсем и вряд ли не нарочно прижал ее к стене.

— Толста, вытерпите,— отвечал он ей на это.

— Толста, да не про вас! — возразила горничная.

Когда они сказали Павлу (опять уже сидевшему у себя в номере с Фатеевой), что вещи все внесены, он пошел, сам их все своими руками расставил и предложил своей названной сестрице перейти в ее новое жилище.

— Но и вы со мной ступайте!.. Я не хочу одна без вас быть!— сказала та.

— И я пойду с тобой, сокровище мое! — говорил Павел и, обняв Фатееву, крепко поцеловал ее.

— Вот тебе за это! — воскликнул он.

Восторгу его в настоящие минуты пределов не было.

XIII
ПОГУБЛЕННАЯ ПТИЧКА

Через несколько дней Павлом получено было с траурной каемкой извещение, что Марья Николаевна и Евгений Петрович Эйсмонды с душевным прискорбием извещают о кончине Еспера Ивановича Имплева и просят родных и знакомых и проч. А внизу рукой Мари было написано: «Надеюсь, что ты приедешь отдать последний долг человеку, столь любившему тебя». Павел, разумеется, сейчас было собрался ехать; но прежде зашел сказать о том Клеопатре Петровне и показал даже ей извещение.

— И погребального билета не могла прислать без своей приписки,— проговорила она с неприятною усмешкой...

— Да, но я все-таки должен ехать,— проговорил Павел, заметив недовольное выражение ее лица.

— Это ваше дело,— отвечала Фатеева, пожав плечами.

— Но как же мое дело, друг мой! Я тебя спрашиваю: хочешь ты, чтоб я ехал, или нет?

— Я, разумеется, не желаю, чтоб ты ехал,— проговорила она.

— Ну, я и не поеду,— сказал Павел и, кинув фуражку на стол, стал снимать перчатки.

Ему такой деспотизм Фатеевой уж и не понравился.

— Вы уже потому не должны туда ехать,— продолжала она,— что там, как вы сами мне говорили, меня ужасно бранят.

— Кто же бранит? Одна глупая Анна Гавриловна.

— А ваша умная Мари, конечно, не бранит,— проговорила Фатеева и, кажется, употребила над собою усилие, чтобы окончательно не вспылить.

Случившееся вскоре затем довольно трагическое происшествие в номерах — снова подало повод к размолвке между моими любовниками.

Однажды ночью Вихров уже засыпал, как вдруг услыхал легонький удар в дверь своего номера. Он прислушался; удар снова повторился.

— Кто там? — окрикнул он наконец.

— Это я,— отвечал женский голос.

— Кто вы?

— Я, Анна Ивановна! — сказал женский голосок.— Пустите меня войти к вам.

Вихров поспешил встать, зажечь свечу, надеть на себя платье и отпереть дверь. На пороге номера он увидел Анну Ивановну, всю дрожащую и со слезами на глазах.

— Войдите, бога ради... Что такое с вами?

Анна Ивановна вошла и в волнении сейчас же опустилась на стул.

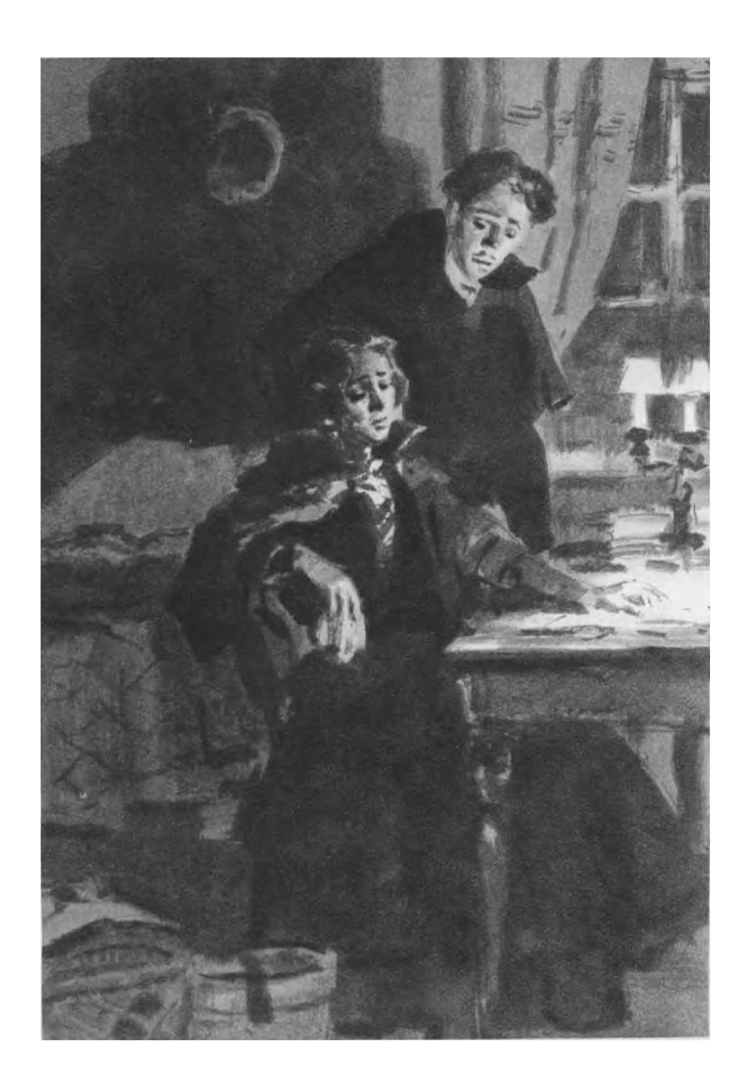
— Дайте мне воды; меня душит вот тут!..— проговорила она, показывая на горло.

Вихров подал ей воды.

— Сходите и спросите Каролину Карловну, пустит ли она жить меня к себе в номера? — сказала она.

— Разумеется, пустит; номер есть свободный, и спрашивать ее об этом нечего,— отвечал Вихров.

— Нет, сходите, говорят вам!.. Может быть, она и не пустит! — проговорила каким-то капризным голосом Анна Ивановна.





Вихров почти бессознательно повиновался ей и пошел будить Каролину Карловну.

К почтенной хозяйке все почти ее постояльцы без всякой церемонии входили днем и ночью. Павел прямо подошел к ее постели и стал будить ее.

— Каролина Карловна, а Каролина Карловна! — говорил он и даже взял и потряс ее за плечо.

— А, что! — откликнулась она, а потом, узнав Вихрова, она произнесла: — Подите, Вихров, что за глупости?.. Зачем вы пришли?

— Я пришел к вам от Анны Ивановны, которая пришла ко мне и просит вас, чтобы вы дали ей номер.

При этих словах почтенная хозяйка приподнялась уже на своей кровати.

— Как, пришла уж, пришла? — произнесла она как бы несколько довольным и насмешливым голосом. — Недолго же ее держали!

Вихров думал, что это она говорит, что Анну Ивановну на уроке недолго продержали.

— Но что же делать,— произнес он,— дайте ей, по крайней мере, номер поскорее; она сидит у меня в комнате вся в слезах и расстроенная.

— А я говорила ей... говорила,— произнесла Каролина Карловна, сидя на своей постели,— она скрыла тогда от меня; ну, теперь и поплатилась.

— Что такое скрыла, поплатилась? Ничего я вас не понимаю; комнату ей, говорят вам, дайте скорее!

— Да комнат много, пусть хоть рядом с вами займет,— отвечала хозяйка,— хоть и не следовало бы, не стоит она того.

Вихров, опять подумав, что Каролина Карловна за что-нибудь рассорилась с Анной Ивановной перед отъездом той на урок и теперь это припоминает, не придал большого значения ее словам, а поспешил взять со стены указанный ему хозяйкой ключ от номера и проворно ушел. Номер оказался совершенно неприбранным, и, чтобы привести его хоть сколько-нибудь в порядок, Вихров разбудил горничную Фатеевой, а потом перевел в него и Анну Ивановну, все еще продолжавшую плакать. Она была в домашней блузе, волосы у нее едва были заколоты назади, руки покраснели от холода, а на ногах — спальные туфли; но при всем том она была хорошенькая собой.

— Что, мне оставить вас? — спросил он ее.

— Нет, Вихров, посидите,— произнесла она, протягивая ему руку,— мне надобно вам многое рассказать.

Вихров сел около нее. Его самого снедало любопытство узнать, что такое с ней произошло.

— Откуда вы это появились и на каком уроке вы жили? — спросил он.

— Я не на уроке жила,— отвечала Анна Ивановна отчаянным голосом.

— Но где же? — спросил ее Вихров уже тихо.

— У Салова,— отвечала Анна Ивановна тоже тихо.

— Как у Салова? — воскликнул Вихров; он отшатнулся даже при этом от Анны Ивановны.

— У Салова,— отвечала она, нахмуривая свое хорошенькое личико.

— Разве вы любили не Неведомова? — спросил Вихров.

— Нет, Салова — на горе мое! — произнесла Анна Ивановна.

— Как же вам не стыдно было предпочесть того этому?

— Так уж случилось; черт, видимо, попутал,— произнесла Анна Ивановна и развела ручками,— тот грустный такой был да наставления мне все давал; а этот все смешил... вот и досмешил теперь... хорошо сделал?

— Но что же такое он с вами сделал?

— Сделал то, что... — И Анна Ивановна остановилась при этом на несколько мгновений, как бы затем, чтобы собраться с силами. — То место, на которое я поступила, он мне достал и часто у нас бывал в доме, потом стал свататься ко мне,— формально, уверяю вас! Я сколько раз ему говорила: «Вздор, говорю, не женитесь на мне, потому что я бедна!» Он образ снял, начал клясться, что непременно женится; так что мы после того совершенно, как жених и невеста, стали с ним целые дни ездить по магазинам, и он закупал мне приданое. В доме между тем стали говорить, чтобы я занималась или детьми, или своим женихом; тогда он перевез меня к себе на квартиру.

— Но как же вы переехали к нему?

— Отчего же не переехать? — возразила наивно Анна Ивановна. — Я была с ним обручена. Потом он меня у себя начал от всех прятать, никому не показывать,

даже держать меня в запертой комнате, и только по ночам катался со мной по Москве. Я стала на это жаловаться: мне очень скучно было сидеть по целым дням взаперти. «Что же, говорю, ты, значит, меня не любишь, если не женишься на мне и держишь меня, как мышь какую,— в мышеловке?» А он мне, знаете, на эту Бэлу — черкешенку в романе Лермонтова — начнет указывать: «Разве Печорин, говорит, не любил ее?.. А тоже держал взаперти!» И когда я очень уж расплачусь — «дикарочка, дикарочка!» — начнет меня звать, привезет мне конфет, и я расхохочусь. Но еще хорошо, что нянька у него отличнейшая женщина была, еще за маленьким за ним ходила!.. Он взял ее к себе, как меня перевез. «Матушка барышня,— говорит она мне потихоньку,— что вы тут живете: наш барин на другой хочет жениться; у него ужо вечером в гостях будет невеста с матерью, чтоб посмотреть, как он живет». И вообразите: я тут сижу у него запертая, а другая невеста у него на вечере. Слышу — шампанское пьют, веселятся; это меня взорвало; я что есть силы стала стучаться в запертую дверь свою, так что он даже прибежал. «Не хочу, говорю, ни минуты тут оставаться!» — надела свой салоп и побежала сюда.

Вихров слушал Анну Ивановну, сильно удивленный всем этим рассказом ее.

— И что же, вы вполне уж ему принадлежали? — спросил он ее негромко.

— Разумеется, вполне,— отвечала с каким-то милым гневом Анна Ивановна,— и потому — что я теперь такое?.. Совершенно погибшая женщина,— прибавила она и развела ручками.

— Бог с вами,— успокаивал ее Павел,— мало ли обманутых девушек... не все же они погибают...

— Меня-то теперь, Вихров, больше всего беспокоит,— продолжала Анна Ивановна,— что Неведомов очень рассердился на меня и презирает меня!.. Он, должно быть, в то время, как я жила в гувернантках, подсматривал за мною и знал все, что я делаю, потому что, когда у Салова мне начинало делаться нехорошо, я писала к Неведомову потихоньку письмецо и просила его возвратить мне его дружбу и уважение, но он мне даже и не отвечал ничего на это письмо... Так что, когда я сегодня выбежала от Салова, думаю: «Что ж, я одна теперь осталась на свете»,— и хотела было утопиться и подбежала было

уж к Москве-реке; но мне вдруг страшно-страшно сделалось, так что я воротилась поскорее назад и пришла вот сюда... Сходите, душенька, к Неведомову и попросите его, чтобы он пришел ко мне и простил меня!..— заключила Анна Ивановна и протянула опять Вихрову руку.

В продолжение всего этого разговора горничная Фатеевой беспрестанно входила в номер, внося разные вещи.

— Какое же теперь? Он, вероятно, спать лег,— возразил Вихров.

— Ах, нет, я знаю, что теперь он все ночи не спит,— перебила Анна Ивановна с прежнею наивностью.

Павел думал.

— Сходите, пожалуйста; приведите его ко мне,— упрашивала Анна Ивановна.

Вихров пошел.

Его самого интересовало посмотреть, что с Неведомовым происходит. Он застал того в самом деле не спящим, но сидящим на своем диване и читающим книгу. Вихров, занятый последнее время все своей Клеопатрой Петровной, недели с две не видал приятеля и теперь заметил, что тот ужасно переменился: похудел и побледнел.

— А я к вам с поручением,— начал он прямо.

— С каким? — спросил Неведомов.

— Анна Ивановна просит вас прийти к ней.

Неведомов с удивлением и почти с испугом взглянул на Вихрова.

— Как Анна Ивановна?.. Разве она здесь? — проговорил он.

— Здесь, приехала сюда и желает вас видеть.

Неведомов несколько времени, кажется, был в страшной борьбе с самим собою.

— Зачем же ей нужно видеть меня? — полуспросил, полусказал он.

— Затем, чтобы испросить у вас прощения и уважения себе.

Неведомов грустно усмехнулся.

— Я не имею права ни прощать, ни не прощать ее,— сказал он.

— Послушайте, Неведомов,— начал Вихров с некоторым уже сердцем,— нам с вами секретничать нечего: мы не дипломаты, пришедшие друг друга обманывать. Бу-

демте говорить прямо: вы любите эту девушку; но она, как видно из ее слов, предпочла вам Салова.

— Что ж и теперь ей мешает любить Салова? — перебил его вдруг Неведомов.

— То, что этот негодяй обманул ее и насмеялся над ней самым оскорбительным образом,— подхватил Вихров.

Неведомов перевел при этом несколько раз свое дыхание, как будто бы ему тяжело и вместе с тем отрадно было это слышать.

— И теперь она,— продолжал Вихров,— всей душой хочет обратиться к вам; она писала уж вам об этом, но вы даже не ответили ей ничего на это письмо.

— Что ж мне было отвечать ей? — сказал Неведомов.

— А то, что вы прощаете ее,— потому что она без этого прощенья жить не может, и сейчас наложила было на себя руки и хотела утопиться.

— Как утопиться? — проговорил Неведомов, и испуг против воли отразился на его лице.

— Так, утопилась было и теперь снова посылает меня к вам молить вас — возвратить ей вашу любовь и ваше уважение.

Неведомов встал и большими шагами начал ходить по комнате.

— Вы, Неведомов,— убеждал его Вихров,— человек добрый, высоконравственный; вы христианин, а не фарисей; простите эту простодушную грешницу.

— Нет, не могу! — сказал Неведомов, снова садясь на диван и закрывая себе лицо руками.

— Неведомов! — воскликнул Павел.— Это, наконец, жестокосердно и бесчеловечно.

— Может быть,— произнес Неведомов, закидывая голову назад,— но я больше уж никогда не могу возвратиться к прежнему чувству к ней.

— Погодите, постойте! — перебил его Павел.— Будем говорить еще откровеннее. С этою госпожою, моею землячкою, которая приехала сюда в номера... вы, конечно, догадываетесь, в каких я отношениях; я ее безумно люблю, а между тем она, зная меня и бывши в совершенном возрасте, любила другого.

— Это — ваше дело,— произнес Неведомов, слегка улыбаясь.

— Но как же вы не хотите,— горячился Павел,— простить молоденькое существо, которое обмануто негодяем?

— Не столько не хочу, сколько не могу — по всему складу души моей,— произнес Неведомов и стал растирать себе грудь рукою.

— И это ваше последнее слово, что вы не прощаете ее? — воскликнул Павел.

— Последнее,— отвечал глухо Неведомов.

— Щепетильный вы нравственник и узковзглядый брезгливец! — сказал Вихров и хотел было уйти; но на пороге остановился и обернулся: он увидел, что Неведомов упал на диван и рыдал. Павел пожал плечами и ушел от него. Анне Ивановне он, впрочем, сказал, что Неведомов, вероятно, ее простит, потому что имени ее не может слышать, чтоб не зарыдать.

Это очень ее успокоило, и она сейчас же, как ушел от нее Павел, заснула сном младенца.

На другой день поутру Павел, по обыкновению, пришел к m-me Фатеевой пить чай и несколько даже поприготовился поэффектнее рассказать ей ночное происшествие; но он увидел, что Клеопатра Петровна сидела за чайным прибором с каким-то окаменелым лицом. Свойственное ей прежнее могильное выражение лица так и подернуло, точно флером, все черты ее.

— Прежде всего,— сказал Павел уже с беспокойством, садясь против нее,— скажите мне, отчего вы так сегодня нехорошо выглядите?

— Оттого, что я устала; я сбираюсь сегодня,— отвечала Фатеева.

— Куда? — спросил Павел, думая, что дело шло о сборах куда-нибудь в Москве.

— К матери в деревню хочу ехать,— проговорила Фатеева, и на глазах у нее при этом выступили слезы.

— Зачем же вы едете туда? — воскликнул с удивлением Павел.

— Что же мне,— сказала Фатеева, грустно усмехаясь,— присутствовать, как вы будете по ночам принимать прежних ваших возлюбленных...

— Это вам, вероятно, ваша горничная успела рассказать; а сказала ли она вам, кто такая это возлюбленная и почему я ее принимал ночью?

— Потому, что подобные госпожи всегда бегают по ночам.

— Ну, а эта госпожа не такого сорта, а это несчастная жертва, которой, конечно, камень не отказал бы в участии,

и я вас прошу на будущее время,— продолжал Павел несколько уже и строгим голосом,— если вам кто-нибудь что-нибудь скажет про меня, то прежде, чем самой страдать и меня обвинять, расспросите лучше меня. Угодно ли вам теперь знать, в чем было вчера дело, или нет?

— Ты, я думаю, сам должен знать, что обязан все мне сказывать,— проговорила Фатеева.

— Я с этим, собственно, и пришел к тебе. Вчера ночью слышу стук в мою дверь. Я вышел и увидал одну молоденькую девушку, которая прежде жила в номерах; она вся дрожала, рыдала, просила, чтоб ей дали убежище; я сходил и схлопотал ей у хозяйки номер, куда перевел ее, и там она рассказала мне свою печальную историю.

— Какая же это печальная история? — спросила его насмешливо Фатеева:

— А такая, что один наш общий знакомый соблазнил и бросил ее,— сказал Павел.

— Почему же она так прямо и бросилась к вам?

— Потому, что она меня одного тут в номерах и знала, кроме еще Неведомова, к которому она идти не решилась, потому что тот сам в нее был влюблен.

— Как же это — один был влюблен в нее, а другой ее соблазнил?

— Да, соблазнил, потому что прежде она того полюбила, а теперь, поняв его, возненавидела, и молит прощенья у того, который ее страстно и бескорыстно любит.

— Как же вы-то все это знаете? — спросила его опять насмешливо Фатеева.

— Знаю, потому что она сама мне все рассказала.

— Какая откровенность к совершенно постороннему мужчине! Вам бы, кажется, когда пришла к вам такая несчастная женщина, прийти ко мне и сказать: я бы, как женщина, лучше сумела ее успокоить.

— Ну, извините, я уж этого не догадался,— произнес Павел.

— Сделай милость, не догадался! — произнесла Фатеева, покачав головой.— Ни один мужчина,— прибавила она с ударением,— никогда не показал бы женщине такого большого участия без того, чтобы она хоть на капельку, хоть немножко да не нравилась ему.

— Ну, это вряд ли так,— возразил Вихров, но в душе почти согласился с m-me Фатеевой, хорошо, как видно, знавшей и понимавшей сердце мужчин.

— Во всяком случае,— продолжала она,— я ни сама не хочу оставаться в этих номерах, ни вас здесь оставлять с вашими приятелями и приятельницами-девицами. Поедем сейчас и наймем себе особую квартиру. Я буду будто хозяйка, а ты у меня на хлебах будешь жить.

— Я очень рад, это превосходно,— воскликнул Павел, в самом деле восхитившийся этой мыслью. Они сейчас же поехали и на Петровском бульваре отыскали премиленький флигель, совершенно уединенный и особняком стоящий.

— Вот в этой келейке мы и будем жить с вами, как отшельники какие,— сказала Фатеева,— и я на шаг не буду вас отпускать от себя.

— Сделайте милость! — сказал Павел, смотря с удовольствием на ее черные глаза, которые так и горели к нему страстью.— Только зачем, друг мой, все эти мучения, вся эта ревность, для которой нет никакого повода? — сказал он, когда они ехали домой.

— Потому что мне все кажется, что ты меня мало любишь и что ты любишь еще кого-нибудь другую.

— Но как же мне тебя больше любить?

— Это тебе надобно знать! — сказала Фатеева.— Я слишком много страдала в жизни и потому имею право не доверять людям,— прибавила она с ударением.

XIV

БЛАГОРОДНЫЕ, НО НЕИСПОЛНИМЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ

Трудно вообразить себе что-нибудь счастливее жизни, которую на первых порах стали вести мои возлюбленные в своем уединенном флигельке на Петровском бульваре. Новое помещение их состояло из общей комнаты, из которой направо был ход в комнату к Павлу, а налево — в спальню к Клеопатре Петровне. На окне последней комнаты сейчас же была повешена довольно плотная занавеска. По утрам, когда Павел отправлялся в университет, Клеопатра Петровна, провожая его, по крайней мере раз десять поцелует; а когда он возвращался домой, она его у Большого театра, в щегольской, отороченной соболем шубке, непременно встречает.

— А я нарочно вышла посмотреть, не заходили ли вы куда-нибудь и прямо ли ко мне спешите,— говорила она, грозя ему пальчиком.

— Прямо к тебе, мое сокровище! — отвечал ей Павел.

Вечером он садился составлять лекции или читал что-нибудь. Клеопатра Петровна помещалась против него и по целым часам не спускала с него глаз. Такого рода жизнь барина и Ивану, как кажется, нравилась; и он, с своей стороны, тоже продолжал строить куры горничной Фатеевой и в этом случае нисколько даже не стеснялся; он громко на все комнаты шутил с нею, толкал ее... Павел однажды, застав его в этих упражнениях, сказал ему:

— Что это такое ты делаешь?

— Что ж такое? — отвечал ему Иван грубоватым голосом и как будто бы желая тем сказать: «А сам разве лучше меня делаешь?»

Видя, что Фатеева решительно ничем не занимается и все время только и есть, что смотрит на него, Павел вздумал поучить ее.

— Ты, ангел мой, женщина очень умная,— начал он,— но пишешь ужасно безграмотно, и почерк у тебя чрезвычайно дурной, как-то невыписавшийся; тебе надобно поучиться писать!

— Ах, я очень рада,— отвечала она, немного сконфузясь,— меня очень дурно маленькую учили.

Чтобы исправить почерк и правописание, Вихров принялся ей диктовать басни Крылова, и m-me Фатеева старалась как можно разборчивее и правильнее писать; но все-таки ошибалась: у нее даже буква «*г*» не очень строго отличалась от «*х*», и она писала *пехать,* вместо *бегать.*

— Прочти, что ты такое написала? — спросил ее Павел, не могши удержаться от смеха.

— Бегать,— прочла Фатеева.

— Нет, не бегать, а пехать,— говорил Павел.

Клеопатра Петровна улыбнулась.

Ей самой, должно быть, хотелось повыучиться, потому что она в отсутствие даже Павла все переписывала басни и вглядывалась в каждое слово их; но все-таки пользы мало от того происходило,— может быть, потому что ум-то и способности ее были обращены совсем уж в другую сторону... Потеряв надежду исправить каллиграфию и орфографию Клеопатры Петровны, Павел решился лучше заняться ее общим образованием и прежде всего вознамерился подправить ее литературные понятия, которые, как заметил он, были очень плоховаты. О французских пи-

сателях она имела еще кой-какие понятия, но и то очень сбивчивые, и всего более она читала Поль де Кока.

— Где же ты все это прочла? — спрашивал ее Павел.

— Муж мне все это давал в первый год, как я вышла замуж,— отвечала она.

«Хорош!» — подумал Павел.

Бальзака, напротив, она мало знала, прочла что-то такое из него, но и сама не помнила что; из русских писателей тоже многого совершенно не читала и даже Пушкиным не особенно восхищалась. Но чем она поразила Павла, — это тем, что о существовании «Илиады» Гомера она даже и не подозревала вовсе.

— А что же писал этот Илиад Гомер? — спросила она, перемешав даже имена.

— Клеопаша, Клеопаша! — воскликнул Павел.— Ты после этого не знаешь, что и древние греки были!

— Нет, знаю! — отвечала Клеопатра Петровна, но и то как-то не совсем уверенно.

— Ну, и знаешь, какой они религии были?

— Они были идолопоклонники.

— Да, но это название ужасно глупое; они были политеисты, то есть многобожники, тогда как евреи, мы, христиане, магометане даже — монотеисты, то есть однобожники. Греческая религия была одна из прекраснейших и плодовитейших по вымыслу; у них все страсти, все возвышенные и все низкие движения души олицетворялись в богах; ведь ты Венеру, богиню красоты, и Амура, бога любви, знаешь?

— Знаю,— отвечала с улыбкой Фатеева.

— Знаешь, что уродливый Вулкан был немножко ревнив; а богини ревности и нет даже, потому женщины не должны быть ревнивы. Это чувство неприлично им.

— Благодарю вас, — неприлично! Что́ же, и смотреть так на все сквозь пальцы, слепой быть? — возразила Клеопатра Петровна.

— Не слепой быть, а, по крайней мере, не выдумывать, как делает это в наше время одна прелестнейшая из женщин, но не в этом дело: этот Гомер написал сказание о знаменитых и достославных мужах Греции, описал также и богов ихних, которые беспрестанно у него сходят с неба и принимают участие в деяниях человеческих,— словом, боги у него низводятся до людей, но зато и люди, герои его, возводятся до богов; и это до такой степени, с одной

стороны, простое, а с другой — возвышенное создание, что даже полагали невозможным, чтобы это сочинил один человек, а думали, что это песни целого народа, сложившиеся в продолжение веков, и что Гомер только собрал их. Даже в древности это творение считали невозможным для одного человека, и была поговорка: «Музы диктовали, а Гомер писал!»

— Что же, все это есть по-русски? — спросила Фатеева.

— Есть! Есть отличнейший перевод Гнедича, я тебе достану и прочту,— отвечал Павел и, в самом деле, на другой же день побежал и достал «Илиаду» в огромном формате. Клеопатру Петровну один вид этой книги испугал.

— Какая толстая и тяжелая,— сказала она.

— Сокровище бесценное! — говорил Вихров, с удовольствием похлопывая по книге.

Вечером они принялись за сие приятное чтение. Павел напряг все внимание, всю силу языка, чтобы произносить гекзаметр, и при всем том некоторые эпитеты не выговаривал и отплевывался даже при этом, говоря: «Фу ты, черт возьми!» Фатеева тоже, как ни внимательно старалась слушать, что читал ей Павел, однако принуждена была признаться:

— Я многого тут не понимаю!..

— Гекзаметр этот — размер стиха для уха непривычный, и высокопарный язык, который изобрел переводчик,— объяснил ей Вихров.

— Что же тут собственно описывается? — спросила Фатеева.

— Описывается, как Парис, молодой троянский царевич, похитил у спартанского царя Менелая жену Елену. Греческие цари рассердились и отправились осаждать Трою, и вот десятый год этой осады и описан в «Илиаде».

— Гм! Гм!..— произнесла Фатеева, поняв уже устный рассказ Павла.

— То, что я тебе читал,— это описание ссоры между греческим вождем Агамемноном и Ахиллесом. Ахилла этого ранить было невозможно, потому что мать у него была богиня Фетида, которая, чтобы предохранить его от ран, окунула его в речку Стикс и сообщила тем его телу неуязвимость, кроме, впрочем, пятки, за которую она его держала, когда окунала.

— Ах, это очень интересно! — сказала Фатеева, заметно заинтересованная этим рассказом.

— Этого, впрочем, в «Илиаде» нет, а я рассказываю тебе это из другого предания,— поспешил объяснить ей Павел, желая передавать ей самые точные сведения, и затем он вкратце изложил ей содержание всей «Илиады».

— Все это очень интересно! — повторила еще раз Фатеева.

— Главное, все это высокохудожественно. Все эти образы, начертанные в «Илиаде», по чистоте, по спокойствию, по правильности линий — те же статуи греческие,— видно, что они произведение одной и той же эстетической фантазии!.. И неужели, друг мой, ты ничего этого не знаешь? — спросил ее в заключение Павел.

— Ничего! — отвечала совершенно откровенно Фатеева.— Кто же нам мог рассказать все это? С учителями мы больше перемигивались и записочки им передавали; или вот насчет этих статуй ты мне напомнил: я училась в пансионе, и у нас длинный этакий был дортуар... Нас в первый раз водили посмотреть кабинет редкостей, где, между прочим, были статуи... Только, когда приехали мы домой и легли спать, одна из воспитанниц, шалунья она ужасная была, и говорит: «Представимте, mesdames, сами из себя статуй!» И взяли, сняли рубашечки с себя, встали на окна и начали разные позы принимать... Вдруг начальница входит. «Это, говорит, что такое?» Одна маленькая воспитанница испугалась и призналась. «Хорошо,— говорит начальница,— стойте же так всю ночь!» — да до утра нас без белья и продержала на окнах, холод такой—ужас!

— Картина недурная, я думаю, была при этом,— заметил Павел.

— Да, были прехорошенькие,— отвечала Фатеева.

— И из них же вы, я полагаю, первая были.

— Я недурна была.

— Сего качества вы и ныне не лишены.

— Я не знаю,— отвечала она кокетливо.

— А я знаю,— проговорил он и, подойдя к ней, крепко обнял и поцеловал ее.

Впечатлением ее приятной наружности он, кажется, хотел заглушить в себе не совсем приятное чувство, произведенное в нем ее признанием в ничегонезнании.

— Ну-с, что я вам толковал сегодня — завтра я вас спрошу,— сказал он.

Фатеева мотнула ему головой в знак согласия. Вихров, в самом деле, спросил ее:

— Кто был Ахиллес?

— Греческий вождь,— отвечала она.

— А чем он замечателен?

— Забыла.

Вихров ничего на это не сказал, но заметно, что это немножко его покоробило.

«Что же это такое?» — думал он, глядя на Клеопатру Петровну, сидящую у своего стола и как-то механически заглядывающую в развернутую перед ней книгу.— «Посмотрите,— продолжал он рассуждать сам с собой,— какая цивилизованная и приятная наружность, какое умное и образованное лицо, какая складная и недурная речь, а между тем все это не имеет под собою никакого содержания; наконец, она умна очень (Фатеева, в самом деле, была умная женщина), не суетна и не пуста по характеру, и только невежественна до последней степени!..»

Придумывая, чтобы как-нибудь все это поправить, Павел с месяц еще продолжал m-me Фатеевой рассказывать из грамматики, истории, географии; но, замечая наконец, что Клеопатра Петровна во время этих уроков предается совершенно иным мыслям и, вероятно, каким-нибудь житейским соображениям, он сказал ей прямо:

— Нет, душа моя, поздно тебе учиться!

— Поздно! — согласилась с этим и сама Клеопатра Петровна.

Вслед за тем проводить с нею все время с глазу на глаз Павлу начало делаться и скучновато.

— Я, душа моя, с приятелями хочу повидаться,— сказал он ей однажды,— но так как ты меня к ним не пустишь, потому что тебе скучно будет проводить вечер одной, то я позову их к себе!

— Пожалуй, позови! — разрешила ему Фатеева.

— Это все народ умный-с! Не то, что ваши Постены,— сказал Павел.

— Очень рада их посмотреть,— проговорила m-me Фатеева.

Павел на другой же день обошел всех своих друзей, зашел сначала к Неведомову. Тот по-прежнему был грустен, и хоть Анна Ивановна все еще жила в номерах, но он, как сам признался Павлу, с нею не видался. Потом Вихров пригласил также и Марьеновского, только что воз-

вратившегося из-за границы, и двух веселых малых, Петина и Замина. С Саловым он уже больше не видался.

В день вечера Клеопатра Петровна оделась франтоватее обыкновенного и причесалась как-то удивительно к лицу.

— Вот это merci, merci,— говорил Павел, целуя ее. Ему хотелось и приятно было погордиться ею перед приятелями: существенного недостатка ее, состоящего в малом образовании, они, вероятно, не заметят, а наружности она была прекрасной; точно так же и перед ней он хотел похвастаться приятелями или, по крайней мере, умом их.

Первый пришел Неведомов, и Фатеева, увидев его в зале, сначала было испугалась.

— Там какой-то шатающийся монах зашел,— сказала она, войдя к Павлу.

— Нет, это Неведомов,— произнес Вихров, так уже привыкший к костюму приятеля, что забыл даже об этом предупредить Клеопатру Петровну.— Пожалуйте сюда, Николай Семенович! — закричал он Неведомову.

Тот вошел к ним в гостиную.

— Monsieur Неведомов, madame Фатеева,— сказал Павел, и Клеопатра Петровна оприветствовала Неведомова уж как следует гостя и села затем в довольно красивой позе; некоторое недоумение, впрочем, не сходило еще у ней с ее лица.

— Мы жили с вами в одних номерах, и я не имел чести с вами встречаться,— начал как-то тяжеловато умный Неведомов.

— Да, я так рада, что мы переехали сюда,— отвечала тоже не совсем впопад m-me Фатеева.

— А что Марьеновский? — поспешил перебить их разговор Павел.

— Он, вероятно, сейчас придет.

— Очень рад, очень рад! — повторил Вихров.

Он знал, что Марьеновский своею приличною наружностью больше всех понравится m-me Фатеевой.

— А вот и он, браво! — воскликнул Павел, услышав негромкие шаги приятеля.

Вошел, в самом деле, Марьеновский.

— Madame Фатеева! — сказал ему Павел, показывая на Клеопатру Петровну.

На этот раз Марьеновский уж был очень удивлен. Его

никто не предупредил, что он встретит у Вихрова женщину... И кто она была — родственница, или... но, впрочем, он вежливо поклонился ей.

Вскоре затем раздались крики толстого Замина.

— Нашли, нашли, знаем теперь! — кричал он, вероятно, дворнику, показывавшему ему ход.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте! — говорил он, войдя в гостиную и тряся всем руку.

— Здравствуйте, здравствуйте! — повторял за ним и Петин.

Павел едва успел их отрекомендовать Фатеевой.

— Здравствуйте, здравствуйте! — сказал Замин, и ей потрясая руку.

— Здравствуйте! — сказал ей и тоненький Петин и склонил только одну голову, не двигаясь при этом остальным телом.

— How do you do? [1]— спросил его Павел по-английски.

— Yes,[2]— отвечал своим чисто английским тоном Петин.

— Это он англичанина представляет! — пояснил Павел.

Та улыбнулась.

Все уселись.

— Какая, брат, на днях штука в сенате вышла,— начал Замин первый разговаривать.— Болхов-город... озеро там, брат, будет в длину верст двадцать... ну, а на нагорной-то стороне у него — монастырь Болоховской!.. Селенья-то, слышь, кругом всего озера идут... тысяч около десяти душ, понимаешь! Все это прежде монастырское было, к монастырю было приписано; как наша матушка Екатерина-то воцарилась — и отняла все у монастыря; а монастырь, однако ж, озеро-то удержал за собой: тысяч пять он собирал каждый год за позволенье крестьянам ловить в озере рыбу. Как государственные имущества устроились, озеро опять к мужикам и оттягали: «В чьих, говорят, землях воды замежеваны, тем они и принадлежат»,— слышь!.. Монахи-то — хлопотать, хлопотать,— в сенат бумагу подали: «Чем же, говорят, монастырю без рыбы питаться?» А мужички-то сейчас к одному чиновничку — и денег дали: «Устрой дело!». Он там и написал бу-

---

[1] Как вы поживаете? *(англ.)*

[2] Да *(англ.)*.

магу — и разрешили ловить рыбу монахам по всему озеру... а между словами-то и оставил местечко; как бумагу-то подписали сенаторы, он и вписал: разрешено монастырю ловить рыбу на *удочку;* так, братец, и лови теперь монахи на удочку, а мужики-то неводом потаскивают!

— Какой смелый и знаменательный поступок Екатерины — отнятие крестьян у монастырей! — сказал Марьеновский, обращаясь более к Неведомову.

— Жаль, что она и у дворян не сделала того же самого,— отвечал тот.

— «Дворянство — слава моего государства»,— говаривала она,— произнес с улыбкой Марьеновский.— Не знаю, в какой мере это справедливо,— продолжал он,— но нынешнему государю приписывают мысль и желание почеркнуть крепостное право.

— Кто же ему мешает это? — воскликнул Павел.

— Не решается, видно!.. Впрочем, инвентари в юго-западных губерниях сделали некоторым образом шаг к тому! — присовокупил Марьеновский; но присовокупил совершенно тихим голосом, видя, что горничная и Иван проходят часто по комнате.

— Что же тогда с нами, помещиками, будет? — спросила Фатеева.

Марьеновский пожал плечами.

— Вероятно, помещиков вознаградят чем-нибудь! — проговорил он.

— Что их вознаграждать-то! — воскликнул Замин.— Будет уж им, помироедствовали. Мужики-то, вон, и в казну подати подай, и дороги почини, и в рекруты ступай. Что баря-то, али купцы и попы?.. Святые, что ли? Мужички то же говорят: «Страшный суд написан, а ни одного барина в рай не ведут, все простой народ идет с бородами».

— В Пруссии удивительно как спокойно рушилось это право,— сказал Марьеновский.— Вы знаете, что король, во все продолжение разрешения этого вопроса, со всем двором проживал только по 50-ти тысяч гульденов.

— Пруссии, как и вообще немцам, предстоит великая будущность,— сказал Неведомов.

Он очень любил и немцев и литературу их.

— Что немцы! — воскликнул Замин.— Всякий немец — сапожник.

— Как, и Шиллер — тоже сапожник? — спросил его Павел.

— И Шиллер — сапожник: он выучился стихи писать и больше уж ничего не знает. Всякий немец — мастеровой: знает только мастерство; а русский, брат, так на все руки мастер. Его в солдаты отдадут: «Что, спросят, умеешь на валторне играть?..» — «А гля че, говорит, не уметь — губы есть!»

— Позвольте мне представить, как барышни поют: «Что ты спишь, мужичок?» — вмешался вдруг в разговор Петин.

— Пожалуйста! — сказал с великою радостью Павел.

Петин сел к столу и, заиграв на нем руками, как бы на фортепьянах, запел совершенно так, как поют барышни, которые не понимают, что они поют.

— Очень похоже! — сказала Фатеева.

Петин встал, раскланялся перед нею, уже как француз, и проговорил:

— Merçi, madame.

Разговор после того снова склонился на несколько отвлеченные предметы и перешел, между прочим, на заявивших уже себя в то время славянофилов.

— Был, брат, я у этих господ; звали они меня к себе,— сказал Замин,— баря добрые; только я вам скажу, ни шиша нашего простого народа не понимают: пейзанчики у них все в голове-то, ей-богу, а не то, что наш мужичок,— с деготьком да луком.

— Хороши и противники-то их — западники,—сказал своим грустным голосом Неведомов.— Какое высокое дарование — Белинский, а и того совсем сбили с толку; последнее время пишет все это, видно, с чужого голоса, раскидался во все стороны.

— Не знаю, я за границей,— начал Марьеновский,— не видал ни одного русского журнала; но мне встретился Салов, и он в восторге именно от какой-то статьи Белинского.

— Он обыкновенно в восторге от всякой книжки журнала,— подхватил Неведомов.

— Особенно, когда этим можно кого-нибудь попилить или поучить,— пояснил Павел.

— Именно: попилить и поучить! — подтвердил Марьеновский.

Вихров был совершенно доволен тем, что у него на ве-

чере говорилось и представлялось, так как он очень хорошо знал, что Клеопатра Петровна никогда еще таких умных разговоров не слыхивала и никогда таких отличных представлений не видывала.

При прощании просили было Петина и Замина представить еще что-нибудь; но последний решительно отказался. Поглощенный своею любовью к народу, Замин последнее время заметно начал солидничать. Петин тоже было отговаривался, что уже — некогда, и что он все перезабыл; однако в передней не утерпел и вдруг схватился и повис на платяной вешалке.

— Глядите, глядите!.. На что он похож? — воскликнул Замин, показывая на приятеля.

— На сухую рыбу,— проговорил Павел.

— На енотовую шубу вытертую,— сказал Замин.

Все взглянули: и в самом деле — Петин был похож на енотовую шубу.

— Совершенно шуба вытертая,— подтвердила и m-me Фатеева.

Когда все ушли, Павел не утерпел и сейчас же ее спросил:

— Ну, как тебе понравились мои приятели?

— Марьеновский, по-моему, очень умный человек!

— Я этого ожидал,— подхватил Павел,— но умнее всех тут Неведомов.

— Я этого не знаю: он все больше молчал,— сказала m-me Фатеева.

— А какова прелесть — Замин с своим народолюбством и Петин!

— Петин — это шут какой-то,— отвечала Фатеева.

— Да, но шут умный, который стоит тысячи глупых умников.

M-me Фатеева ничего на это не возразила; но, по выражению лица ее, очень ясно было видно, что приятели Вихрова нисколько ей не понравились и она вовсе их разговоры не нашла очень умными.

XV

МАКАР ГРИГОРЬЕВ — ВЕЛИК

То, о чем m-me Фатеева, будучи гораздо опытнее моего героя, так мрачно иногда во время уроков задумывалась, начало мало-помалу обнаруживаться. Прежде всего

было получено от полковника страшное, убийственное письмо, которое, по обыкновению, принес к Павлу Макар Григорьев. Подав письмо молодому барину, с полуулыбкою, Макар Григорьев все как-то стал кругом осматриваться и оглядываться и даже на проходящую мимо горничную Клеопатры Петровны взглянул как-то насмешливо.

— Я еле-еле нашел вашу квартиру: в каком захолустье живете! — произнес он.

— Да, мы переехали,— отвечал Павел, распечатывая письмо.

— Что ж, тут барыня, что ли, какая содержит эту квартиру? — продолжал допрашивать Макар Григорьев.

— Барыня! — отвечал Павел и, начав читать письмо, с каждой строчкой его бледнел все больше и больше.

«Любезный сын, Павел Михайлович! — выводил полковник своими каракулями.— Сейчас приезжал ко мне Борис Николаевич Фатеев и известил меня, что жена его снова бежала от него и ныне пребывает в Москве, у тебя в доме, находясь с тобой в близком сожительстве. Разумея то, что в твои лета тебе надо уже иметь какую-нибудь бабу-забавку, я при оном полагаю, что гораздо бы лучше тебе для сего выбрать девку простую, чем срамить тем своего брата-дворянина. Я же господину Фатееву изъяснил так: что сын мой, как следует всякому благородному офицеру, не преминул бы вам дать за то удовлетворение на оружие; но так как супруга ваша бежала уже к нему не первому, то вам сталее спрашивать с нее, чем с него, — и он, вероятно, сам не преминет немедленно выпроводить ее из Москвы к вам на должное распоряжение, что и приказываю тебе сим письмом немедленно исполнить, а таких чернобрысых и сухопарых кошек, как она, я полагаю, найти в Москве можно».

Павел любил Фатееву, гордился некоторым образом победою над нею, понимал, что он теперь единственный защитник ее,— и потому можно судить, как оскорбило его это письмо; едва сдерживая себя от бешенства, он написал на том же самом письме короткий ответ отцу: «Я вашего письма, по грубости и неприличию его тона, не дочитал и возвращаю его вам обратно, предваряя вас, что читать ваших писем я более не стану и буду возвращать их к вам нераспечатанными. Сын ваш Вихров».

Запечатав снова письмо, он подал его Макару Григорьеву.

— Возврати это письмо обратно к отцу и более его писем не трудись приносить ко мне,— проговорил он.

— А что он, видно, больно строгонько пишет к вам? — спросил его Макар Григорьев, принимая письмо.

— Да, чересчур уж!

— Он и мне о том же самом пишет,— прибавил Макар Григорьев.

— О чем это? — спросил Павел.

— О барыне-то этой,— отвечал Макар Григорьев, указывая головой на дверь в следующую комнату.

— Тсс... тише! — остановил его Павел.

— Пишет,— начал Макар Григорьев уже шепотом,— чтобы вы ее как-нибудь поскорее отправили от себя.

— О, вздор какой!

— И пишет, чтобы я и денег вам не выдавал, пока вы не проводите ее: осерчал, видно, старик сильно!

— Что же, ты и не будешь мне выдавать?

— А откуда же мне? Я ведь не свои вам даю, а его же.

— Ну, что ж! Можешь, значит, отправляться,— сказал ему с досадою Павел.

Макар Григорьев, однако, не уходил.

— Вы подождали бы маненько писать к старику-то: авось, он и поуходится!

— Чего ждать? Он не отменит своего приказания.

— Где же тоже, чай, отменить! — произнес Макар Григорьев в каком-то раздумье.

— Ну, а я не намерен никогда исполнять его приказания,— сказал Павел.

— Эх-ма! — проговорил Макар Григорьев, как-то чмокая губами.— Затем, прощенья просим! — прибавил он все еще в каком-то раздумье.

— Прощай! — сказал ему Павел.

Старик, идя домой, всю дорогу был как-то мрачней обыкновенного.

По свойственной всем молодым людям житейской смелости, Павел решился навсегда разорвать с отцом всякую связь и начать жить своими трудами. Он даже не сказал Фатеевой о полученном письме и решился прежде всего приискать себе уроки. Для этого, на другой же день, он отправился к Неведомову, так как тот сам этим жил:

но — увы! — Неведомов объявил, что он теперь решительно не знает ни одного свободного урока. Павла это сильно опешило; он, выйдя от приятеля, не знал, что и предпринять: жизнь еще в первый раз скрутила его с этой стороны. Дома между тем его ожидало новое не очень приятное известие. M-me Фатеева встретила его с заплаканными глазами и чем-то сильно сконфуженная.

— Я получила письмо от своего милого супруга,— начала она.

«Ну, и с этой стороны пошла бомбардировка!» — подумал Павел.

— Он пишет,— продолжала Фатеева, и ее голос при этом даже дрожал от гнева,— чтобы я или возвратила ему вексель, или он будет писать и требовать меня через генерал-губернатора.

— А вексель разве ты ему еще не возвратила? — спросил Павел.

— Нет, и никогда не возвращу! — произнесла Клеопатра Петровна с ударением.— А то, что он будет писать к генерал-губернатору — это решительный вздор! Он и тогда, как в Петербург я от него уехала, писал тоже к генерал-губернатору; но Постен очень покойно свез меня в канцелярию генерал-губернатора; я рассказала там, что приехала в Петербург лечиться и что муж мой требует меня, потому что домогается отнять у меня вексель. Мне сейчас же выдали какой-то билет и написали что-то такое к предводителю.

— Все-таки это — неприятные хлопоты,— произнес Павел.

— Очень! Но меня гораздо более тревожит то, что я как поехала — говорила ему, писала потом, чтобы он мне проценты по векселю выслал, на которые я могла бы жить, но он от этого решительно отказывается... Чем же я после того буду жить? Тебя мне обременять этим, я вижу, невозможно: ты сам очень немного получаешь.

У Павла кровью сердце облилось при этих словах... «Не немного я получаю, а я ничего не получаю!»— подумал он.

— И ты, пожалуйста,— продолжала Фатеева (она, кажется, в этом случае выпытывала Павла,— если тебе это обременительно, ты сейчас же мне скажи; я — хоть пешком, но уйду к матери.

— Ни за что! — воскликнул Павел.— Неужели ты думаешь, что у меня недостанет толку и смысла просодержать тебя: я, наконец, скоро кончу курс и буду служить.

— Но я думала, что все-таки тебе это будет тяжело! — произнесла Фатеева, потупляя глаза.

— Да если бы даже разорвало меня пополам, так я сделаю это!

Павел при этом постукивал ногой; все нервы в нем ходили. Он говорил, что сделает это; но как сделает — и сам еще не придумал; а между тем, по натуре своей, он не был ни лгун, ни хвастун, и если бы нужно было продать себя в солдаты, так он продался бы и сделал, что́ обещал. Мысли его в настоящую минуту остановились на том, чтобы занять денег; но у кого? У кого даже спросить: кто дает денег взаймы? Салов был в этом случае единственный человек, который мог бы его научить; а потому, как тот ни противен был ему, однако Павел отправился к нему. Салов жил очень недалеко от него, на Петровке, и занимал довольно большую квартиру, в которой Павел застал страшный беспорядок. В зале стояла мебель из гостиной, в гостиной — из залы; на нескольких стульях было разбросано платье и валялись на полу сапоги; на столе стоял чайный прибор и недоеденный кусок ростбифа. Сам Салов, с всклоченной головою, в шелковом разорванном халате и в туфлях на босу ногу, валялся на мягком, но запачканном диване и читал.

— А, monsieur Вихров! — воскликнул он не без удовольствия.

— Я к вам с просьбой,— начал прямо Павел.

— Слушаю-с! — воскликнул Салов, обертываясь к нему лицом.— Вы, я слышал, mon cher, бабеночкой тоже завелись и только, говорят, и делаете, что занимаете ее... а?

— Есть такой грех,— отвечал Павел несколько в тон ему.

— Хвалю и одобряю! — произнес Салов.— Я сам, хотя и меняю каждый день женщин, но не могу, чтобы около меня не было существа, мне преданного. Наклонность, знаете, имею к семейной жизни.

— Вот по случаю этой-то жизни,— начал Павел, воспользовавшись первою минутою молчания Салова,— я и очутился в весьма неприятном положении: отец мой, у ко-

торого очень хорошее состояние, узнав, что эта госпожа живет со мною, рассердился и прекратил мне всякое содержание.

— О, жестокий родитель! — воскликнул Салов.— Но вы знаете, не говорите об этом в обществе... Сюжет уж очень избит, во всех драмах...

— С большим бы удовольствием не говорил,— сказал Павел,— но мне, пока я кончу курс и поступлю на службу, нужно занять денег.

— Что же, под залог каких-нибудь предметов? — спросил Салов.

— Каких же предметов... Я могу мой заем обеспечить только тем, что я — единственный наследник хорошего состояния.

— Ну, здесь в Москве требуют более осязаемого: или каких-нибудь ценных вещей, или закладной на какое-нибудь недвижимое имущество.

— Но неужели же мне никто без этого не поверит? — спросил Павел с волнением в голосе.

— Полагаю! — отвечал протяжно Салов.— Разве вот что,— прибавил он, подумав немного и с какою-то полунасмешкой,— тут у меня есть и водится со мною некто купчишка — Вахрамеев. Батька у него уехал куда-то на ярмарку и оставил ему под заведование москательную лавку. Он теперь мне проигрывает и платит мне мелом, умброй, мышьяком, и все сие я понемножку сбываю.

Павел, слушая Салова, удивлялся и не знал, к чему он это говорит.

— Я скажу этому купчишке, чтоб он дал вам под заемное письмо за порядочные проценты этого мышьяку, чернильных орешков, а вы и сбывайте это тоже понемногу; вам, конечно, при вашей семейной жизни надобны не все деньги вдруг.

Павел не знал, смеется ли над ним Салов или нет, но, взглянув ему в лицо, увидел, что он говорит совершенно искренно.

— Нет-с, в этой форме я не желаю делать займа,— сказал он.

— Эх, mon cher, мало ли в какой форме придется в жизни сделать заем... Я раз, честью моей заверяю, заем делал во французском магазине — перчатками... Возьму в долг пару перчаток за полтора рубля серебром, а за

целковый их продаю; тем целый месяц и жил, уверяю вас!

— Вы человек особенный,— сказал ему Павел.

— Я человек коммерческий,— произнес насмешливым голосом Салов.

Вихрову стало уже невыносимо слушать его болтовню.

— Итак, вы решительно не можете достать мне денег? — спросил он.

— Решительно! — проговорил Салов.

Павел поклонился и пошел было.

— Постойте, Вихров! — кликнул ему вслед хозяин; ему, видно, казалось, что он мало надругался еще над приятелем.— Я могу достать вам пятьсот-шестьсот рублей, с тем чтобы вы сели с нами играть в карты.

— И проиграть вам все будущее состояние?

— Вероятно.

— Нет, я таких займов не желаю.

— Как хотите! Я вам делал предложение весьма выгодное.

— Я полагаю, весьма подлое,— проговорил Павел и ушел; он очень рассердился на Салова и прошел прямо на Кисловку к Макару Григорьеву, с тем, чтобы рассказать ему все откровенно, посоветоваться с ним,— чтó делать и чтó предпринять. Он видел и заметил еще прежде, что Макар Григорьев был к нему как-то душевно расположен.

— Ай, батюшка Павел Михайлович! — вскричал тот, увидя Павла и вскакивая с своего кожаного дивана, на котором лежал вверх лицом.

— Не тревожься, пожалуйста, и лежи; а я сяду возле тебя! — сказал Павел и сел на стул.

Но Макар Григорьев, разумеется, не лег, а встал даже перед барином на ноги.

— Я в ужасном положении, Макар Григорьич,— начал Павел.

— Чтó уж, какое дело,— произнес тот невеселым голосом,— возьмите покамест у меня оброчные деньги; а я напишу, что еще прежде, до получения письма от папеньки, выдал их вам.

— Да, но эти деньги весьма малые.

— Деньги пустые!

— Ну, а мне, пока я доучусь и получу порядочную службу, вдесятеро больше надобно; потому что я живу не один, а вдвоем с женщиною.

— Пустое дело — эта госпожа. Та́к только вы приняли на себя эту заботу.

— Ну, уж если я принял, все же должен честно выполнить свою обязанность против нее.

— Да какая обязанность! Взяли да сказали ей: чем-мо, матушка, мне содержать тебя, ступай-ка лучше к мужу, откуда пришла.

— А ты знаешь, что сказать ей это... не говоря уже, как это лично тяжело для меня... сказать ей это — все равно что убить ее.

— Отчего убить? — возразил Макар Григорьев.— Пустяки! Живущи они, проклятые, как-то на это!.. Мне ведь горничная ихняя сказывала: она не то что из нежных и деликатных барынь, а гулящая ведь

— Ну, Макар Григорьич, ты не знаешь и не можешь своим языком говорить о женщинах нашего круга,— остановил его Павел.

— Да, известно, где уж мне, вразумить ли вас!.. По пословице: не по хорошу мил, а по милу хорош!

— Что́ же, где мне занять денег? — продолжал Павел своим тоскливым голосом.

Макар Григорьев подумал несколько времени.

— Что тут занимать-то, нечего! — проговорил он.— Берите у меня, сколько вам понадобится.

— Как у тебя? — спросил Павел, не понимая, что̀ такое говорит старик.

— У меня,— повторил тот.— Я просодержу вас, пока у самих денег не будет.

— Да как же и когда я отдам тебе эти деньги?— спросил Павел.

— Да когда хотите,— отвечал Макар Григорьев каким-то легкомысленным тоном.

Павел все еще не мог хорошенько сообразить.

— Ты меня все время, пока я не поступлю на службу, будешь содержать с этой госпожой?

— Буду содержать,— отвечал Макар Григорьев,— не мотайте только больно — не миллионер же я какой, в самом деле.

— Послушай, Макар Григорьев, я не могу от тебя это-

го принять,— начал Павел прерывающимся от волнения голосом.— Чтобы я на свое... как, быть может, ты справедливо выразился... баловство стал у тебя деньги, кровным трудом нажитые, брать,— этого я не могу себе позволить.

— Чего — кровным трудом,— возразил Макар Григорьев,— я ведь не то что от пищи али от содержания своего стану отрывать у себя и давать вам; это еще постой маненько: я сам охоч в трактир ходить, чай и водку пить; а это у меня лежалые деньги в ломбарде хранятся.

— Но деньги все же целым веком нажитые.

— Да ведь вы мне отдадите их когда-нибудь, не зажилите.

— А если ты умрешь, и я не успею отдать?

— Ну, жене-старухе отдадите.

— А если и жена умрет?

— Ай, батюшки, все так и перемрем; ну, в церковь положите.

— Нет, я не могу так!— произнес Павел, подумав немного, и потом прошелся несколько раз по комнате и, как видно, что-то придумал.

— Вот на что я могу согласиться,— начал он,— я буду брать у тебя деньги под расписку, что тотчас же после смерти отца отпущу тебя и жену на волю.

— Да пошто нам на волю-то... не пойдем мы на волю...

— Хорошо, если ты не хочешь, так я отпущу родных твоих на волю за ту твою услугу; деньги отдам тебе, а за услугу родных отпущу.

— Вот как, и деньги отдадите и родных на волю отпустите,— что-то уж больно много милостей-то будет. Нечего тут заранее пустое дело болтать. Есть у вас теперь деньги или нет?

— Мало.

— Ну, вот вам — двести рублей. Живите поаккуратней! — проговорил Макар Григорьевич и подал Павлу деньги.

Тот принял их от него; у Павла при этом руки и ноги дрожали, и сам он был чрезвычайно сконфужен.

— Благодарю, благодарю!— пробормотал он несколько раз.

— Не меня благодарите, а маменьку вашу,— сказал е

некоторым чувством Макар Григорьевич,— не вам еще я пока теперь служу, а покойнице — за то, что она сделала для меня...

Павел вышел от Макара Григорьевича до глубины души растроганный, и, придя домой, он только и сказал Фатеевой:

— Ну, мой друг, мы обеспечены теперь совершенно в материальном отношении.

— Каким же образом ты это устроил?— спросила она с удовольствием.

— После как-нибудь расскажу,— отвечал Павел, и, ссылаясь на усталость, он ушел и лег на постель.

Слезы умиления невольно текли у него из глаз при воспоминании о поступке с ним Макара Григорьевича.

XVI

ЕЩЕ СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

В одно воскресное утро Павел сидел дома и разговаривал с Клеопатрой Петровной.

— А что, друг мой,— начал он,— ты мне никогда не рассказывала подробно о твоих отношениях к Постену; поведай мне, как ты с ним сошлась и разошлась.

Клеопатра Петровна немного покраснела.

— Тебе это, я полагаю, не совсем приятно будет слушать,— проговорила она.

— Это почему?

— Потому что в тебе все-таки при этом должна будет заговорить отчасти ревность.

Вихров подумал немного.

— Пожалуй, что и так!..— произнес он.— Но по крайней мере скажи мне, что́ он за человек.

— Человек он — положительно дурной. Знаешь, этакий высохший, бессильный развратник,— отвечала Клеопатра Петровна.

— Как же он тебя любил?

— Он меня любил как хорошенькую женщину, как какой-нибудь красивый кусок мяса; со всеми, знаешь, этими французскими утонченностями, и так мне этим омерзел!.. Потом, он еще — скупец ужасный.

— Это сейчас видно было.

— Ужасный,— повторила Фатеева.— Когда мы с ним

переехали в Петербург, он стал требовать, чтобы я вексель этот представила на мужа — и на эти деньги стала бы, разумеется, содержать себя; но я никак не хотела этого сделать, потому что вышла бы такая огласка... Тогда он перестал меня кормить, комнаты моей не топил.

— Негодяй какой!— воскликнул Павел.

В это время раздался звонок в дверях, и вслед за тем послышался незнакомый голос какого-то мужчины, который разговаривал с Иваном. Павел поспешил выйти, притворив за собой дверь в ту комнату, где сидела Клеопатра Петровна. В маленькой передней своей он увидел высокого молодого человека, блондина, одетого в щегольской вицмундир, в лаковые сапоги, в визитные черные перчатки и с круглой, глянцевитой шляпой в руке.

Павел, вглядевшись в него, произнес:

— Боже мой, кого я вижу — Плавин!

— А вы — господин Вихров?— спросил тот.

— Так точно,— отвечал Павел, и приятели подошли и поцеловались друг с другом.

— Как я рад с вами, Плавин, встретиться!— говорил Павел, но не совсем искренно, потому что, взглянув на одну наружность Плавина, он уже понял, какая бездна существует между ним и его бывшим приятелем.

— Я, приехав в Москву, нарочно зашел в университет, чтобы узнать ваш адрес... Как не стыдно, что вы во все время нашей разлуки — хоть бы строчку написали,— говорил Плавин, видимо желая придать своему голосу как можно более дружественный тон.

— Писать-то, признаться, было нечего,— отвечал Павел, отчасти удивленный этим замечанием, почему Плавин думал, что он будет писать к нему... В гимназии они, перестав вместе жить, почти не встречались; потом Плавин годами четырьмя раньше Павла поступил в Петербургский университет, и с тех пор об нем ни слуху ни духу не было. Павел после догадался, что это был один только способ выражения, façon de parler, молодого человека.

— Вы уж чиновник, на службе царской,— говорил Павел, усаживая Плавина и все еще осматривая его щеголеватую наружность.

— Да, я столоначальник министерства внутренних дел,— отвечал Плавин не без ударения.

— Вот как-с! Столоначальник департамента. Это уж ранг не малый!— говорил Павел и сам с собой думал: «Ну, теперь я понимаю, зачем он приехал! Чтобы поважничать передо мною».

— Ну, скажите, а вы как и что́?— отнесся к нему каким-то покровительственным тоном Плавин.

— Я кончаю курс по математическому факультету,— отвечал Павел.

— Дело доброе!— подхватил Плавин.— И что же потом: к нам в Петербург на службу?

— Не знаю еще,— отвечал Павел, вовсе не желая своего хладносердого приятеля посвящать в свои дальнейшие намерения.

— Какой славный город Москва,— продолжал между тем Плавин,— какой оригинальный, живописный!.. Так много в нем русского, национального.

Павлу было противно эти слова слышать от Плавина. Он убежден был, что тот ничего не чувствует, а говорит так только потому, что у него привычка так выражаться.

— Здесь, кроме города, народ славный, ума громаднейшего, с юмором — не таким, конечно, веселым, как у малороссов, но зато более едким, зубоскалистым!

На это Плавин одним только движением головы изъявил как бы согласие. «Точно китайский мандарин кивает головой!» — подумал про себя Павел.

— А скажите вот что-с! — продолжал он.— Вы в министерстве внутренних дел служите... какого рода инвентари были там предполагаемы для помещичьих крестьян?

Павел не без умыслу сказал это, желая показать перед приятелем — знай-мо, какими мы государственными вопросами занимаемся и озабочены.

— Да, это была какая-то попытка,— отвечал, в свою очередь, не без важности Плавин.

— Но, говорят, государь положительно желает уничтожить крепостное право,— говорил с увлечением Вихров.

На эти слова Плавин уж с удивлением взглянул на Павла.

— Я не слыхал этого,— произнес он, и в то же время физиономия его как будто добавила: «Не слыхал вздору этакого».

«Хоть бы высказывался, скотина, больше, поспорить бы можно было»,— думал Павел. Его больше всего возмущал Плавин своим важным видом.

— А помните ли вы наш театр, который мы с вами играли — маленькие? — прибавил он вслух.

— Да, помню, всегда с удовольствием вспоминаю,— отвечал Плавин, черт знает что желая этим сказать.

«Ну погоди же, голубчик, мы тебя проберем. Я позову своих молодцов. Они тебя допросят»,— думал Павел.

— А не будете ли вы так добры,— сказал он, видя, что Плавин натягивает свои перчатки,— посетить меня ужо вечером; ко мне соберутся кое-кто из моих приятелей.

— Мне весьма приятно будет,— сказал Плавин, потом прибавил:— А в котором часу?

— Часов в восемь,— отвечал Павел.

Плавин уехал.

— Кто это такой у тебя был? — спросила с любопытством вышедшая из своей комнаты Фатеева.

— Скот один! — отвечал Павел.

— Как скот? — сказала с удивлением Клеопатра Петровна; она смотрела на гостя в щелочку, и он ей, напротив, очень понравился.— Он такой, кажется, славный молодой человек,— заметила она Павлу.

— Славный, только из стали, а не из живого человеческого мяса сделан,— отвечал тот и принялся писать пригласительные записки приятелям.

«Неведомов, бога ради, приходите ко мне и притащите с собой непременно Марьеновского. Мы все сообща будем травить одного петербургского филистера, который ко мне пожалует».

К Замину и Петину он писал так:

«Друзья мои, приходите ко мне, и мы должны будем показать весь наш студенческий шик перед одним петербургским филистером. Приходите в самых широких шароварах и в самых ваших скверных фуражках».

Отправив эти записки, Павел предался иным мыслям. Плавин напомнил ему собою другое, очень дорогое для него время — детский театр. Ему ужасно захотелось сыграть где-нибудь на театре.

— Клеопаша! — сказал он, развалясь на диване и несколько заискивающим голосом.— Знаешь, что я думаю,— нам бы сыграть театр.

— Театр? — переспросила та.

— Да, театр, но только не дурацкий, разумеется, как обыкновенно играют на благородных спектаклях, а настоящий, эстетический, чтобы пиесу, как оперу, по нотам разучить.

— Кто же будет играть? — спросила Клеопатра Петровна.

— Все мы, кого ты знаешь, и еще кого-нибудь подберем,— ты, наконец, будешь играть.

— Я? Но я никогда не игрывала,— отвечала Фатеева.

— Это вздор, научим, как следует,— отвечал Павел и начал соображать, какую бы пиесу выбрать. Больше всего мысль его останавливалась на «Юлии и Ромео» Шекспира — на пьесе, в которой бы непременно стал играть и Неведомов, потому что ее можно было бы поставить в его щегольском переводе, и, кроме того, он отлично бы сыграл Лоренцо, монаха; а потом — взять какую-нибудь народную вещь, хоть «Филатку и Мирошку», дать эти роли Петину и Замину и посмотреть, что они из них сделают. Все эти мысли и планы приводили Павла в восхищение.

Клеопатра Петровна, между тем, хотела было велеть для предстоящего вечера привести комнату в более благоприличный вид.

— Не нужно-с, не извольте трудиться,— сказал ей Павел,— я хочу, чтобы этого филистера все у нас возмущало.

— Но для меня это нехорошо, понимаешь ты?

— Если сошлась с буршем, и сама буршачкой будь!— сказал Павел и поцеловал ее.

Клеопатра Петровна знала очень хорошо, что такое филистер и бурш. Павел давно уж это ей растолковал.

Неведомов, Марьеновский, Замин и Петин пришли раньше Плавина.

— А мой важный господин еще нейдет,— говорил Павел с досадой в голосе.

— Да кто он такой, что он такое? — спрашивали Вихрова все его приятели.

— Это один мой товарищ, про которого учитель математики говорил, что он должен идти по гримерской части, где сути-то нет, а одна только наружность,— и он эту наружность выработал в себе до последней степени совершенства.

— Comment vous portez-vous,[1] значит,— понимаю,— сказал, мотнув головой, Замин.

— Нет-с, хуже потому что те сразу выдают себя, что они пошляки; а эти господа сохраняют вид, что как будто бы что-то в себе и таят, тогда как внутри у них ничего нет.

— Но почему же вы думаете, что внутри у них ничего нет?— спросил Павла Марьеновский.

— Потому что они никогда не высказывают ничего, а только согласие на все высокое и благородное проявляют.

— В Петербурге все молодые люди вообще очень сдержанны,— проговорил Марьеновский, обращаясь как бы ко всем.

— Все они в Петербурге шпионы, вот что́!— заключил решительно Замин.

В эту минуту как раз вошел Плавин. Он был одет совершенно как с модной картинки: в черном фраке, в белом жилете, в белом галстуке и слегка даже завит.

— Фу ты, боже мой! Парад какой! Вы, может быть, полагали, что у меня будет бал? — спросил его Павел.

— Нет,— отвечал Плавин, дружески пожимая ему руку,— я после вас заехал к генерал-губернатору с визитом, и он был так любезен, что пригласил меня к себе на вечер; и вот я отправляюсь к нему.

— Вот как! — произнес Павел и сделал легкую гримасу.— Приятели мои: Марьеновский, Неведомов, Петин и Замин,— прибавил он, непременно ожидая, что Плавин будет сильно удивлен подрясником Неведомова и широкими штанами Петина; но тот со всеми с ними очень вежливо поклонился, и на лице его ничего не выразилось.

— А это — сестра моя двоюродная,— сказал Павел, указывая на Фатееву.

Плавин отдал ей глубокий и почтительный поклон. Разговор довольно долго не клеился; наконец, Плавин обратился к Фатеевой.

— Вы — одной губернии с Павлом Михайловичем? — спросил он ее со всевозможною вежливостью.

— Да, одной,— отвечала Фатеева.

— Я сам тамошний; но так давно уже не бывал на своей родине.

---

[1] Как вы поживаете, (*франц.*).

— Вы — все в Петербурге? — спросила, в свою очередь, вежливо Фатеева.

— Я там учился в университете и служу теперь.

— И как еще служит блистательно!— подхватил Вихров, показывая Марьеновскому на Плавина.— Почти ровесник мне, а уже столоначальник департамента.

— Да ведь это что́ же,— вмешался в разговор, слегка покраснев, Замин,— у меня есть троюродный брат, моложе меня — и уж секретарем теперь.

— Где? — спросил Павел, наперед ожидая, что Замин отпустит какую-нибудь штуку.

— В надворном суде,— и такой взяточник, что чудо!— заключил Замин и еще более покраснел.

При этом все невольно потупились, кроме, впрочем, Плавина, лицо которого ничего не выражало, как будто бы это нисколько и не касалось его. Впоследствии оказалось, что он даже и не заметил, какие штуки против него устраивались: он очень уж в это время занят был мыслью о предстоящей поездке на бал к генерал-губернатору и тем, чтоб не измять и не испачкать свой костюм как-нибудь.

Марьеновский между тем, видимо, находивший эту выдуманную Павлом травлю на его знакомого неприличною, начал весьма серьезно и не в насмешку разговаривать с Плавиным о Петербургском университете, о тамошних профессорах. Неведомов сидел молча и потупив голову. Павлу было досадно на себя: отчего он не позвал Салова?

«Тот бы пробрал этого господина»,— думал он и, не утерпев наконец, подошел к Петину и шепнул:

— Представь, пожалуйста, как различные господа входят в церковь и начинают молиться. Да чтоб побольше франтов было!

— Ja, es ist gut![1]— сказал Петин, совершенно как немец.

Последнее время он переменил тон англичанина на тон немца.

— Плавин,— сказал Павел, обращаясь к тому,— прежде вы были любителем театра; мы покажем вам такое представление, какого вы, вероятно, никогда не видывали. Начинайте, Петин!

— Это входят в церковь разные господа,— начал Пе-

[1] Да, это хорошо! *(нем.)*

тин и сначала представил, как входит молодой офицер, подходит к самым местным иконам и перед каждой из них перекрестится, поклонится и сделает ножкой, как будто бы расшаркивается перед ротным командиром. Потом у него вошел ломаный франт, ломался-ломался, смотрел в церкви в лорнет... И, наконец, входит молодой чиновник во фраке; он молится очень прилично, ничего особенного из себя не делает и только все что-то слегка дотрагивается до груди, близ галстука.

— Это он молит бога, чтоб тот дал ему Владимира на шею!— пояснил при этом Петин всей публике.

Штука эта была выдумана и представлена прямо для Плавина; но тот опять, кажется, ничего из этого не понял.

— Нет, это что, а вот что я представлю!— воскликнул Замин, нашедший, вероятно, что штука приятеля была недостаточно пикантна.— Смотрите,— кричал он, падая на пол,— это мужика секут, а он кричит: «Семен Петрович, батюшка, батюшка!» — и при этом Замин повертывался на полу.

Все невольно захохотали, не исключая и Плавина. Клеопатра Петровна конфузилась, краснела, но все-таки хохотала.

— Отлично, отлично!— кричал Павел.

Когда представление это кончилось, Плавин, взглянув на часы, начал раскланиваться сначала с Клеопатрой Петровной, потом с Павлом и гостями.

— Уже?— сказал ему Вихров.

— Да, мне время,— отвечал Плавин и, отдав всем общий поклон, уехал.

— Ну, и черт с тобой!— произнес Павел, когда Плавин ушел.— Но каков, однако, пролаза,— прибавил он,— на два дня приехал в Москву, успел уже съездить к генерал-губернатору и получить от него приглашение на бал. У него и маменька такая была, шлендой и звали; по всем важным господам таскалась, вот и он наследовал от нее это милое свойство.

— Этот господин далеко уйдет,— сказал и Марьеновский.

— И еще бы дальше ушел, если бы в морской службе служил,— подхватил Петин.

— Почему же?— спросил его Марьеновский.

— Потому что из него отличные бы два весла вышли,— отвечал фистулой Петин.

Все захохотали.

Клеопатра Петровна, хотя и не возражала молодым людям, но в душе, кажется, не была согласна с ними.

— Повторяю еще раз, черт с ним!..— начал Павел.— Теперь дело вот в чем-с. Клеопатра Петровна, садитесь рядом со мною: вы нам нужны более, чем кто-либо!.. Пришла мне мысль — сыграть нам театр, хороший, настоящий, и мой взгляд по сему предмету таков, чтобы взять для представления что-нибудь из Шекспира; так как сего великого писателя хотя и играют на сцене, но актеры, по их крайнему необразованию, исполняют его весьма плохо. Мочалов, кроме уж своего таланта, тем и велик в «Гамлете», что он один понимает то, что играет; тогда как другие... Боже ты мой! Короля, например, злодея и интригана, представляют, как какого-то пошляка, говорящего фразы... Полония, этого умного господина, но развращенного в придворной среде, являют шутом, дураком... Ну, а мы, я полагаю, ансамблем можем взять. Каждый из нас, разумеется, без должной привычки к сцене, но все-таки будет понимать то, что он говорит.

Сказав это, Павел замолк.

— Театр сыграть отлично бы было,— подхватил Петин, потирая от удовольствия руки.

— Штука важная,— повторил и Замин,— только... как вот Шекспир-то пойдет у нас.

— Уж если играть, так всего приличнее Шекспира,— высказался наконец и Неведомов.

Марьеновский молчал.

— Играть, я полагаю,— снова начал Павел,— «Ромео и Джульету». Я, если вы позволите, возьму на себя Ромео — молод еще, строен, немного трагического жара есть... А вы — Лоренцо,— отнесся он к Неведомову.

— Если нужно это будет, извольте,— отвечал тот.

— Меркуцио — Петин.

— Могу,— воскликнул тот и, сейчас же встав, произнес громким голосом:

О, вижу ясно,
Что у тебя была в гостях царица Маб!

— Отлично,— похвалил его Павел.— Юлию вы будете играть,— обратился он к Клеопатре Петровне.

— Я вовсе не могу играть!— возразила та.

— Почему же не можете?.. Извольте нам прочесть, и мы увидим, можете вы или нет.

И Павел сейчас же принес книжку.

— Прочтите! — сказал он.

— Я, ей-богу, не могу,— отвечала та.

— Прочтите, или я в самом деле рассержусь! — произнес Павел и действительно сильно нахмурился.

Фатеева пожала плечами и начала читать; но — о, ужас! — оказалось, что она не совсем даже бойко разбирает по-печатному.

— Что это барыня-то как тянет? — шепнул Петин Замину.

— Это она не вычитала еще урока,— сказал с серьезною физиономиею Замин.

— А так-то сразу не уразумевает,— подхватил Петин.

— Трудно ведь это,— отвечал, по-прежнему сидя солидно, Замин.

Клеопатра Петровна сама наконец поняла, как она ужасно читает,— вся покраснела, рассердилась и бросила книгу на стол.

— Не могу я читать,— сказала она.

Павел тоже уже больше не заставлял ее.

— Теперь-с о зале надобно похлопотать,— сказал он, стараясь позамять происшедший между всеми конфуз.

— Залой я вам могу услужить,— сказал Марьеновский,— у меня одна тетка уехала и оставила на мой присмотр свой дом, в котором есть и прислуга и зала. Это именно дом на Никитской князей Курских.

— Отлично,— произнес Павел,— однако вы и сами будете играть.

— Нет, уж от играния я прошу меня освободить, так как я залой служу обществу,— отвечал Марьеновский.

— Извольте-с, за залу мы вас освобождаем,— сказал Павел,— но, я полагаю, завтра часов в шесть вечера мы и можем съехаться в этот дом.

— Можете; я поутру же напишу туда записку, чтобы все было приготовлено.

Когда улажено было таким образом это дело, приятели разошлись наконец по домам.

Фатеева заметно дулась на Павла.

— Что это Замин вздумал представлять, как мужика секут; я тут, я думаю, сидела; я женщина... Стало быть, он никакого уважения ко мне не имеет.

— Что за вздор такой! Это он сделал вовсе не затем, чтобы тебя, а чтобы Плавина пошокировать.

— Однако вышло, что он меня шокировал.

— Ничего не шокировал. Ты, однако, завтра все-таки поедешь со мной на считку? — спросил Павел.

Его больше всего теперь беспокоил театр.

— Нет, не пойду,— отвечала Фатеева.

— Отчего же не поедешь?

— Оттого, что не хочу.

Павел пожал плечами и ушел в свою комнату; Клеопатра Петровна, оставшись одна, сидела довольно долго, не двигаясь с места. Лицо ее приняло обычное могильное выражение: темное и страшное предчувствие говорило ей, что на Павла ей нельзя было возлагать много надежд, и что он, как пойманный орел, все сильней и сильней начинает рваться у ней из рук, чтобы вспорхнуть и улететь от нее.

XVII

ОПЯТЬ РЕВНОСТЬ

В день считки Вихров с Фатеевой еще более поссорился.

— Вы поедете?— спросил он ее перед самым отъездом.

— Нет,— отвечала та по-прежнему, мрачно.

— Как угодно-с! — проговорил Павел.— Найдем актрис и без вас, найдем! — говорил он, уходя и надевая набекрень студенческую фуражку.

M-me Фатеева вздрогнула при этом. Она еще не вполне понимала, как она огорчает и оскорбляет Павла своим отказом участвовать в театре. Знай это хорошо — она не сделала бы того!

Павел прямо поехал в номера m-me Гартунг.

Он проворно взбежал по высокой лестнице и прошел в номер к Анне Ивановне. Он застал, что она в новом кисейном платье вертелась перед зеркалом.

— А, Вихров, здравствуйте! — вскрикнула она весело, хлопнув своей маленькой ручкой в его руку.

— Я к вам с просьбой и с предложением,— начал он.

— В чем дело? Слушаю-с!..— сказала Анна Ивановна, с важностью садясь на свое креслице.— Впрочем, погодите, постойте, здорова ли madame Фатеева?

— Здорова,— отвечал торопливо Павел.— Дело мое в том, что мы затеваем театр устроить и просим, чтобы и вы с нами играли.

— А madame Фатеева будет тоже играть?
— Нет, не будет.
— Отчего же это?
— Оттого, что у ней способности никакой на это нет.
— А с чего же вы думаете, что у меня есть способности?
— А оттого, что вы живая, как ртуть.
— А она разве не живая? Ух, какая, должно быть, живая! Кто же еще будет из мужчин играть?
— Да все наши.
— А Неведомов будет играть?
— Будет. А вы с ним видитесь?
— Нет, теперь уж я сама на него сердита; если он не желает помириться со мной, так и бог с ним! С удовольствием бы, Вихров, я стала с вами играть, с удовольствием бы,— продолжала она,— но у меня теперь у самой одно большое и важное дело затевается: ко мне сватается жених; я за него замуж хочу выйти.
— За кого же это?
— За купца, за богатого.
— Кто же вам высватал его?
— А тут одна торговка-сваха ходит к Каролине Карловне.
— Смотрите, чтобы привередник какой-нибудь не вышел, если купец, да еще богатый.
— Что делать-то, Вихров?.. Бедные на мне не женятся, потому что я сама бедна. Главное, вот что — вы ведь знаете мою историю. Каролина говорит, чтобы я называлась вдовой; но ведь он по бумагам моим увидит, что я замужем не была; а потому я и сказала, чтобы сваха рассказала ему все: зачем же его обманывать!
— Зачем обманывать, не следует; но сами вы будете ли любить его?
— Ну, вот этого не знаю, постараюсь!— отвечала Анна Ивановна и развела ручками.— А ведь как, Вихров, мне в девушках-то оставаться: все волочатся за мной, проходу не дают, точно я — какая дрянная совсем. Все, кроме вас, волочились, ей-богу! — заключила она и надула даже губки; ей, в самом деле, несносно даже было, что все считали точно какою-то обязанностью поухаживать за ней!
— Вам замужество, я полагаю,— начал Павел (у него в голове все-таки было свое),—не может помешать сыграть на театре; вы сыграете, а потом выйдете замуж.

— А как жених узнает и скажет: «Зачем вы со студентами театр играете?» Он и то уж Каролине Карловне говорил: «Зачем это она живет в номерах со студентами?»

— Я и Каролину Карловну приглашу играть,— объяснил ей Павел.

— Разве вот что сделать,— рассуждала между тем Анна Ивановна (ей самой очень хотелось сыграть на театре),— я скажу жениху, что я очень люблю театр. Если он рассердится и запретит мне, тогда зачем мне и замуж за него выходить, а если скажет: «Хорошо, сыграйте»,— тогда я буду играть.

— Значит, во всяком случае вы будете играть? — сказал с удовольствием Павел.

— Во всяком случае!— отвечала Анна Ивановна, окончательно решившаяся участвовать в спектакле.

— Ну-с, поэтому вы надевайте вашу шляпку, и мы сейчас же поедем на считку в один дом, а я схожу к Каролине Карловне,— и он пошел к m-me Гартунг.

Он застал ее сидящею у окна, очень похудевшую в лице, но в талии как бы несколько даже пополневшую. Он изъяснил ей свою просьбу, чтобы она взялась играть в «Ромео и Юлии» няньку.

Каролина Карловна сначала посмотрела на него с удивлением.

— Где же этот театр у вас будет? — спросила она.

— В одном доме очень хорошем... Согласитесь, Каролина Карловна.

— Нет, Вихров, не могу,— отвечала она и вздохнула.

— Отчего же не можете?

— Оттого, что мне не до того теперь... не до театров ваших,— проговорила Каролина Карловна и потупилась; на глазах у ней навернулись слезы.

Павел подозрительно осмотрел ее стан.

— Неужели — опять? — спросил он ее.

М-me Гартунг на это только утвердительно кивнула головой.

— Что же, опять злодей Салов?

Каролина Карловна отрицательно покачала головой, и хоть после того, как Павел сделал Каролине Карловне откровенное признание в своей любви, они были совершенно между собой друзья, но все-таки расспрашивать более он не почел себя вправе. Впоследствии он, впрочем, узнал, что виновником нового горя Каролины Карловны был один

из таинственных фармацевтов. Русскому она, может быть, не поверила бы более; но против немца устоять не могла!

— Ну, что же делать, очень жаль! — говорил Павел, находя и со своей стороны совершенно невозможным, чтобы она в этом положении появилась на сцене.— До свиданья!— сказал он и ушел опять к Анне Ивановне, которая была уже в шляпке. Он посадил ее на нарочно взятого лихача, и они понеслись на Никитскую. Фатееву Павел в эту минуту совершенно забыл. Впереди у него было искусство и мысль о том, как бы хорошенько выучить Анну Ивановну сыграть роль Юлии.

Дом князя Курского был барский и не на московский лад, а на петербургский: каменный, двухэтажный, с зеркальным подъездом. Огромную дверь им отмахнул арап швейцар. Когда Павел и Анна Ивановна вошли в сени, арап снял с нее салоп и, перекинув его на руку, видимо, оставался несколько мгновений в недоумении: таких мехов он еще не видывал: салоп у Анны Ивановны был на крашеном заячьем меху. Павел взглянул вверх. Им предстояло проходить по устланной ковром лестнице, уставленной цветами и статуями. Прошли они и очутились в картинной галерее, потом еще в какой-то комнате с шкафами с серебром, и в каждой комнате стояли ливрейные лакеи и с любопытством на них посматривали.

— Господи, куда же мы это попали? — спросила Анна Ивановна боязливо.

А Павел, напротив, потирал от удовольствия руки, и когда они вошли в залу, предназначенную для театра, он спросил стоявшего тут солидной наружности лакея:

— А что, здесь игрывали театр?

— Игрывали... неоднократно! — отвечал тот с важностью.

— И какую, я думаю, все чушь, дребедень все французскую,— обратился Павел к Анне Ивановне.

— Ну нет, какую же чушь!..— возразила она.

Ей очень уж нравились эти мраморные стены и идущие вокруг колонн пунцовые скамейки...— как же тут играть чушь? Между тем подъехали и другие участвующие. Петин явился в самом оборванном вицмундире; Замин — в каком-то верблюжьего цвета пальто, которое он купил на толкучке, и наконец пришел Неведомов в подряснике. Стоявшие в комнатах лакеи пошли за ним уж по пятам и раскрыли даже от недоумения рты. Они вообще,

кажется, опасались, чтобы кто-нибудь из лицедеев не стащил что-нибудь из ценных вещей. Неведомов, войдя и увидев Анну Ивановну, побледнел и отшатнулся немного назад. Павел заметил это и поспешил к нему подойти.

— Разве Анна Ивановна будет с нами играть? — спросил Неведомов дрожащим голосом.

— Но кому же играть? Клеопатра Петровна не хочет; я и пригласил Анну Ивановну.

— Что же вы мне не сказали того прежде! — сказал Неведомов.

Анна Ивановна в это время, подняв свою голову, похаживала вдали и как будто бы даже не замечала Неведомова.

— Чем же она вам может помешать?.. Вы, однако, надеюсь, будете играть? — говорил Павел. Его по преимуществу беспокоило то, чтобы как-нибудь не расстроился театр.

— Не знаю уже теперь! — проговорил Неведомов, употребляя, как видно, страшные усилия над собой, чтобы поуспокоиться.

«Вот баба нервная!» — думал Павел про себя, отходя от Неведомова.

Петин и Замин, попав в такой богатый дом, тоже как будто присмирели.

— Мучусь и унываю, когда я на сие взираю! — говорил Замин, поглядывая на стены.

— Арап-то какой важный стоит внизу,— говорил Петин,— без всякой отметины, весь черный.

— Нарочно такого уж и делали,— подтвердил Замин.

Павел пригласил всех начать считку.

— Ну-с, Анна Ивановна, пожалуйте сюда! — говорил он, вызывая ее на середину залы.

Та вышла.

— Извольте читать за Юлию, а я — за Ромео.

Анна Ивановна зачитала очень недурно: она между студентами навострилась уже в чтении.

Павел был замечательно хорош в роли Ромео, так что Неведомов, несмотря на свое душевное расстройство, стал его слушать.

Сколько у Вихрова было непритворного огня, сколько благородства в тоне голоса! Но кто удивил всех — так это

Петин: как вышел он на середину залы, ударил ногой в пол и зачитал:

— «О, вижу ясно, что у тебя в гостях была царица Маб!» — все тут же единогласно согласились, что они такого Меркуцио не видывали и не увидят никогда. Грустный Неведомов читал Лоренцо грустно, но с большим толком, и все поднимал глаза к небу. Замин, взявший на себя роль Капулетти, говорил каким-то гортанным старческим голосом: «Привет вам, дорогие гости!» — и больше походил на мужицкого старосту, чем на итальянского патриция.

Когда таким образом считывались и Павел был в совершеннейшем увлечении, Анна Ивановна, стоявшая рядом с ним, взглянув на двери, проговорила:

— Какая-то дама еще приехала... Ах, это Клеопатра Петровна! — прибавила она и почему-то сконфузилась.

Павел, ударив себя по голове, произнес:

— Это что еще за штуки она выкидывает!

Фатеева входила медленным и неторопливым шагом; она была бледна, губы у нее посинели.

— Что же ты меня не подождал, когда поехал? — спросила она Павла, проходя мимо него и садясь на один из ближайших к нему стульев.

— А разве ты будешь играть? — спросил он ее.

— Буду!

— Но какую же роль? Роль Юлии я передал Анне Ивановне. Разве вы возьмете роль няни?

— Мне все равно! — отвечала Клеопатра Петровна, еще более побледнев.

— В таком случае, вы будете играть няньку,— сказал Павел, думавший, что m-me Фатеева, в самом деле, будет играть в театре.

Затем считка пошла как-то ужасно плохо. Анна Ивановна заметно конфузилась при Клеопатре Петровне: женский инстинкт говорил ей, что Фатеева в настоящую минуту сердится, и сердится именно на нее. Неведомов только того, кажется, и ожидал, чтобы все это поскорее кончилось. Петин и Замин подсели было к Клеопатре Петровне, чтобы посмешить ее; но она даже не улыбнулась, а неподвижно, как статуя, сидела и смотрела то на Павла, то на Анну Ивановну, все еще стоявших посередине залы.

— Ну, будет на сегодня! — сказал, не вытерпев более

этой пытки, Павел.— Я вас, Анна Ивановна, довезу до дому,— прибавил он нарочно громко.

— А я-то как же, опять одна поеду? — отнеслась Клеопатра Петровна к нему.

У ней при этом губы даже дрожали.

— Вы уж потрудитесь одни уехать. Я Анну Ивановну взял и должен ее обратно довезти,— отвечал он ей безжалостно.

Вихров не считал себя ни в чем, даже в помыслах, виноватым против Клеопатры Петровны, а потому решился наказать ее за ее безумную ревность.

— Поедемте, Анна Ивановна! — сказал он.

Анна Ивановна пошла за ним и была какая-то испуганная.

— Замин, поедемте со мной, довезите меня до дому!— сказала, в свою очередь, Клеопатра Петровна Замину.

— С великою готовностью! — отвечал тот.

— А я за вами петушком, петушком! — сказал Петин, чтобы посмешить ее, но Клеопатра Петровна не смеялась, и таким образом обе пары разъехались в разные стороны: Вихров с Анною Ивановною на Тверскую, а Клеопатра Петровна с Заминым на Петровку. Неведомов побрел домой один, потупив голову.

— За что это Клеопатра Петровна сердится на вас? — спросила Анна Ивановна Павла с первых же слов, когда они поехали.

— Ревнует! — отвечал тот.

— К кому же? Ко мне?

— К вам и ко всем в мире женщинам.

— Зачем же вы ее больше сердите и поехали не с ней, а со мной?

— Потому что я вас привез; а она не хотела ехать со мной, так пусть и едет одна.

— Ну вот, зачем это? А домой, я думаю, приедете, сейчас ручки и ножки начнете целовать.

— Нет, я не из таких,— отвечал Вихров.

— Из каких же?.. Сердитый и злой... у!.. Гадкий вы, после того! А что, скажите, Неведомов говорил с вами?

— Ему было очень тяжело с вами встретиться.

— Что ж я — пугало, что ли, какое? — спросила Анна Ивановна.

— Напротив, я думаю, брильянт, от которого он самовольно отказывается.

— А отчего же он отказывается?

— Спросите его! — отвечал Вихров.

— Он сумасшедший.

— Есть немного. До свиданья!

Павел, высадив Анну Ивановну на Тверской, поехал к себе на Петровку. Он хотя болтал и шутил дорогой, но на сердце у него кошки скребли. Дома он первого встретил Замина с каким-то испуганным лицом и говорящего почти шепотом.

— Клеопатра Петровна очень больна,— произнес он.

— Чем же?— спросил Павел.

— Всю дорогу плакала, выгибалась, так что я придерживать ее стал. А народ — фабричные эти встречаются: «Ишь, говорят, студент девку пьяную везет!»

Павел вошел было в спальню, где Клеопатра Петровна в распущенном платье лежала на постели.

— Подите от меня прочь, подите!— почти закричала она на него.

Павел воротился в залу.

Замин понял, что тут что-то такое неладное происходит.

— Ну, так я больше теперь не нужен и могу ехать домой,— сказал он.

— Поезжайте!— проговорил ему Павел.

Замин уехал.

Павел, оставшись один, стал прислушиваться, что делается в спальной; ему и жаль было Клеопатры Петровны, и вместе с тем она бесила его до последней степени.

Вдруг в спальной раздались какие-то удары и вслед за тем слова горничной: «Клеопатра Петровна, матушка, полноте, полноте!» Но удары продолжались. Павел понять не мог, что это такое. Затем горничная с испуганным лицом вышла к нему.

— Павел Михайлович, уймите Клеопатру Петровну: они себя головой бьют о спинку кровати.

Удары между тем все еще продолжались. Павел вошел опять в спальную. Клеопатра Петровна, почти вся посиневшая, колотила себя затылком о кровать.

— Послушайте,— начал Павел задыхающимся голосом,— если вы еще раз стукнетесь головой, я свяжу вас и целый день так продержу.

— Убейте лучше меня!— говорила Клеопатра Петровна.

— Убивать я вас не стану; но я прежде всего желал бы знать, из-за чего вы беснуетесь и за что вы сердитесь на меня?

— Как же, ведь очень весело это,— продолжала, в свою очередь, Фатеева,— заставил меня, как дуру какую, читать на потеху приятелям своим... И какой сам актер превосходный, и какую актрису отличную нашел!.. Нарочно выбрал пьесу такую, чтобы с ней целоваться и обниматься.

— Все это прекрасно!— начал Павел спокойным, по наружности, голосом, хотя в душе его и бушевал гнев: эти вопли невежества против его страсти к театру оскорбляли все существо его.— Маша, подай сюда лавровишневых капель,— прибавил он.

Маша подала.

Павел, накапав их в рюмку, подал Клеопатре Петровне.

— Вот, выпейте это лучше.

Та выпила капли с жадностью.

Павел велел подать еще стакан холодной воды.

Горничная подала.

Клеопатра Петровна выпила его весь. Все это ее сильно успокоило, и, главное, я думаю, ухаживанье Павла порадовало ее.

Она начала рыдать.

— Проплачьтесь, это хорошо!— сказал он и отошел к окну.

Клеопатра Петровна, как и всегда это бывало, от гнева прямо перешла к нежности и протянула к Павлу руку.

— Ну, подите сюда и сядьте около меня!— сказала она.

Павел подошел и сел.

— Ты любишь ведь меня еще, да?

— Никакого повода не подал я, кажется, тебе в этом сомневаться,— проговорил в ответ Павел довольно сухо.

— Ну, прости меня. Скажи мне, что ты меня прощаешь,— говорила она, целуя его руки.

— На сумасшедшую не сердятся.

— А сам ты разве ни в чем не виноват против меня?

— Я думаю!

— Ну, побожись!

— Достаточно, надеюсь, моего слова.

— Скажи мне еще раз, что ты прощаешь мне.

— Совершенно прощаю! — отвечал Павел. Ему больше всего хотелось поскорей кончить эту сцену.— Ты устала, да и я тоже; пойду и отдохну,— проговорил он и, поцеловав Клеопатру Петровну по ее желанию, ушел к себе.

Бедная женщина, однако, очень хорошо видела, что от Павла последовало ей далеко не полное прощение. Горничная ее слышала, что она всю ночь почти рыдала.

XVIII
РАЗЛУКА

Поутру Павел получил от Неведомова письмо, в котором тот извещал его, что он не может участвовать в театре, потому что уезжает пожить к Троице.

«Видно, совсем хочет поступить в монахи»,— подумал Павел.

На роль Лоренцо, значит, недоставало теперь актера; для няньки Вихров тоже никого не мог найти. Кого он из знакомых дам ни приглашал, но как они услышат, что этот театр не то, чтобы в доме где-нибудь устраивался, а затевают его просто студенты,— так и откажутся. Павел, делать нечего, с глубоким душевным прискорбием отказался от мысли о театре.

— Нет,— сказал он сам себе,— наше общество слишком еще глупо и пошловато, чтобы с ним и в нем сыграть настоящим образом Шекспира!

С Фатеевой у Павла образовались тяжелые и в высшей степени натянутые отношения. Нравственное обаяние, которое она имела сначала на него,— и, по преимуществу, своею несчастною семейною жизнью,— вследствие вспышек ее ревности и недостатка образования почти совершенно рушилось; жажда же физических утех, от привычки и беспрепятственности их, значительно притупилась. Павел, впрочем, старался все это скрывать самым тщательным образом; но m-me Фатеева знала жизнь и людей: она очень хорошо видела, что она для Павла — *ничто* и что он только *великодушничал* с ней. Гордость и самолюбие женское страшно в ней заговори-

ли: она проплакивала целые дни; Павла это мучило до невероятности.

— О чем вы все плачете?— спрашивал он ее, зная, разумеется, причину ее слез.

— Чему же мне радоваться?— отвечала она ему на это уклончиво.

А между тем башмаки какие купить она могла только на деньги Павла: своих у нее не было ни копейки.

Тщетно она ломала себе голову, как бы и куда от него уехать. Ехать к матери не было никакой возможности, так как та сама чуть не умирала с голоду; воротиться другой раз к мужу — она совершенно не надеялась, чтобы он принял ее. Заинтересуйся в это время Клеопатрой Петровной какой-нибудь господин с обеспеченным состоянием — она ни минуты бы не задумалась сделаться его любовницей и ушла бы к нему от Павла; но такого не случилось, а время между тем, этот великий мастер разрубать все гордиевы узлы человеческих отношений, решило этот вопрос гораздо проще и приличнее. Однажды Фатеева сидела в своей комнате, а Павел — в своей. Последнее время он почти постоянно занимался, готовясь к выпускному экзамену. Клеопатре Петровне подали письмо; она, взглянув на адрес, сделала довольно равнодушную мину. Письмо было написано рукою m-lle Прыхиной. Преданная девица сия вела со своей приятельницей самую длинную и самую неутомимую переписку.

«Cher ангельчик! — начинала она это письмо,— в то время, как ты утопаешь в море твоего счастия, я хочу нанести тебе крошечный, едва чувствительный для тебя удар, но в котором заранее прошу у тебя извинения. Твой муж, гонимый бурными потоками жизни, приближается к лону отцов своих. Он заболел и теперь опасно болен. Я стороной услыхала, что его обкрадывают разные приближенные особы, и решилась сама поехать к нему. Он обрадовался мне, как какому-нибудь спасителю рода человеческого: целовал у меня руки, плакал и сейчас же стал жаловаться мне на своих горничных девиц, которые днем и ночью оставляют его, больного, одного; в то время, как он мучится в предсмертной агонии, они по кухням шумят, пляшут, песни поют. Именем нашей дружбы, умоляю тебя приехать к нему. Я сама ему сказала об этом, и он, бедный, в какой-то детский восторг пришел: «Неужели она

приедет ко мне? Скажите, что я оставлю ей все состояние, только бы она приехала и успокоила меня». Не сделаешь ты этого, ангельчик, у вас все будет растащено, и если ты приедешь после его смерти, ничего уж не найдешь. Поля твоего поцелуй за меня».

Читая это письмо, Фатеева по временам бледнела и краснела, потом гордо выпрямилась, вздохнула глубоко и пошла к Вихрову.

— Я сейчас об муже известие получила,— сказала она.— Мне надобно ехать к нему; он очень болен.

Павел взглянул на нее со вниманием. Он полагал, что она это придумала, чтоб уехать от него.

— Кто же тебя извещает об этом? — спросил он.

— Катя Прыхина,— отвечала Фатеева и подала письмо приятельницы.

Павел прочел, и ему стало вдруг бесконечно грустно расстаться с Клеопатрой Петровной.

— Очень жаль, что вы уедете,— проговорил он.

— Если я не поеду туда, так всего лишусь,— сказала она.

У ней тоже навернулись на глазах слезы.

— Стало быть, он, однако, очень болен, если Прыхина так пишет,— продолжал Павел.

— Вероятно, очень болен,— подтвердила Фатеева.

— Может быть, вся эта история недолго и продолжится.

— Конечно,— как бы успокаивала его Фатеева.

— Что̀ же это он раскаялся перед тобой? — спросил Павел, заглядывая снова в письмо.

— Он всегда очень ценил меня и был бы добр ко мне, если бы не восстановляли против меня его возлюбленные!

Фатеева это та̀к говорила, что как будто бы никогда ни в чем и виновата не была перед мужем. Вихрову это показалось уж немножко странно.

— Мне будет очень тяжело видеть страдания его,— продолжала она, нахмуривая уже брови,— потому что этот человек все-таки сделал для меня добра гораздо больше, чем все остальные люди.

На кого этот намек был направлен,— богу известно.

— Больше всех добра и больше всех снисхождения оказал,— отвечал, в свою очередь, не без цели Павел.

Фатеева при этом только взглянула на него и ни слова ему не возразила.

Павел вскоре после того ушел к Неведомову, чтоб узнать от того, зачем он едет к Троице, и чтоб поговорить с ним о собственных чувствованиях и отношениях к m-me Фатеевой. В глубине души он все-таки чувствовал себя не совсем правым против нее.

Он застал приятеля одетого в новый подрясник, надевающим перчатки,— и уж не с фуражкой, а со скуфейкой в руках.

— Куда это вы? — спросил его Павел.

— В Симонов монастырь хочу съездить; первую весеннюю прогулку сделать,— отвечал Неведомов.

— Позвольте, и я с вами съезжу,— сказал Павел.

— Поедемте,— проговорил Неведомов, и когда они вышли на улицу, то он пошел пешком.

— Возьмемте извозчика,— остановил было его Павел.

— Мы на лодке поедем,— возразил Неведомов.

— И то хорошо! — согласился Павел.

Они дошли до Москворецкого моста, ни слова не сказав друг с другом, и только когда сели в лодку и поехали, Павел спросил Неведомова, как-то внимательно и грустно смотревшего на воду:

— Вы к Троице, вероятно, переселяетесь затем, чтобы к монастырю быть поближе?

— Да,— отвечал Неведомов.

— А потом, конечно, и в монастырь поступите?

— Если примут.

Разговор на несколько времени приостановился. Павел стал глядеть на Москву и на виднеющиеся в ней, почти на каждом шагу, церкви и колокольни. По его кипучей и рвущейся еще к жизни натуре все это как-то не имело теперь для него никакого значения; а между тем для Неведомова скоро будет все в этом заключаться, и Павлу стало жаль приятеля.

— Я не знаю, Неведомов,— начал он,— хорошо ли вы делаете, что поступаете в монастырь. Вы человек слишком умный, слишком честный, слишком образованный! Вы, войдя в эту среду, задохнетесь! Ни один из ваших интересов не встретит там ни сочувствия, ни понимания.

— Отчего же? Там есть очень много умных и высокообразованных людей.

— Да-с, но это между высшими духовными лицами, а вам придется вращаться между низшей братией.

— Я буду, по возможности, избегать этой низшей братии,— сказал с улыбкою Неведомов.— Да теперь к чему и сам-то гожусь! — почти воскликнул он.

— Да перевести всего Шекспира,— подхватил Павел.

— Все уж сжег теперь, ничего не осталось,— проговорил Неведомов.

— Как сожгли?

— Так! — отвечал Неведомов очень покойно.

— Послушайте, — произнес с укором Павел, — к чему же такое отрицание от всего!.. Хоть бы та же Анна Ивановна, она стала бы любить вас всю жизнь, если бы вы хоть частицу возвратили ей вашего прежнего чувства.

— Оно теперь уж ей, я думаю, окончательно не нужно, — возразил с усмешкой Неведомов, — вчера я слышал, что она замуж даже выходит за какого-то купца.

— Кто ж в этом виноват, как не вы! — произнес Павел. — Вы сами ее от себя оттолкнули.

— Такою, какою она теперь стала, я нисколько и не сожалею, что оттолкнул ее, — сказал Неведомов.

В это время они подъехали к небольшой монастырской пристани. Идущие от нее и покрытые весеннею свежестью луга, несколько совершенно уж распустившихся деревьев, ивняку и, наконец, теплый, светлый вечер оживили Павла. Он начал радоваться, как малый ребенок.

— Вот вместе с Полежаевым могу сказать я, — декламировал он: — «Я был в полях, какая радость! Меж тем в Москве какая гадость!»

Но Неведомов шел молча, видимо, занятый своими собственными мыслями. Взобравшись на гору, он вошел в ворота монастыря и, обратившись к шедшему за ним Вихрову, проговорил:

— Посидите тут где-нибудь; я зайду к одному монаху, чтобы взять от него письмо к настоятелю Троицкому.

Павел мотнул ему в знак согласия головой и поместился на одну из скамеечек, перед множеством стоящих перед нею надгробных памятников.

Неведомов тоже скоро возвратился к нему и сел рядом с ним на скамеечку.

— Послушайте, Неведомов, — начал Павел, показывая приятелю на затейливые и пестрые храмы и на кельи с небольшими окнами, — не страшно вам от этого? Посмотрите, каким-то застоем, покоем мертвенным веет от всего этого; а там-то слышите?.. — И Вихров указал пальцем по

направлению резко свистящего звука пара, который послышался с одной из соседних фабрик. — Это вот — видно, что живое дело!.. Когда на эти бойницы выходили монахи и отбивались от неприятелей, тогда я понимаю, что всякому человеку можно было прятаться в этих стенах; теперь же, когда это стало каким-то эстетическим времяпровождением нескольких любителей или ленивцев...

— Да сам-то я, поймите вы меня, — произнес уже с досадою Неведомов, — ни для какой другой жизни не гожусь.

Вихров посмотрел ему в лицо. «Может быть, в самом деле он ни на что уж больше и не годен, как для кельи и для созерцательной жизни», — подумал он.

— Э, что́ тут говорить, — начал снова Неведомов, выпрямляясь и растирая себе грудь.— Вот, по-моему, самое лучшее утешение в каждом горе, — прибавил он, показывая глазами на памятники, — какие бы тебя страдания ни постигли, вспомни, что они кончатся и что ты будешь тут!

— Смерть — вещь страшная, — произнес Павел с каким-то даже отвращением.

— Она, я думаю, вещь успокоительная, — произнес Неведомов.

Павел многое мог бы возразить против этого; но у него как-то язык не поворачивался — уж и в этом-то разочаровывать Неведомова.

— У меня, в моей любви, тоже плохо идет, — начал он после довольно продолжительного молчания и несколько сконфуженным голосом.

— Что же так? — спросил Неведомов равнодушно и продолжая смотреть на памятники.

— Клеопатра Петровна едет в деревню; муж у ней умирает.

— Едет? — переспросил Неведомов.

— Уезжает, и у нас с ней какие-то странные отношения образовались: мы совершенно одновременно принаскучили и принадоели друг другу.

Неведомов слегка усмехнулся.

— Этого надобно было ожидать, — проговорил он.

— Почему *надобно* было ожидать? — спросил Павел с ударением.

— Потому что всегда и везде это бывает.

— То есть, вы хотите сказать, между всеми любовниками.

— Это именно я и хочу сказать, — подтвердил Неведомов.

— И для продолжительной любви, вы полагаете, необходимою девственную невинность со стороны женщины и брак? — расспрашивал Павел, очень хорошо заранее зная мнение Неведомова по этому предмету.

— Считаю это важнейшим и существеннейшим условием, — отвечал тот.

— Поэтому, если бы вас полюбила Анна Ивановна и вы бы женились на ней, ваша любовь была бы продолжительнее нашей? — захотелось Павлу кольнуть немного приятеля.

— Вероятно; но тогда Анна Ивановна должна была бы быть совершенно других свойств, — отвечал Неведомов с грустной усмешкой.

Павел, в свою очередь, тоже усмехнулся и покачал головой.

Когда они поехали обратно, вечерний туман спускался уже на землю. В Москве их встретили пыль, удушливый воздух и стук экипажей. Вихров при прощании крепко обнял приятеля и почти с нежностью поцеловал его: он очень хорошо понимал, что расстается с одним из честнейших и поэтичнейших людей, каких когда-либо ему придется встретить в жизни.

Дома он застал, что Клеопатра Петровна стояла в своей комнате и держала в руке пачку каких-то бумаг.

— Что это у тебя за бумаги? — спросил ее Павел.

— Письма твои,— отвечала Фатеева притворно-равнодушным тоном,— смотрела, как их в чемодан положить и подальше спрятать.

— А всего, я думаю, лучше спрятать их в печку, в огонь.

— Зачем же? — возразила Фатеева.— Я хочу, по крайней мере, хоть по письмам видеть, каков ты был когда-то в отношении меня, — прибавила она.

— В отношении вас-с! — сказал как бы шутливо Павел и в то же время отвернулся к окну.

Ему так сделалось грустно и так досадно на самого себя; на глазах у него невольно навернулись слезы.

«Отчего я не могу любить этой женщины? — думал он почти с озлоблением. — Она возвратилась бы ко мне опять после смерти мужа, и мы могли бы быть счастливы». Он обернулся и увидел, что Фатеева тоже плачет.

— Будь хоть последний день понежней со мною,— проговорила она, как бы еще не зная, исполнит он ее просьбу или нет. Павел поцеловал у нее руку и сел около нее. Клеопатра Петровна притянула его голову и, положив ее к себе на грудь, начала его целовать в лоб, в лицо. Павел чувствовал при этом, что слезы падали из глаз ее. Он употреблял над собою все усилия, чтобы не разрыдаться. Так просидели они всю ночь, тихо переговариваясь между собою, но ни разу не выразили никакой надежды на возможность возвращения Клеопатры Петровны в Москву и вообще на какое бы то ни было свидание.

Войдя на другой день рано поутру в кухню, Павел там тоже застал хоть и глупую, но вместе с тем и умилительную сцену.

Иван сидел за столом и пил с горничной Клеопатры Петровны чай; Маша была на этот раз вся в слезах; Иван — угрюм.

— О чем ты плачешь? — спросил Павел горничную.

Та, как бы очень устыдясь этого вопроса, сейчас же проворно — и ничего не ответив — ушла из комнаты.

— Павел Михайлович, попросите Клеопатру Петровну, чтобы она выдала за меня Марью замуж, — сказал Иван мрачным и, по обыкновению, глупым голосом.

— Да не выдадут же, говорят тебе! — кричала Марья из коридора, в который она ушла. — Я — не Клеопатры Петровны, а баринова. Он меня и за то уж съест теперь, что я с барыней уезжала.

— А может быть, и выдадут, — сказал Павел, чтобы поуспокоить их, и велел затем Ивану идти и привести Клеопатре Петровне лошадей.

Людям остающимся всегда тяжелее нравственно — чем людям уезжающим. Павел с каким-то тупым вниманием смотрел на все сборы; он подошел к тарантасу, когда Клеопатра Петровна, со своим окончательно уже могильным выражением в лице, села в него; Павел поправил за ней подушку и спросил, покойно ли ей.

— Покойно, — отвечала она глухим голосом.

Тарантас поехал. Павел вышел за ворота проводить его. День был ясный и совершенно сухой; тарантас вскоре исчез, повернув в переулок. Домой Вихров был не в состоянии возвратиться и поэтому велел Ивану подать себе фуражку и вышел на Петровский бульвар. Тихая грусть, как змея, сосала ему душу.

«Стоило затевать всю эту историю, так волноваться и страдать, чтобы все это подобным образом кончилось!»— думал он. Надобно сказать, что вышедший около этого времени роман Лермонтова «Герой нашего времени» и вообще все стихотворения этого поэта сильно увлекали университетскую молодежь. Павел тоже чрезвычайно искренне сочувствовал многим его лирическим мотивам и, по преимуществу, — мотиву разочарования. В настоящем случае он не утерпел и продекламировал известное стихотворение Лермонтова:

Что страсти!.. Ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка!

Павел был совершенно убежден, что он разлюбил Фатееву окончательно.

Конец второй части.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЛЮДИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

Впервые роман напечатан в журнале «Заря» в 1869 году, №№ 1—9; при жизни Писемского это было единственное издание. Рукописи романа до нас не дошли, поэтому настоящий текст воспроизводится по публикации «Зари». Точных данных о начале работы писателя над романом не имеется. По-видимому, замысел романа относится к 1867 году. Закончен он 31 июля 1869 года.

В отличие от других крупных произведений Писемского «Люди сороковых годов» писались для определенного журнала, с чем связаны некоторые особенности идейного содержания романа.

Писемский, утративший связи как с петербургскими, так и с московскими влиятельными журналами, в 1867—1868 годы печатал свои пьесы во второстепенном журнале доктора М. А. Хана «Всемирный труд». Репутация у этого органа, особенно после опубликования реакционной повести В. П. Авенариуса «Поветрие» (1867), была очень плохой, в связи с чем Писемский был вынужден обратить свое внимание на создававшийся историком В. В. Кашпиревым славянофильский журнал «Заря». Главными идеологами этого журнала были: бывший петрашевец Н. Я. Данилевский (1822—1885) и известный критик, публицист и философ-идеалист Н. Н. Страхов (1828—1896), особенно близкий к Ф. М. Достоевскому и позднее к Л. Н. Толстому. Идейной платформой «Зари» было так называемое *позднее* славянофильство, одним из важных памятников которого явилось опубликованное в ней сочинение Данилевского «Россия и Европа». Наиболее известными сотрудниками журнала были Ф. М. Достоевский, А. Н. Майков, Д. В. Аверкиев, В. Г. Авсеенко, В. В. Крестовский, В. П. Клюшников, Н. С. Соханская.

Начав печатать свой роман в «Заре», Писемский пытался «подогнать» его под программные установки неославянофильского органа. В письме к Н. Н. Страхову от 27 февраля 1869 года он писал: «Обращаюсь к Вам с превеликою моей просьбою: я в романе моем теперь дошел до того, чтобы группировать и поименовывать перед читателем те положительные и *хорошие* стороны Русского Человека, которые я в массе фактов разбросал по всему роману, о том же или почти о том же самом придется говорить и Данилевскому, как это можно судить по ходу-то статей. Вы, кажется, знаете их содержание: не можете ли вы хоть вкратце намекнуть мне о тех идеалах, которые он полагает, живут в Русском народе, и о тех нравственных силах, которые, по преимуществу, хранятся в Русском Народе,

чтобы нам поспеться на этот предмет и дружнее ударить для выражения направления вашего журнала» [1].

Действительно, в «Людях сороковых годов», особенно в заключительной их части, можно без особого труда обнаружить высказывания, являющиеся непосредственным результатом сотрудничества писателя с редакцией «Зари». К таким высказываниям нужно отнести прежде всего слова героя романа Вихрова о том, что Россия «должна быть, если можно так выразиться, по преимуществу государством хоровым, где каждый пел бы во весь свой, полный, естественный голос, и в совокупности выходило бы все это согласно... Этому свойству русского народа мы видим беспрестанное подтверждение в жизни: у нас есть хоровые песни, хоровые пляски, хоровые гулянья...» (ч. V, глава 17).

Влиянием идейных интересов редакции «Зари» следует объяснить и повышенное внимание писателя к вопросам религии. Здесь налицо стремление Писемского подменить откровенный атеизм его смягченной формой — пантеизмом. В одном из писем Вихрова мы читаем: «От этих житейских разговоров Захаревский с явным умыслом перешел на общие вопросы; ему, кажется, хотелось определить себе степень моей либеральности и узнать даже, как и что я — в смысле религии. С легкой руки славянофилов он вряд ли не полагал, что всякий истинный либерал должен быть непременно православный. На его вопрос, сделанный им мне по этому предмету довольно ловко, я откровенно ему сказал, что я пантеист и что ничем больше этого быть не могу» (ч. IV, глава 1). Как мало это устраивало редакцию «Зари» и Н. Я. Данилевского, в частности, видно из того, что православие в его программной формуле занимает первое место [2].

«Спеться» Писемскому с идеологами неославянофильства оказалось делом довольно трудным. Данилевский, например, писал: «Самый характер русских и вообще славян, чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, почтительности, имеет наибольшую соответственность с христианским идеалом. С другой стороны, религиозные уклонения, болезни русского народа,— раскол старообрядства и секты, указывают: первый — на настойчивую охранительность, не допускающую ни малейших перемен в самой внешности, в оболочке святыни; вторые же, особенно духоборство,— на способность к религиозно-философскому мышлению» [3]. Писемский, конечно, оценивал по-иному свойства русского народа и общества.

Жуткая картина русской действительности сороковых годов прошлого столетия, содержащаяся в романе, наносит страшный удар по идиллическим представлениям о ней в лагере неославянофильства. По мысли Н. Я. Данилевского, «крепостное право» в России «имело сравнительно легкий характер», так как 1) «помещикам не было никакого резона слишком отягощать своих крестьян работою» и 2) «дворовые терпели от личного произвола, от вспышек гнева, от жестокости характера или распутства иного помещика, но и это было исключением, а главное — не распространялось на массу крестьянского сословия» [4]. Писемский этой маниловской болтовне противопоставляет факты: даже у отца героя, полковника Вихрова, именуе-

---

[1] Письма, стр. 234.

[2] Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. Изд. 5-е, СПБ, 1895.

[3] Там же, стр. 526.

[4] Там же, стр. 280—281.

мого кое-кем «справедливым» помещиком, крестьяне и дворня голодают и одеты в рубище. Павел Вихров «в ужас пришел: они ели один хлеб, намешанный в квас, кислый и жидкий и только приправленный немного солью и зеленым луком, и тот не у всех был» (ч. II, глава 8). О бесправии крепостного крестьянства говорится достаточно определенно: «Очень уж велика власть-то и сила господская,— ничего с ней не поделаешь» (ч. III, глава 10).

По-видимому, Писемский, намереваясь «поспеться» с Данилевским, полагал, что взгляды последнего окажутся более сходными со взглядами самого Писемского. Этого, однако, как мы видим, не произошло, и уже 16 февраля 1870 года в письме к И. С. Тургеневу писатель откровенно говорит об «удушающем запахе» славянофильского направления «Зари». Главные деятели этого журнала, в свою очередь, начали относиться к Писемскому с не меньшей антипатией. Так, например, Н. Н. Страхов в феврале 1871 года писал Достоевскому о Писемском: «...будет мне случай — я его изругаю всласть, с заскоком, как говаривал покойный Ап. Григорьев» [1].

В основе романа «Люди сороковых годов» — история жизненного пути политического ссыльного, писателя Павла Вихрова. В этой истории автор объединил художественный вымысел с некоторыми подлинными фактами своей собственной жизни.

Высылка Вихрова из Петербурга является следствием представления им в печать повестей «Да не осудите!» и «Кривцовский барин», в которых содержался не только протест против крепостного права, но и отзвук учений Запада, низвергнувших «в настоящее (1848 г.) время весь государственный порядок Франции» (ч. III, глава 21). Во второй части романа Вихров высказывает свои соображения «об ассоциации, о коммунизме, и по которым уж, конечно, миру предстоит со временем преобразоваться» (ч. II, глава 12). Вихров мечтает «пересоздать людские общества» согласно идеалам Фурье. Все эти воззрения героя романа вряд ли относятся к автобиографическим чертам писателя, так как у нас не имеется никаких свидетельств об увлечении Писемского идеями социализма и коммунизма в его молодости. В других деталях, например, в характеристике повести «Да не осудите!», автобиографический характер повествования выглядит более явственно. Повесть «Да не осудите!» во многом напоминает первый роман Писемского «Виновата ли она?».

Об автобиографизме «Людей сороковых годов» заявил и сам Писемский в своей пространной, но оставшейся незавершенной автобиографии. В частности, в ней сказано: «Описание моего детства находится в «Людях сороковых годов» в главе 2-й». Отмечена в названном документе автобиографичность и других эпизодов — постановки пьесы А. А. Шаховского «Казак-стихотворец» (ч. I, глава 10) и истории взаимоотношений Вихрова с Фатеевой и Мари Эйсмонд. В значительной степени автобиографично и описание службы Вихрова. Еще в 1916 году Н. Н. Виноградовым были опубликованы ценные архивные материалы, из которых видно, что эпизоды служебной деятельности Вихрова в губернском городе, описанные в романе, очень близко воспроизводят факты служебной деятельности самого Писемского в Костроме. Обнаруженные Н. Н. Виноградовым два дела об уничтожении чиновником особых поручений Писемским раскольнических часовен в селе Урене и деревне Гаврилково в 1850 году привели исследователя к выводу, что именно первое дело

[1] Сб. «Шестидесятые годы», изд. АН СССР, М.-Л., 1940, стр. 270.

послужило основой для девятой и десятой глав четвертой части романа (Н. Н. Виноградов «Алексей Феофилактович Писемский». Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук, 1916, том XXI, кн. 2, стр. 134—135).

Имеют жизненные прототипы и другие образы романа. Образ отставного полковника Михаила Поликарповича Вихрова, отца героя романа, весьма близко передает подлинные черты отца писателя, Феофилакта Писемского.

В лице Еспера Ивановича Имплева изображен Всеволод Никитич Бартенев (1787—1845), костромской помещик, отставной моряк, двоюродный брат матери писателя. Образ Александра Ивановича Коптина очень близко передает биографические черты известного поэта и декабриста Павла Александровича Катенина (1792—1853), оказавшего несомненное влияние на литературное развитие Писемского. Таких примеров можно привести немало.

Судьба героев романа и в первую очередь главного из них, Вихрова, прослеживается на протяжении тридцати лет (с начала тридцатых годов до 1864 года). Благие намерения положительного героя Вихрова, личности активной, но недостаточно сильной, в условиях николаевского режима остаются нереализованными. Он мечется из стороны в сторону и, не имея твердой цели и способности к ее достижению, постепенно растрачивает свои душевные и жизненные силы и становится рабом обстоятельств и своих страстей. Идейная неустойчивость Вихрова поразительна. Он легко переходит от увлечения религией к ее отрицанию, от мечтаний о коммунистическом обществе к примирению с монархическим режимом. Наиболее последовательно и прочно усваивает он лишь своеобразно понимаемый жоржзандизм — принцип свободной от обязательств любви.

Вообще герои романа не могут быть подразделены на положительных и отрицательных, так как в положительном герое Вихрове писатель видит много отрицательных черт, а в негодяе Салове он готов увидеть черты положительные. Поэтому и чуждый Писемскому образ аристократа Абреева не лишен в какой-то мере смягчающих признаков.

Роман «Люди сороковых годов» был принят русской журналистикой конца шестидесятых годов в общем весьма недоброжелательно. Н. В. Шелгунов в своей большой статье, посвященной роману Писемского, отмечал: «Вместо широкой, всеобъемлющей картины с грандиозными героями, соответственными русскому порыву, г. Писемский дал формулярные списки шести человек, кондуитные списки четырех женщин и рассказал несколько случаев из былой полицейской практики» («Дело», 1869, № 10).

Отрицательная общая оценка романа не помешала Шелгунову признать, что в романе «Люди сороковых годов» «отдельные, особенно простонародные, типы очерчены хорошо и верно. Этого таланта мы не отрицаем в г. Писемском» («Дело», 1869, № 9).

Критик «Отечественных записок», известная общественная деятельница, демократка М. К. Цебрикова, в сочувственной статье «Гуманный защитник женских прав» (1870, № 2) с одобрением отметила в романе Писемского яркий образ крестьянки Лизаветы Петровой, добровольно уходящей на сибирскую каторгу, чтобы избавиться от необходимости жить с ненавистным мужем.

Стр. 3. *«...луга, на которых, говорят, охотился Шемяка».*— Имеется в виду удельный князь Галицкий (Галича Костромского) Дими-

трий Юрьевич Шемяка (1420—1453), известный упорной и неутомимой борьбою с великим князем Василием Темным за московский великокняжеский престол.

А. П. МОГИЛЯНСКИЙ

Стр. 4. *Паж* — воспитанник Пажеского корпуса, особо привилегированного военного учебного заведения, учрежденного в 1802 году.

Стр. 5. *Фактотум* — название старательного и точного исполнителя приказаний, происходит от соединения двух латинских слов: fac — сделай и totum — всё.

Цицианов Павел Димитриевич (1754—1806) — генерал царской армии. Во время присоединения Кавказа владетель Баку Гуссейн-хан объявил Цицианову, что он сдает город без боя; но, когда Цицианов с двумя ординарцами приблизился к городу, он был предательски убит.

Стр. 15. *Лабаз* — здесь полати в лесу, полок или помост на деревьях, откуда бьют медведей.

Стр. 18. *Камилавка* — головной убор священников во время церковной службы, жалуемый за отличие.

Стр. 21. *Кантонисты* — в XIX веке дети, отданные на воспитание в военные казармы или военные поселения и обязанные служить в армии солдатами.

Стр. 25. *Моленная* — помещение для общественной молитвы старообрядцев, или раскольников. Моленные до революции 1905 года существовали с разрешения полиции и часто негласно.

Стр. 26. *Растрелли* Варфоломей Варфоломеевич (1700—1771) — выдающийся архитектор, строитель монументальных зданий в Петербурге (Зимний дворец) и его окрестностях.

Стр. 27. *Февей-царевич* — герой нравоучительной сказки Екатерины II «Сказка о царевиче Февее», отличавшийся красотою и добродетелями.

Сикстова Мадонна — знаменитая картина Рафаэля, написанная между 1515 и 1519 годами. Называется Сикстинской потому, что была написана для монастыря св. Сикста, который изображен на картине справа от Мадонны.

Стр. 28. *Корреджио* — *Корреджо,* настоящее имя — Антонио Аллегри (около 1489 или 1494—1534) — крупнейший итальянский художник.

...один художник... совершил государственное преступление, состоящее в том, что к известной эпиграмме: «Всевышнего рука три чуда совершила!» — пририсовал руку с военным обшлагом». — 15 января 1834 года в Петербурге была впервые поставлена патриотическая драма в стихах Н. В. Кукольника (1809—1868) под названием «Рука всевышнего отечество спасла». Николай I отнесся к автору с большим благоволением Но в критике драма не встретила признания. Н. А. Полевой в «Московском Телеграфе» заявил, что «драма в сущности своей не выдерживает никакой критики», и иронизировал по поводу патриотизма автора. После этого Полевой был вызван к шефу жандармов, и, хотя его объяснения были признаны удовлетворительными, журнал «Московский Телеграф» был закрыт. Эти факты вызвали эпиграмму, которая, как и другие эпиграммы того времени, приписывалась Пушкину:

«Рука всевышнего» три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого задушила.

Рука с военным обшлагом, пририсованная к эпиграмме, показывала, что «всевышний» — это Николай I.

Стр. 32. *«Молодой Дикий»* — неполное название переводного романа: «Молодой дикий, или опасное стремление первых страстей, сочинение госпожи Жанлис; 2 части. М., 1809». На самом деле это сочинение Августа Лежюня.

«Повести Мармонтеля». — Жан Франсуа Мармонтель (1723—1799), французский повествователь, драматург и историк литературы.

«Ивангое» — «Айвенго» — исторический роман английского писателя Вальтер-Скотта (1771—1832), вышедший в 1820 году, был переведен на русский язык в 1826 году.

Стр. 34. *...волотина волотину кличет* — волотина — соломинка ржи или другого злачного растения.

Стр. 35. *Шевырев* Степан Петрович (1806—1864) — профессор литературы в Московском университете, критик и поэт. В письме неточно приводится первая строка стихотворения Шевырева «Чтение Данта».

У Шевырева:

Что в море купаться, то Данта читать:
Стихи его тверды и полны,
Как моря упругие волны!

Стр. 42. *...любовь Малек-Аделя к Матильде.* — Герои романа французской писательницы Мари Коттен (1770—1807): «Матильда или Воспоминания, касающиеся истории Крестовых походов».

Стр. 54. *«Днепровская русалка»* — пьеса была переделана Н. С. Краснопольским из либретто Фердинанда Кауера (1751—1831). Впервые поставлена на петербургской сцене в 1803 году.

Стр. 64. *«Казак-стихотворец»* — анекдотическая опера-водевиль в одном действии А. А. Шаховского (1777—1846).

«Воздушные замки» — водевиль в стихах Н. И. Хмельницкого (1789—1845).

Стр. 72. *Кизеветтер* Иоганн (1766—1819) — немецкий философ, последователь Канта. Его учебник логики, переведенный на русский язык, был распространен в русских школах в первой половине XIX столетия.

Стр. 73. *«Димитрий Донской»* — трагедия В. А. Озерова (1769—1816), впервые поставлена на сцене в 1807 году. Словами князя Димитрия, которые декламирует Вихров, начинается трагедия.

Стр. 79. *Ареопаг* — высший уголовный суд в древних Афинах, в котором заседали высшие сановники.

Стр. 83. *Демидовское* — училище правоведения в Ярославле, основанное в 1805 году.

Стр. 95. *Соколовский* Владимир Игнатьевич (1808—1839) — поэт. А. И. Герцен в «Былом и думах» называет его автором «довольно хороших стихотворений». За сочинение куплетов, осмеивающих Александра I и Николая I, был заключен в Шлиссельбургскую крепость и затем выслан в Вологду.

Стр. 103. *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до нашей эры) — древнеримский оратор, философ и политический деятель.

Стр. 108. *Тацит* (около 55 — около 120) — древнеримский историк.

Стр. 119. *Гроденапль* — плотная ткань, род тафты, от франц. gros de Naples.

Стр. 121. *Кодекс Юстиниана* — свод законов, изданный в 529 году по заданию византийского императора Юстиниана I (483—565).

Стр. 122. *Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель при Александре I и Николае I.

Стр. 124. *...он любил курить только жуковину* — ироническое название дешевого табака петербургской табачной фабрики Жукова.

Стр. 126. *Асенкова* Варвара Николаевна (1817—1841) — талантливая драматическая актриса.

Стр. 131. *Цербер* — в древнегреческой мифологии пес, охранявший вход в подземное царство Аида.

Стр. 149. *Священный Союз* — союз, заключенный в Париже в 1815 году Россией, Австрией и Пруссией с целью подавления революционных и национально-освободительных движений.

Стр. 166. *Сенковский* Осип Иванович (1800—1858) — востоковед, профессор Петербургского университета, журналист, беллетрист, редактор и соиздатель журнала «Библиотека для чтения», начавшего выходить в 1834 году. Писал под псевдонимом Барон Брамбеус.

Стр. 167. *Марлинский* — псевдоним Александра Александровича Бестужева (1797—1837) — русского писателя-декабриста.

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — русский поэт.

Стр. 169. *Поссевин* Антоний (1534—1611) — иезуит. Был направлен в Москву, к царю Иоанну IV, папою Григорием XIII для примирения Иоанна с польским королем Стефаном Баторием и образования лиги христианских государств против Турции. Пытался склонить москвичей к католицизму. Оставил описание Руси XVI века под названием «Московия».

Стр 173. *Конт* Огюст (1798—1857) — французский буржуазный философ, социолог, субъективный идеалист, основатель так называемого позитивизма.

Кант Иммануил (1724—1804) — родоначальник немецкого идеализма второй половины XVIII—XIX века.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — крупнейший немецкий философ-идеалист и диалектик.

Стр. 175. *Вольтер* (Франсуа Мари Аруэ) (1694—1778) — выдающийся французский писатель, один из крупнейших деятелей эпохи Просвещения.

Стр. 177. *Посибаритничать* — жить в праздности и роскоши. От названия древнегреческого города Сибарис, о жителях которого ходила молва как о людях изнеженных.

Стр. 188. *Шиллер* Фридрих (1759—1805) — великий немецкий поэт.

Стр. 195. *Каратыгин* Василий Андреевич (1802—1853) — известный актер-трагик.

Толченов Павел Иванович (1787—1862) — артист московской и петербургской трупп на ролях резонеров.

Санковская Екатерина Александровна (1816—1872) — прима-балерина московского балета.

Стр. 208. *Вильe,* точнее, Виллие Яков Васильевич (1765—1854) — лейб-хирург и президент Медико-хирургической академии.

Стр. 209. *Черкесские чепаны* — кафтаны, поддевки.

Стр. 211. *Лацароне* (итальян.) — нищий, босяк.

Стр. 212. *Расин* Жан (1639—1699) — великий французский драматург.

Стр. 213. *Жаргондист* — искаженное слово «жирондист». Жирондисты — партия периода французской буржуазной революции, представлявшая интересы крупной торговой и промышленной буржуазии.

Стр. 214. *Роброн* — женское платье с очень широкой круглой юбкою; мода аристократии XVIII столетия.

Стр. 217. *Бель-фам* — видная, представительная, полная женщина.

Стр. 240. *Сталь* Анна (1766—1817) — французская писательница, автор романов «Дельфина» и «Коринна или Италия». Жила некоторое время в России, о которой пишет в книге «Десять лет изгнания».

Стр. 257. *Поль де Кок* (1794—1871) — французский романист, с именем которого связано представление о чрезмерной нескромности в изображении эротических сцен.

Стр. 258. *Бальзак* Оноре (1799—1850) — крупнейший французский писатель-реалист.

Стр. 264. *Инвентари в юго-западных губерниях.*— Инвентарями, практиковавшимися в юго-западных губерниях царской России, назывались точные описания отведенных крепостным крестьянам наделов со всеми хозяйственными принадлежностями, а также перечень повинностей, лежавших на крестьянах. Инвентари до известной степени ограничивали хозяйственный и отчасти личный произвол помещика по отношению к крестьянам.

Стр. 278. *Филистер* — презрительная кличка человека самодовольного, с ограниченным, узким, обывательским кругозором, без духовных запросов.

Стр. 279. *«Филатка и Морошка»* — водевиль в одном действии П. Г. Григорьева, впервые поставлен в 1831 году.

Стр. 282. *Мочалов* Павел Степанович (1800—1848) — знаменитый актер-трагик.

Стр. 298. *Полежаев* Александр Иванович (1804—1838) — русский поэт. Павел Вихров переделывает стихи Полежаева «Тарки»:

Я был в горах,
Какая радость!
Я был в Тарках —
Какая гадость!

В. В. ДАНИЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮДИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

Роман в пяти частях

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ
Собрание сочинений
в 9 томах. Том 4.

Оформление художника
Г. Фишера.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 5-III 1959 г.
Тираж 236 000 экз. Изд. № 587.
Зак. 3009. Форм. бум. 84×108 1/32.
Печ. л. 16 + 4 вкл. (0,41 п. л.).
Бум. л. 4,87. Уч.-изд. л. 18.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.

